

ДЕНИ
ДИДРО

ИЗБРАННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ДЕНИ
ДИДРО

ИЗБРАННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

*

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 9 4 1



«ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ПОСВЯТИЛ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ «ИСТИНЕ И ПРАВУ» (В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ЭТИХ СЛОВ), ТО ИМЕННО ДИДРО».

Энгельс

Среди выдающихся мыслителей-борцов прошлого, мощно двигавших вперед передовую человеческую мысль, не убоившихся поднять руку на старое, отживающее,—видное место занимает глава энциклопедистов, крупнейший деятель французского и европейского просвещения, идеолог революционной буржуазии предреволюционной Франции—Дени Дидро. Глубокий и оригинальный философ, блестящий писатель, убежденнейший материалист и атеист, пламенный борец за свободу и право народов против гнета и произвола тиранов,—Дидро имел огромное влияние на современников, гениально сформулировал передовые устремления своего времени. Недаром его философская и литературная деятельность подвергалась преследованиям со стороны феодально-клерикального общества, его книги сжигались по постановлению правительства, самого его арестовывали, и всю свою жизнь он находился под бдительным надзором полиции и духовенства.

Деятельность Дидро развернулась в условиях Франции предреволюционной эпохи, когда буржуазная революция против феодальных устоев общественной жизни буквально стучалась в дверь, когда возросшая экономическая роль в жизни общества нового, восходящего класса—буржуазии не отвечала ее политической роли в государстве.

Общественно-политическая жизнь времен Дидро обнаруживала все симптомы приближавшейся революции. Политически Франция представляла абсолютную монархию, выражавшую интересы господствовавших сословий феодального общества—дворянства и духовенства. Но в недрах феодального строя к этому времени уже сложились новые, капиталистические производственные отношения. Значение буржуазии в экономической жизни страны росло с каждым днем. Об этом красноречиво свидетельствовал уже огромный государственный долг—задолженность королевского двора и правительства буржуазии. Если в 50-х годах XVIII века проценты по этому долгу составляли 18 миллионов франков, то в 1776 г. они уже составляют внушительную

цифру в 108 миллионов франков. Ценой жесточайшей эксплуатации мануфактурных рабочих, ремесленников и крестьянства торговый и промышленный капитал с каждым годом усиливал свои экономические позиции в стране, и совершенно очевидно, что буржуазия уже не могла мириться с той второстепенной ролью, которую она вынуждена была играть в политической жизни страны в силу сословно-феодального строя государства, так как феодальный строй стеснял развитие капиталистического производства. Буржуазия объявляет войну старому общественному строю; она выступает в роли вождя всего «третьего сословия», народа, против дворянства и духовенства. Было бы ошибочно предполагать, что все представители «третьего сословия» выступали с одной и той же идеологической и политической платформой: «третье сословие» включало в себе слишком разношерстные социальные элементы, чтобы это было возможно. Здесь была и торговая и промышленная буржуазия, и мелкая буржуазия, и просто народ—мануфактурные рабочие, ремесленники, поденщики, крестьяне. Отсюда и различные философских взглядов и политических направлений—от теизма до материализма и атеизма включительно; от требования конституционной монархии до программы демократической республики. Франция времен Дидро наводнялась нелегальными философскими трактатами и политическими памфлетами, направленными против королевского правительства, против дворянства и духовенства, и правительство отвечало на них полицейскими репрессиями: тюрьмы наполнялись политическими заключенными, книги сжигались на кострах, читатели этих книг подвергались изгнаниям, каторжным работам, а нередко и смертной казни. Короче, барометр атмосферы политической и идеологической жизни страны показывал наступление революционной бури.

И революционная эпоха породила гигантов революционной мысли и революционного дела.

«Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции,—писал Энгельс,—сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов они не признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государственный порядок—все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности. Разум стал единственным мерилом всего существующего. Это было то время, когда, по выражению Гегеля, «мир был поставлен на голову», т. е. когда человеческая голова и открытые при помощи ее мышления положения предъявили притязание служить единственным основанием всех человеческих действий и общественных отношений и когда вслед за тем противоречившая этим положениям действительность была фактически перевернута вверх ногами. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь

впервые взошло солнце, наступило царство разума, и с этих пор суеверие и несправедливость, привилегии и угнетение уступят место вечной истине, вечной справедливости, вытекающему из законов природы равенству и неотъемлемым правам человека».

Дидро явился величайшим из тех великих мыслителей XVIII столетия, которые просветили умы для предстоявшей и разразившейся спустя пять лет после его смерти французской буржуазной революции 1789 г.

Дени Дидро родился 5 октября 1713 г. в небольшом городке Лангр, в северо-восточной части Франции. Отец его был ремесленником-ножовщиком. Это ремесло было наследственным в роду Дидро в течение более двухсот лет.

Получив свое первоначальное воспитание в иезуитском коллеже в Лангре, Дидро пятнадцати лет, не окончив коллежа, наскучившего ему бесплодностью иезуитского «образования», уезжает в Париж, где поступает в коллеж д'Аркур. Помимо неизменных риторики, богословия и т. п., Дидро изучает здесь языки, а также естественные науки: физику, математику, химию, физиологию.

Окончив коллеж около девятнадцати лет, Дидро не предполагал, однако, посвятить себя богословской карьере, как о том мечтал его отец. Ни к чему не привела и его работа в качестве помощника у одного прокурора, куда отец его устроил в надежде заставить сына заниматься хоть каким-нибудь делом, и с этого времени, приблизительно с 1733 г., в течение десяти с лишним лет Дидро ведет жизнь настоящего бедняка. Живя впроголодь, ночуя нередко где и как попало, скитаясь ночи напролет по улицам и бульварам Парижа, Дидро весь предается мечтам о деятельности на благо народа. Живет он в это время случайной преподавательской и переводческой работой: отец наотрез отказался помогать «бездельнику». Сам Дидро впоследствии в «Племяннике Рамо» несколькими штрихами набросал картину положения, в котором он находился: «Я представлял собой довольно жалкую фигуру». В летнюю жару—«в сером плюшевом сюртуке... Он был попорчен с одного бока; обшлаг был оборван, черные шерстяные чулки разорваны и заштопаны сзади белой ниткой». И тем не менее Дидро в этот период весь поглощен пополнением своих знаний, глубоко изучает древнюю и новую философию—Бэкона, Декарта, Спинозу, Лейбница, жадно следит за всеми новинками, к какой бы отрасли знания они ни относились, увлекается техникой, естествознанием, искусством, литературой, театром, музыкой, много наблюдает, горячо обсуждает с друзьями политические события дня,—короче, живет напряженнейшей духовной жизнью. Именно в этот период он приобретает ту исключительную и многостороннюю эрудицию, которая так поражает нас в его сочинениях.

В 1746 г. вышла анонимно первая значительная работа Дидро—«Философские мысли». Несмотря на осторожность высказываемых мыслей как по форме, так и по существу,—Дидро выступает в них еще как деист,—они оказались подозрительными властям с религиозной

точки зрения, и книга Дидро была осуждена на сожжение вместе с книгой Ламетри «Естественная история души».

И действительно, Дидро в этих «Мыслях» выступает как философ, ставящий вопросы религии на суд разума, но не приходящий еще к определенным материалистическим и атеистическим выводам. И в «Прогулках скептика, или аллеях»—произведении, написанном в 1747 г., Дидро хотя и сильно прислушивается к доводам атеизма, все же продолжает оставаться скептиком в области религии, одновременно нанося сильнейший удар по церковной ортодоксии.

Только в знаменитом «Письме о слепых в назидание зрячим», написанном в 1749 г. и вышедшем анонимно, как и все произведения Дидро, в 1750 г., Дидро выступает как мыслитель с вполне сложившимися материалистическими и атеистическими убеждениями. Недаром это произведение показалось не по душе даже такому крупному деятелю французского просвещения, гениальному писателю и осторожному, очень осмотрительному мыслителю, каким был Вольтер. «Я... совсем не придерживаюсь взгляда Саундерсона,—писал последний к Дидро в ответ на присылку ему «Письма о слепых»,—который отрицает бога, потому что он родился слепым... В высшей степени дерзко претендовать на возможность разгадать его природу и понять, зачем он создал все существующее; но мне кажется очень дерзким отрицать его существование». В своем ответном письме Дидро хотя и говорит, что сам верит в бога, но говорит об этом с такой нескрываемой иронией, с таким «легкомысленным» тоном по адресу религии, какие, пожалуй, в большей мере, чем открытые атеистические высказывания, способны были бы привести в бешенство церковников: «Я верю в бога, хотя живу в ладу с атеистами. Я заметил, что прелести порядка пленяют и их, несмотря на все их предубеждения; что они восторгаются красотой и добром и что когда они обладают вкусом, то они не в состоянии ни вынести скверной книги, ни выслушать терпеливо скверного концерта, ни терпеть в своем кабинете скверной картины, ни совершить скверного поступка. С меня этого вполне достаточно! Они утверждают, что все происходит в силу необходимости. По их мнению, человек, оскорбляющий их, оскорбляет их не более свободным образом, чем оскорбляет их кирпич, падающий на голову с крыши; но они не смешивают этих причин и никогда не возмущаются кирпичом. Этот факт тоже меня успокаивает. Поэтому, если очень важно не смешивать цикуты с петрушкой, то совершенно не важно, верить или не верить в бога. «Мир,—сказал Монтань,—это мяч, отданный на забаву философам», и почти то же самое я готов сказать о самом боге. До свиданья, дорогой мэтр».

Если в этом письме, как мы видим, Дидро склонен еще недооценивать вред религиозных предрассудков, говорит о том, что «совершенно не важно, верить или не верить в бога», то в последующих своих произведениях, во всей своей просветительской дея-

тельности он ополчается против религии и церковников, бичует невежество и предрассудки, как источник людских злодеяний и человеческого несчастья. «Государь,—пишет он в «Речи философа, обращенной к королю»,—если вы желаете иметь священников, то вы не можете желать иметь философов, а если вы желаете иметь философов, то вы не можете желать иметь священников. Ведь философы по самой профессии своей—друзья разума и науки; а священники—враги разума и покровители невежества, и если первые делают добро, то вторые делают зло, вы же не можете одновременно хотеть добра и зла».

24 июля 1749 г. Дидро был арестован. Полиция давно установила слежку за его литературной деятельностью. В протоколе допроса, учиненного Дидро, сказано:

«...Спрошенный, не он ли написал «Письмо о слепых в назидание зрячим», отвечал, что не он...

Спрошенный, не он ли автор произведения, появившегося несколько лет назад под названием «Философские мысли», отвечал, что не он...

Спрошенный, не он ли автор произведения под заглавием «Скептики, или аллея идей» (имеется в виду «Прогулка скептика, или аллен».—Я. М.), отвечал, что он...

Больше трех месяцев просидел Дидро в Венсеннском замке, из них месяц—в одиночном заключении.

Но это не остановило кипучей деятельности Дидро. Еще до ареста один предприимчивый издатель предложил Дидро взять на себя редактирование французского перевода английского энциклопедического словаря Джемса. Дидро пригласил в качестве соредактора для редактирования математического раздела энциклопедического словаря своего друга, выдающегося математика, академика Даламбера. Однако редакторы скоро убедились в том, что английский энциклопедический словарь сильно устарел, что необходимо создать совершенно новую энциклопедию, в которой была бы дана «общая картина усилий человеческого ума у всех народов и во все века» и в которой было бы отражено новое, научное мировоззрение. Но не успел еще Дидро приступить к делу, как был арестован. Едва только ему вернули свободу, как он вновь взялся со всей энергией, которая была ему свойственна, за составление и редактирование энциклопедии. Так было заложено начало той поистине титанической работе по созданию знаменитой Энциклопедии, или «толкового словаря наук, искусств и ремесел», которой Дидро посвятил большую часть своей жизни, день за днем и ночь за ночью, в продолжение двадцати с лишним лет: первый том Энциклопедии вышел в 1751 г., последний—в 1765 г., и последний, одиннадцатый том гравюр,—в 1772 г.

Вдохновителем этого грандиозного труда, в подлинном смысле слова—душой Энциклопедии был Дидро, признанный глава энциклопедистов.

Дидро сумел привлечь к участию в Энциклопедии самых выдаю-

щихся своих современников. Не говоря уже о самих редакторах Энциклопедии—Дидро и Даламбере, принимавших в ней участие также и в качестве авторов, в ней сотрудничали такие крупные ученые, философы и писатели, как Гольбах, Гельвеций, Вольтер, Монтескье, Руссо, Тюрго, Бюффон, Дюкло, Мармонтель, Леруа и многие другие. Дидро стремился объединить *против фанатизма и тирании* всех свободомыслящих деятелей эпохи. И это обстоятельство помимо необходимой осторожности из чисто политических соображений наложило известный отпечаток на идейный «облик» Энциклопедии, хотя твердая редакторская рука Дидро и пронизала весь этот труд сильнейшей материалистической тенденцией.

Конечно, Энциклопедия Дидро и Даламбера для наших дней уже устарела, но это не умаляет той огромной исторической роли, какую она сыграла. В ней была дана в развернутой форме целая система новых взглядов, она явилась грандиозным сводом знаний, сводом нового мировоззрения—мировоззрения революционной буржуазии периода ее борьбы против феодализма, и роль Энциклопедии в деле просвещения, в деле идеологической подготовки революции, в истории человеческой мысли вообще—колоссальна.

Немудрено, что сторонники старого режима, предпринявшие атаки против Энциклопедии и ее автора—Дидро еще до выхода в свет первого тома, совершенно распоясались по выходе Энциклопедии в свет. Дидро отдавал себе ясный отчет в том, кто был настоящим врагом Энциклопедии, а следовательно, и его личным врагом. «Явными нашими врагами,—писал он,—были двор, знать, военные, у которых всегда то же мнение, что и при дворе, попы, полиция, чиновники, те из литераторов, которые не участвовали в предприятии, светские люди, те из граждан, которые позволили этой толпе увлечь их»,—короче, все силы старого, феодального общества.

Иезуиты требовали запрещения Энциклопедии, и постановлением Королевского совета от 7 февраля 1752 г. были запрещены первые два вышедшие к тому времени тома. «Его величество признало,—говорится в постановлении Королевского совета,—что в этих двух томах излагаются многие положения, стремящиеся уничтожить королевский авторитет, укрепить дух независимости и возмущения и своими темными и двусмысленными выражениями заложить основы заблуждений, порчи нравов и неверия».

Потребовалась огромная сила воли от Дидро, чтобы продолжать эту опасную работу. Несмотря на запрещение первых двух томов Энциклопедии, Дидро не оставил своей работы; и даже после того как Даламбер, не выдержав усилившихся преследований, отошел от работы в Энциклопедии, Дидро продолжал работать с той же самоотверженностью, с той же напряженностью и упорством, в неизмеримо тяжелых условиях и в сущности нелегально издал последние десять томов Энциклопедии.

Напряженная работа над Энциклопедией не помешала и соб-

ственно литературной деятельности Дидро. Именно в период работы над Энциклопедией он написал свои наиболее зрелые философские труды: «Мысли к объяснению природы», «Философские основания материи и движения»; такие шедевры, как «Разговор Даламбера и Дидро», «Сон Даламбера», «Продолжение разговора» и др. В этот же период был написан им и «Племянник Рамо».

Вокруг Дидро сплотилась тесная группа друзей из числа писателей, наиболее последовательных по своим материалистическим и атеистическим убеждениям, развернувших огромную работу по пропаганде его и своих идей, составивших так называемое «ядро» энциклопедистов. Таковы Гольбах, Гельвеций, Гримм, Нэжон. Именно они писали классики марксизма-ленинизма, как об авторах таких боевых атеистических произведений, которые и до наших дней не утратили своего значения в деле антирелигиозной пропаганды.

Еще в 1767 г. русская императрица Екатерина II пригласила Дидро в Россию. Заинтересованная в создании европейского общественного мнения о себе, как о «просвещенном монархе», Екатерина завязала и поддерживала в течение многих лет переписку с крупнейшими писателями века, в том числе и с представителями парижской «литературной республики» и с ее признанным президентом—Вольтером. Переписывалась она также и с Дидро; предлагала ему даже перенести печатание запрещенной во Франции Энциклопедии в Россию. Дидро, понятно, плохо верил в серьезность этого предложения. Однако оно произвело впечатление: в то время как культурная и просвещенная Франция преследовала философа и его Энциклопедию, самодержец отсталой и «варварской» страны предлагает Дидро открыто продолжать свою просветительскую деятельность в России. Впрочем, Екатерина не раз удивляла Европу своим отношением к гонимому на родине философу-материалисту: зная о бедственном материальном положении Дидро, она за большую сумму денег купила его библиотеку, оставив ее в распоряжении Дидро до конца жизни, так как «нельзя разлучать ученого с его книгами». Мало того, она назначила Дидро своим библиотекарем в его же библиотеке и установила ему солидный оклад, выплатив его за 50 лет вперед. Екатерина добилась своего: она слыла в глазах многих просвещенным монархом, покровителем философов, желающим построить свое государство на началах разума.

Занятый по горло Энциклопедией, Дидро не мог тотчас же предпринять столь далекое путешествие. Но в 1772 г. работа была закончена, и Дидро в мае 1773 г. выехал в Россию через Голландию. В сентябре он в Петербурге, где надеется, что сумеет убедить Екатерину ликвидировать хотя бы самые отвратительные факты, связанные с крепостным правом, и внести некоторые реформы в государственное управление страной. Екатерина с неизменной приветливостью принимала Дидро, охотно его выслушивала, с гораздо меньшей охотой отвечала на его расспросы о положении в России, но предложений Дидро не выполняла, да и не предполагала этого делать.

5 марта 1774 г. Дидро, разочарованный в своих надеждах, выехал из Петербурга на родину, опять-таки через Голландию, где остановился у князя Голицына, издававшего книгу Гельвеция «О человеке», и где по просьбе Екатерины наблюдал над изданием «Планов и установлений» всевозможных учебных и ученых заведений. Здесь Дидро написал свое знаменитое «Систематическое опровержение книги Гельвеция «О человеке», в котором подверг критике социологические и этические воззрения Гельвеция и показал себя более глубоким и последовательным мыслителем по сравнению с остальными французскими материалистами XVIII века и в вопросах учения об обществе. Здесь же он просмотрел и привел в порядок свои «Элементы физиологии», над которыми работал много лет и в которых предвосхитил многие идеи об эволюции живых существ, ставшие впоследствии прочным достоянием науки.

Последние годы жизни Дидро хотя и не писал уже, но продолжал свою неутомимую просветительскую работу, помогая своим друзьям в их литературной деятельности по пропаганде материализма и атеизма как прямо, так и косвенно—беседami, советами, указаниями и т. д. В беседах, встречах друзей закладывались основы того мировоззрения, которое известно как французский материализм XVIII века; самым выдающимся и признанным представителем его и является Дени Дидро.

Огромная, напряженная работа окончательно надорвала силы главы энциклопедистов. 19 февраля 1784 г. у него обнаружилось кровохарканье. С тех пор силы его стали слабеть с каждым днем, и 31 июля 1784 г. Дидро умер.

В своих произведениях Дени Дидро не оставил без внимания ни одного из вопросов мировоззрения, имеющих принципиальное значение; причем в решении этих вопросов он неизменно отстаивал самую последовательную для своего времени материалистическую позицию. Недаром великие основоположники научного коммунизма так высоко ценили Дидро, как мыслителя и как писателя. Маркс называет Дидро своим любимым прозаиком, а произведение Дидро «Племянник Рамо»—«неподражаемым произведением». Когда он хотел дать высокую оценку Добролюбова, он не нашел ничего более выразительного, как сравнить его с Дидро. «Как писателя я ставлю его наравне с Лессингом и Дидро»,—писал Маркс о Добролюбове. Энгельс с глубоким чувством удовлетворения отмечает «высокие образцы диалектики» в «Племяннике Рамо». Еще в «Положении рабочего класса в Англии» Энгельс указывал на необходимость широкой популяризации произведений французских материалистов. Он писал: «...Буржуа—раб данного социального строя и связанных с ним предрассудков—боится всего, что действительно знаменует собой прогресс, и усердно отрещивается от него; пролетарий же смотрит на все новое открытыми глазами и изучает его с наслаждением и успехом. В этом отношении социалисты особенно много сделали для просвещения пролетариата; они перевели французских матери-

листов, Гельвеция, Гольбаха, Дидро и т. д., и распространили их в дешевых изданиях вместе с лучшими произведениями английских авторов».

Высоко оценивал Дидро и Владимир Ильич Ленин. Противопоставляя материалистическую и идеалистическую линии в философии, он называл имена Дидро и Беркли, говорил, что «на примере Дидро» легко увидеть «настоящие взгляды материалистов». Ленин целыми страницами цитирует из Дидро в собственном переводе. В знаменитой статье «О значении воинствующего материализма» он настойчиво выдвигает задачу «массового распространения в народе боевой атеистической литературы конца XVIII века», «бойкой, живой, талантливой, остроумно и открыто нападающей на господствующую поповщину публицистики старых атеистов XVIII века».

В нескольких словах мировоззрение Дидро может быть изложено следующим образом.

Дидро—материалист. Основной вопрос философии—вопрос об отношении мышления к бытию он твердо и безоговорочно решает материалистически: материя первична, ощущение, сознание вторично; оно—свойство материи. Способность к ощущению свойственна всей материи, независимо от степени ее сложности. Из своего материализма Дидро делает последовательные атеистические выводы: в мире нет ничего, кроме движущейся материи, которая существует вечно, по одной только необходимости своей природы в пространстве и времени. Все в мире подчинено закону причинности, и все должно и может быть объяснено естественными законами природы. Движение рассматривается Дидро, как неотъемлемое свойство материи: нет материи без движения, как и нет движения без материи. Решает Дидро материалистически и другую—теоретико-познавательную сторону основного вопроса философии: все наши представления, все наши знания, по убеждению Дидро, являются отражением вне нас существующих предметов внешнего мира.

С каждым новым произведением после «Письма о слепых в назидание зрячим» Дидро, как мы увидим, все больше и больше укрепляется в этих своих основных принципах, развивает и углубляет их.

Дидро не сразу пришел к своим материалистическим и атеистическим взглядам. Он проделал большую философскую эволюцию от теизма к материализму и атеизму, хотя и проделал ее необычайно быстро. Вопросы религии и нравственности интересовали Дидро с ранних, юношеских лет. Ему казалось, что нравственность теснейшим образом связана с религией, в такой мере, что нет нравственности без религии, и эти соображения удерживали его в начале философского пути на позициях теизма, т. е. на позициях признания бога, как творца всех моральных ценностей, награждающего добродетель и карающего преступление: «Не может быть добродетель без бога и счастье без добродетели»,—таково убеждение Дидро в этот начальный период его философского развития, в период, когда Ла-

метри уже выступает с книгой, в которой открыто отстаивает материалистическое мировоззрение. Теизм отличается от обыкновенной религии тем, что, признавая существование бога, он в то же время отбрасывает явные нелепости, связанные с признанием той или иной положительной религии, как христианство, иудаизм и т. д. Но уже спустя год Дидро в своих «Философских мыслях» видит в самой человеческой природе источник нравственных идей, отстаивает независимость нравственности от религии, нападает на проповедываемую христианством аскетическую мораль, требующую подавления страстей, сковывающую души людей и мешающую расцвету всех человеческих способностей. Дидро отстаивает взгляд, что «одни только страсти способны возвышать нашу душу до великих подвигов». От теизма Дидро переходит к деизму, он сторонник «естественной религии» и, в качестве такового,—в «Философских мыслях» выступает еще против атеизма, опираясь на телеологическое доказательство бытия божия: если устройство вселенной разумно и целесообразно, то должен существовать ее разумный творец. «Крыло бабочки, глаз мошки представляют наглядное опровержение атеизма»,— таково убеждение Дидро в этот период его философской эволюции. Однако вскоре он убеждается в ложности и этого представления, и в работе «О достаточности натуральной религии» (1747 г.), представляющей продолжение «Философских мыслей», он переходит к религиозному скептицизму, открыто выражает сомнения в истинности религии вообще, настаивая на том, что наших знаний недостаточно для признания или отрицания бога, что, следовательно, хотя и возможно, что он существует, но в такой же мере возможно, что его и нет... В «Прогулках спептика, или аллеях» Дидро идет уже дальше в своих сомнениях, выводит в них представителей всех существовавших в его время типов мировоззрения—теиста, деиста, скептика, пантеиста и атеиста, заставляет их обсуждать важнейшие вопросы религии, и чувствуется, что мнение самого Дидро на стороне атеиста, доказывающего, что для признания существования бога нет решительно никаких оснований; что мир существует и действует по одной только естественной необходимости, и с точки зрения последней может быть вполне объяснен; что для его объяснения вовсе не необходимо прибегать к признанию какого-то сомнительного сверхъестественного существа.

Только в «Письме о слепых в назидание зрячим» (1749 г.) Дидро выступает с законченным материалистическим и атеистическим мировоззрением, которое развивается и углубляется им на протяжении всей жизни и которому он уже никогда не изменял.

Таким образом, мы видим, что за четыре года Дидро проделал колоссальную эволюцию от религии к атеизму. Твердо став на позиции материализма и атеизма, Дидро уже не сходил с них всю жизнь, горячо и талантливо их отстаивал.

Центральное место в философских воззрениях Дидро занимают вопросы теории познания. Эти вопросы ставятся им во весь рост уже

в «Письме о слепых в назидание зрячим»—в первом произведении, в котором Дидро становится на твердую материалистическую почву. В вопросах теории познания французские материалисты, в том числе и Дидро, были учениками Локка. Единственным источником наших знаний являются *ощущения*, говорили они вслед за своим учителем. Однако самый факт признания ощущений единственным источником человеческих знаний,—хотя он безусловно и *необходим* для определения материалистического существа той или иной философской системы, в то же время не может служить *достаточным* критерием для признания того или иного философа материалистом, так как ощущение можно понимать и в материалистическом, и в идеалистическом смысле. «И Беркли и Дидро вышли из Локка»,—писал Ленин. Но если Беркли использовал в субъективно-идеалистическом направлении слабые стороны сенсуализма Локка, его учение о внутренней деятельности души, как об одном из источников познания, то Дидро развил дальше материалистическую тенденцию локковского сенсуализма, отбросив совершенно представление о внутренней рефлексии души и провозгласив единственным источником познания воздействие внешнего мира на наши органы чувств.

Епископу Беркли немало достается уже в этом первом материалистическом произведении Дидро. Именно в нем содержится знаменитое определение идеализма, которое Ленин цитирует в «Материализме и эмпириокритицизме», показывая на примере этого определения действительные взгляды материализма на важнейший вопрос об источнике наших знаний и вскрывая махистские спекуляции со словечками «опыт», «ощущение». *«Идеалистами* называют философов,—говорит Дидро,—которые, признавая известным только свое существование и существование ощущений, сменяющихся внутри нас, не допускают ничего другого. Экстравагантная система, которую, на мой взгляд, могли бы создать только слепые! И эту систему, к стыду человеческого ума, к стыду философии, всего труднее опровергнуть, хотя она всех абсурднее. Она изложена с полной откровенностью и ясностью в трех диалогах доктора Беркли, епископа Клойнского».

Ленин отмечает, что в этом своем определении Дидро «вплотную» подходит «к взгляду современного материализма (что недостаточно одних доводов и силлогизмов для опровержения идеализма, что не в теоретических аргументах тут дело)».

В этом положении Ленина содержится чрезвычайно глубокая характеристика материализма Дидро. Согласно Дидро, оставаясь только в области мысли, не выходя за ее пределы, в область фактов объективной действительности, невозможно подлинно научное знание, невозможно опровержение совершенно абсурдной философии, каковой является философия субъективного идеализма, что «недостаточно одних доводов и силлогизмов», что «не в теоретических аргументах тут дело», что дело в опыте, в практике. Самые силлогизмы, согласно Дидро, имеют исключительно опытное происхождение. «Мы не выводим их: все они выведены природой,—пишет Дидро о сил-

логизмах.—Мы только регистрируем соприкасающиеся, известные нам из опыта явления, между которыми существует необходимая или условная связь». Не случайно во всех своих произведениях Дидро отстаивает мысль о приближении философии к жизни, выдвигает требование, чтобы философия опиралась на естествознание, на всю совокупность практического опыта, накопленного человечеством. Конечно, Дидро был далек еще от понимания опыта, как всей общественной практики людей, включая, прежде всего, их материально-производственную практику, но он ясно понимал, что только та философия может претендовать на звание науки, которая будет иметь своим основанием факты объективной реальности. И только сама действительность на каждом шагу опровергает, с его точки зрения, идеалистическое представление о мире.

Таким образом, мы видим, что уже в этом произведении, написанном всего два года спустя после «Прогулки скептика», где Дидро еще не совсем отделался от деизма, он уже занимает строго определенную материалистическую позицию в вопросах теории познания. Теоретико-познавательные идеи Дидро, развиваемые им в этом произведении, открыли в подлинном смысле слова новую страницу в истории новой философии. В этом произведении впервые в истории философии ставятся на строго научную почву вопросы теории познания. Ощущения—источник нашего знания. Это правильно. Но это еще только половина истины, учит Дидро, и она еще не спасает от идеализма, от «экстравагантной философии» Беркли. И Дидро рекомендует сенсуалисту Кондильяку, развивавшему во Франции взгляды Локка, подумать над этим. Важно еще решить вопрос: что является источником самих ощущений? И Дидро отвечает: источником ощущений является внешний мир, воздействующий на наши органы чувств и вызывающий в нас соответствующие ощущения. В «Разговоре Даламбера и Дидро» последний выражает эту мысль, содержащуюся уже в «Письме о слепых», чрезвычайно ярко и образно: «Мы—инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства—клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют; вот, по моему мнению, все, что происходит в фортепиано, организованном подобно вам и мне. Дано впечатление, причина которого находится внутри или вне инструмента, возникает ощущение, вызываемое этим впечатлением, ощущение длительное...» и т. д.

Неудивительно, что в «Прибавлении к письму о слепых», написанном в 1782—1783 гг., спустя тридцать четыре года после написания самого «Письма», Дидро с полным удовлетворением констатирует, что новые факты, которые составляют предмет этого «Прибавления», целиком подтверждают «Письмо». «Я перечел его без предвзятости и не могу сказать, чтобы я им остался недоволен... Думаю, что я тщетно старался бы теперь сформулировать иначе то, что удачно в *Письме* в смысле идей и выражения...»

Мысли, изложенные Дидро в «Письме о слепых», развиваются

им далее в «Мыслях к объяснению природы», произведении, написанном им в 1754 г. Произведение это построено по типу «Нового Органона» Бэкона, примыкает оно к нему и по содержанию, имея своим предметом вопрос о научном методе исследования. Дидро развивает дальше взгляд Бэкона, что философия должна опираться на опытные знания. Одновременно он видит свою задачу в освобождении от *односторонностей* как эмпиризма, который делает основной упор на описание и классификацию данных опыта, так и рационализма, недооценивавшего роль опыта в познании и преимущественную роль отводившего разуму. Дидро видит свою цель в создании новой философии природы, в которой эмпирический опыт и теоретический разум одинаково нашли бы себе применение в единой концепции познавательного процесса. Нечего и говорить, что задача эта грандиозна по своему размаху, так же как ясно и то, что свое разрешение она могла найти только в современном, диалектическом материализме.

Основное содержание «Мыслей к объяснению природы» выражено уже в параграфе 1-м. Дидро пишет, что философы в своих методологических предпосылках разделились на две группы: «Первые, как мне кажется, имеют в своем распоряжении большое количество орудий и мало идей, у вторых—много идей, но нет орудий. В интересах истины следовало бы группе умозрительных философов сообразоваться с группой философов действующих, чтобы умозрительный философ мог бы обходиться без движения, чтобы философ-экспериментатор имел перед собой цель своих бесконечных движений; чтобы все наши усилия оказались объединенными и одновременно направленными на преодоление сопротивления со стороны природы; и чтобы в этом своеобразном философском союзе у каждого оказалась соответствующая ему роль».

Дидро твердо убежден в познаваемости внешнего мира. Этот вопрос не представляет даже для него серьезных трудностей, и эта уверенность в познаваемости природы выражена у него в образной, художественной форме: «Природа напоминает женщину, любящую переодеваться,—ее разнообразные наряды, от которых ускользает то одна часть тела, то другая, дают надежду настойчивым поклонникам некогда узнать ее всю».

Однако познать эту природу, учит Дидро, невозможно одними силами разума,—разум должен действовать в теснейшем союзе с опытом, с экспериментом: «Люди плохо учитывают, как суровы законы отыскания истины и как ограничено число наших средств. Все сводится к тому, чтобы от чувства восходить к размышлению, а от размышления обращаться к чувствам: погружаться в себя и непрерывно выходить наружу—это труд пчелы. Все наши заготовки тщетны, если не входить в улей, богатый воском. Накопленный воск бесполезен, если не уметь делать соты».

Голые эмпирические факты столь же мало дают в деле реального познания природы, как и голое умствование, не желающее считаться с фактами, бегущее от фактов действительности. Послед-

нему немало попадает от Дидро в его замечательных «Мыслях». Можно сказать, что главный удар он направляет именно против чисто умозрительной философии, против чистого рационализма. Умозрительная философия пытается объяснить явления действительности без обращения к фактам, без изучения фактов самой действительности. Она никак не в состоянии понять, что «понятия, не имеющие никакой опоры в природе, можно сравнить с северными лесами, где деревья не имеют корней. Достаточно порыва ветра, достаточно незначительного факта, чтобы опрокинуть весь этот лес деревьев и идей». Но, «к несчастью, легче и проще спрашивать совета у себя, чем у природы».

Красной нитью через все «Мысли к объяснению природы» проходит одна основная идея, выраженная еще в «Письме о слепых»: подлинным и единственным источником всех наших знаний является объективная природа; она же и должна служить единственным мерилом истинности этих знаний, единственным критерием истины. Дидро различает три средства познания природы, которые только в своей совокупности достигают цели: наблюдение, размышление и опыт, эксперимент. Это положение ясно и недвусмысленно, как и все, что писал Дидро, выражено в «Мысли» пятнадцатой: «Мы полагаем тремя главными средствами исследования: наблюдением природы, размышлением и экспериментом. Наблюдение собирает факты; размышление их комбинирует; опыт проверяет результат комбинаций. Необходимы прилежание для наблюдения природы, глубина для размышления и точность для опыта. Редко эти средства объединяются. Также творческие умы—явление необычное». Только знание, построенное в соответствии с указанными требованиями,—научное знание, способное служить людям на практике, принести пользу народу, так как наука и философия только тогда оправдают себя, когда народ будет ощущать на себе их пользу. Практическую цель науки и философии Дидро не упускает из виду ни на минуту: «Истинный метод философствования был и будет заключаться в том, чтобы умом проверять ум, чтобы умом и экспериментом контролировать чувства, чувствами познавать природу, изучать природу для изобретения различных орудий, пользоваться орудиями для изысканий и усовершенствования знаний, которые необходимо предоставить народу, чтобы научить его уважать философию».

«Мы приблизились ко времени великой революции в науках»,— провозглашает Дидро. Революция эта состоит в том, что наука и философия должны быть поставлены на службу народа, чтобы облегчить его труд, его жизнь, чтобы доставить ему счастье. Для этого философ должен отбросить свои бесплодные абстракции, он должен быть физиком и химиком, а философия в целом должна приблизиться к народным массам, стать им понятной,—если она хочет быть прогрессивной. Поэтому «нужно стремиться к тому, чтобы сделать философию популярной. Если мы хотим, чтобы философия прогрессировала, приблизим народ к уровню философов. Может быть, они скажут, что

есть труды, которые никогда не будут доступны заурядному уму. Если они так скажут, они только обнаружат непонимание значения хорошего метода и продолжительного навыка».

В этих словах—весь Дидро. Дидро—революционер мысли и дела, Дидро, который жил и трудился для блага народа, посвятивший всю свою жизнь служению истине и добру в лучшем смысле этих слов.

К «Мыслям к объяснению природы» теснейшим образом примыкает небольшое по объему произведение Дидро «Философские основания материи и движения», написанное им 16 лет спустя. Основной принцип, выдвигаемый им в этом произведении, в не столь развернутой и отчеканенной форме содержался уже в предыдущих работах: материя и ее движение—это все; она исчерпывает собой всяческую реальность, всяческое бытие. «Невозможно предположение чего-либо, что существует вне материальной вселенной,—пишет Дидро;—никогда не следует делать подобных предположений, потому что из этого нельзя сделать никаких выводов». Дидро настойчиво подчеркивает, что материи извечно присуще движение, что движение—главное и неотъемлемое свойство, атрибут материи. В этом отношении, в понимании движения, как главного свойства материи, Дидро продолжает и развивает взгляды английского философа-материалиста Толанда. Но если последний никогда не сумел целиком освободиться от деизма, то Дидро, как мы видели, со всей присущей ему последовательностью делает из этой мысли Толанда все атеистические выводы: достаточно исходить из принципов материи и движения, чтобы объяснить все явления мира; существование бога, в какой бы «естественной» форме это существование ни представлялось, не только не требуется для понимания природы, но целиком и полностью *противоречит* правильному ее пониманию.

Известно, что Декарт считал единственным свойством материи протяженность. Спиноза стал рассматривать как один из бесчисленных атрибутов материи также и мышление. Движение рассматривалось им только как бесконечный модус, или состояние материи. Только Голанд, подвергнув критике воззрения Спинозы, утвердил в истории новой философии взгляд на движение, как на главный атрибут материи. И Дидро развивает далее эту плодотворнейшую идею в истории философии.

«Не знаю,—начинает Дидро свои «Философские основания материи и движения»,—в каком смысле философы полагали, будто материя безразлична к движению и покою. Хорошо известно, что тела тяготеют друг к другу; это значит, что все частицы тела взаимно притягиваются; это значит, что в этом мире все либо перемещается, либо оказывает сопротивление, или же одновременно перемещается и оказывает сопротивление»,—и нигде в природе вы не найдете тел, абсолютно покоящихся. Представление о покое, учит Дидро, могло только возникнуть в результате безнадежной абстракции от реальных свойств предметов, подобно тому как математики допускают существование точек без измерения, линии без ширины и глубины и поверхности

без плотности. На самом деле «абсолютный покой есть абстрактное понятие, которое в природе не существует»,—пишет Дидро. «Движение есть такое же реальное свойство, как длина, ширина, глубина. Философы, признающие существование в природе абсолютно покоящихся тел, исходят из того представления, что тело само по себе не одарено ни действием, ни силой, что для того, чтобы привести тело в состояние движения, необходима *внешняя*, действующая на него сила. Но «это ужасная ошибка,—говорит Дидро,—идущая вразрез со всякой здоровой физикой, со всякой здоровой химией: тело преисполнено деятельности и силы и само по себе, и по природе своих основных свойств,—рассматриваем ли мы его в молекулах или в массе». И Дидро излагает свое знаменитое учение о материи и движении, согласно которому в природе все находится в движении, каждой молекуле присуща внутренняя, интимная, «конституирующая ее природу» сила, лишь внешним выражением и проявлением которой является движение, как ее перемещение в пространстве. Но почему же в таком случае молекулы одного и того же химического элемента обладают различной скоростью движения, а иногда даже представляются нам как покоящиеся? На этот вопрос Дидро отвечает так: «На всякую молекулу следует смотреть, как на средоточие трех родов действий: действия тяжести, или тяготения, действия внутренней силы, свойственной ее природе, как молекулы воды, огня, воздуха, серы, действия всех других молекул на нее. Эти действия могут соединяться или разъединяться, и если они соединяются, то действие молекулы—самое сильное из всех возможных для нее». Чтобы составить себе представление о таком случае, говорит Дидро, следует поставить молекулу в «совершенно метафизическое положение», т. е. отвлечься от всех действительных процессов, происходящих в природе, так как вследствие взаимного сцепления всех явлений природы такое схождение всех трех родов действий должно быть признано исключенным.

Но Дидро не ограничивается приведенным указанием, он ищет еще причину многообразия форм движения материального мира и приходит к выводу, что материя не однородна, но разнородна: «Я останавливаю свой взор на общей массе тел, я вижу все в действии и в противодействии, я вижу, как все разрушается под видом одной формы и восстанавливается под видом другой; я наблюдаю переронки, разложения, всевозможные соединения, явления, несовместимые с однородностью материи; отсюда я заключаю, что материя разнородна, что существует бесконечное разнообразие элементов в природе, что у каждого из этих элементов благодаря его разнообразию есть своя самобытная, внутренняя, неизменная, вечная, неразрушимая сила и что все эти внутренне присущие телу силы действуют, выходя за его пределы; таким образом создается движение или, вернее, всеобщее брожение во вселенной».

Едва ли следует говорить о том, что такое объяснение—механистическое, что только в свете диалектического материализма, рас-

смастривающего все явления действительности с точки зрения качественного развития, возможно объяснить бесконечное многообразие форм движения материального мира. Но уже самая постановка этого вопроса Дидро делает его самым передовым мыслителем материалистом XVIII века. Дидро всячески подчеркивает абсолютный характер движения—все в природе находится в движении. Следует лишь различать тела, «активно» движущиеся, и тела, «пассивно движущиеся» или находящиеся в состоянии напряжения. Последние именно потому, что они движущиеся все же, а не абсолютно покоящиеся тела, при соответствующих условиях приобретают способность к активному движению, к перемещению в пространстве. Конечно, говорит Дидро, если мы будем отвлекаться от всех существенных свойств предметов и оперировать одними голыми абстракциями, как это делает математика или метафизика, то мы не найдем ничего в природе, кроме мертвого покоя: «делайте с математикой и с метафизикой все, что вам угодно; но я—физик и химик; я беру тела такими, каковы они в природе, а не в моей голове; для меня они существующие, разнообразные тела, наделенные свойствами и деятельностью, они действуют в природе, как в лаборатории, где искра не существует рядом с тремя соединенными молекулами селитры, угля и серы, без того, чтобы произошел неизбежный взрыв».

Еще раз подчеркнем, что взгляды Дидро на материю и движение носят метафизический в основном, механистический характер. Он был далек от понимания бесконечного качественного многообразия материи, являющегося в свою очередь выражением бесконечного качественного многообразия форм самого движения материи в процессе исторического развития материального мира. Самое движение понималось Дидро, как чисто механическое движение, как простое перемещение тела в пространстве. Но основная мысль, настойчиво подчеркиваемая Дидро во всех его трудах,—что нет материи без движения, что покой—мертвая абстракция, что в природе нет покоя; понимание им самого факта многообразия форм движения материального мира; понимание движения, как *внутреннего* свойства материи, ее интимнейшего свойства, составляет одну из бессмертных заслуг Дидро в истории философской мысли. Указанные мысли Дидро следует рассматривать, как один из блестящих *диалектических* моментов в его философии, лишней раз показывающих, что по сравнению со своим веком Дидро сделал огромный шаг вперед, именно в диалектическом понимании вещей. Поэтому неудивительно, что именно Дидро, и никто другой из блестящей плеяды французских материалистов, предвосхитил идею трансформизма в природе, идею эволюции живых существ, так же как и идею происхождения органического мира из неорганического.

Эти идеи, намеченные Дидро уже в его первых произведениях, в частности в «Письме о слепых в назидание зрячим», составляют центральную тему его знаменитой философской трилогии: «Разговор Даламбера и Дидро.—Сон Даламбера.—Продолжение разговора».

Это произведение Дидро, написанное в виде диалогов в 1769 г., имеет интересную историю. В уста некоторых своих современников Дидро вкладывал открытые материалистические и атеистические высказывания, слова, направленные против властей. Леспинас, также фигурирующая в этом произведении, настаивала на уничтожении диалогов, и Дидро это сделал, причем он был совершенно уверен, что от произведения ничего не осталось. Однако впоследствии были найдены копии этих работ Дидро, которые и были опубликованы в 1830 г. Дидро очень ценил свои диалоги. «Эти диалоги,—писал он Даламберу,—вместе с некоторыми записками по математике, которые я, может быть, когда-нибудь решусь опубликовать, были единственными из всех моих произведений, которыми я любовался».

Красной нитью через это произведение Дидро проходит идея материального единства всех царств природы. Дидро устанавливает естественную преемственность в развитии всей природы—от молекулы до человека включительно и в соответствии с ней делает попытку построить научную классификацию существ. Его «Элементы физиологии»,—кстати, во многом устаревшие, но основная идея которых, пронизывающая их идея об эволюции живых существ, устареть не может,—так и начинаются: «Надо начинать с классификации существ, от инертной молекулы, если такая есть, до живой молекулы, микроскопического животного, животное-растения, животного, человека». Идея Дидро о единстве всего материального мира теснейшим образом связана с его учением о материи и движении. Подобно тому, говорит он, как существует в природе активное движение и движение пассивное, существует также и деятельная чувствительность материи и пассивная чувствительность. С этой мысли и начинается «Разговор Даламбера и Дидро».

«Мне было бы очень интересно,—говорит Даламбер Дидро,—если бы вы мне сказали, в чем, по-вашему, заключается разница между человеком и статуей, между мрамором и телом».—«Разница большая,—отвечает Дидро,—мрамор делается из тела, тело—из мрамора». На недоумение Даламбера, в чем же Дидро усматривает связь между живой силой, каковой, повидимому, является человек, и мертвой силой, каковым представляется мрамор, Дидро отвечает вполне в основном духе его воззрений: «Перемещение тела из одного места в другое не есть движение, а только результат. Движение имеется одинаково и в движущемся теле и в теле неподвижном... Устраните препятствия, которые мешают пространственному перемещению неподвижного тела, и оно передвинется».—«Но какая связь между движением и чувствительностью?—не успокаивается Даламбер.—Неужели вы признаете пассивную и активную чувствительность, подобно живой и мертвой силе? Живая сила обнаруживается в передвижении, мертвая сила проявляется в давлении. Так и активная чувствительность характеризуется известными действиями, которые мы замечаем у животного и, пожалуй, у растений, а в пассивной чувствительности мы убеждаемся при переходе к состоянию активной чувствитель-

ности». — «Прекрасно, — отвечает Дидро. — Теперь вы раскрыли эту связь».

Но Даламбер все же не удовлетворен: он наблюдал в природе переход мертвой силы в состояние живой силы, пассивного движения — в состояние активного движения, но нигде и никогда он не видел, чтобы тело приводило из состояния пассивной чувствительности в состояние деятельной чувствительности, и Дидро возражает, что Даламбер лично это постоянно делает, когда ест: он устраняет препятствия, мешающие проявлению в продуктах их деятельной чувствительности, ассимилирует продукты, делает из них тело, одушевляет их, делает чувствительными и «то, что вы производите с пищей, то я сделаю с мрамором».

Даламбер. Каким же это образом?

Дидро. Каким образом? Я сделаю его съедобным.

Даламбер. Сделать мрамор съедобным, — это мне не кажется легким.

Дидро. Это мое дело... Я беру статуэтку, которую вы видите, кладу ее в ступку и сильными ударами песты... Когда глыба мрамора превращена в незаметный наощупь порошок, я примешиваю этот порошок к перегною или чернозему, хорошо смешиваю все это, поливая образовавшееся месиво, даю ему гнить в продолжение года, двух лет, целого века; время для меня ничего не значит. Когда все это превратится в приблизительно одинаковое вещество, в перегной, знаете, что я сделаю?

Даламбер. Я уверен, что вы не едите перегноя?

Дидро. Нет, но есть средство соединения, усвоения между перегноем и мною; *latus* — как сказал бы химик.

Даламбер. А этот *latus*, что это — растение?

Дидро. Прекрасно. Я сею горох, бобы, капусту и другие овощи. Овощи питаются землей, а я питаюсь овощами.

И Даламбер вынужден признать, что — верно это или нет — но ему очень нравится этот переход от мрамора к чернозему, от чернозема к растительному царству и от последнего к животному царству, к телу.

В таком стиле продолжает Дидро развивать сложнейшие философские проблемы, наглядно показывая, как можно и должно сделать философию популярной.

Доказав, что нет непроходимой пропасти между живым и неживым, что живое образуется из неживого, Дидро переходит к вопросу о мыслительной способности людей. Мышление, согласно Дидро, — это не что иное, как высшая форма чувствительности материи, присущая человеку, как следствие его высокой физической организации.

«При всем том чувствующее существо еще не есть существо мыслящее», — продолжает настаивать Даламбер. И если он готов допустить происхождение чувствительной материи из нечувствительной, то ему все же неясно, каким образом эта чувствительная материя получила способность мыслить. Иными словами, если ему ясна связь

между нечувствительной и чувствительной материей, то он совершенно не видит этой связи между нечувствительной материей и мыслящей. И Дидро в прелестном рассказе воспроизводит перед Даламбером «историю одного из величайших математиков Европы», историю самого Даламбера, который младенцем был подброшен родителями на ступеньки церкви:

«Еще до того, как его мать, прекраснейшая и преступная канонисса Тансэн, достигла зрелого возраста, еще до того, как военный Латуш достиг возраста юноши, молекулы, долженствовавшие сформировать первоначальные зачатки моего математика, были рассеяны в молодых и хрупких организмах того и другого, просачиваясь вместе с лимфой, циркулировали с кровью, пока, наконец, они не попали во вместилище, предназначенное для их соединения, в половые яички и железы его отца и матери. Но вот редкостное яйцо сформировалось; по фалопиевым трубам оно, по общему мнению, было введено в матку; вот оно прикрепилось к ней длинным стеблем, вот, постепенно увеличиваясь, оно приближается к состоянию зародыша, вот подходит момент его выхода из мрачной темницы, вот он родился и брошен на ступеньки храма св. Иоанна Круглого, от которого он получил свое имя; вот он взят из воспитательного дома, вот он у груди доброй стекольщицы г-жи Руссо, вскормлен, сделался сильным телом и духом, вот он литератор, механик, математик. Как это произошло? При помощи еды и других чисто механических процессов».

Таким образом, Дидро устанавливает непосредственную связь между движением материи и ее способностью к ощущению, или чувствительностью. И так же как нет материи без движения, так же, согласно Дидро, нет материи без чувствительности. Следует лишь различать деятельную чувствительность, присущую органической природе, и пассивную, свойственную природе неорганической. При этом пассивная чувствительность может превращаться в деятельную. Высшей же формой самой деятельной чувствительности является мышление. И так же как существуют в природе многообразные формы движения материи, обусловленные своеобразием внутренней интимной силы каждой молекулы, так же многообразны формы и степени чувствительности материи, ее способности к ощущению.

В понимании такой сложной философской проблемы, как проблема материи и ощущения, как и в понимании движения и соотношения движения и ощущения, Дидро оставил далеко позади все взгляды, господствовавшие в науке и философии его времени.

Если Декарт рассматривал животное, как машину, исключая человека из общей естественной цепи природы, наделив его душой; если Ламетри, старший современник Дидро, знаменитый автор «Человека-машины», хотя и включал человека в естественную историю природных существ, но низвел вместе с тем и человека на степень машины, то Дидро поднимается выше их обоих в понимании как материи и движения, так и человека, как материального существа природы. Человек—безусловно материальное существо, учит Дидро,

но это отнюдь еще не означает, что он—машина. Не только человек—не машина, но и животное и растение нельзя рассматривать узко механистически только,—даже инертная молекула содержит в себе примитивную способность к ощущению. В этом вопросе Дидро ближе всего примыкает к Спинозе, рассматривавшему мышление как атрибут материи, и не случайно он назвал свое мировоззрение «нео-спинозизмом», но в отличие от Спинозы Дидро, как мы уже упоминали, считал движение именно атрибутом материи и совершенно отбросил теологическую терминологию Спинозы (природа—это бог).

«Неизменно помни,—обращается Дидро к «молодому человеку, предполагающему заняться философией природы»,—что природа не бог, человек—не машина, гипотеза—не факт; и будь уверен, что, если ты усмотришь в моей книге что-нибудь противоречащее этим принципам, значит ты меня совсем не понял во всех этих местах».

Эти слова Дидро, которые он предпосылает «Мыслям к объяснению природы», могут быть предпосланы всем без исключения произведениям Дидро, всей системе его философских взглядов, его мировоззрения. Именно потому, что Дидро был наиболее последовательным из всех французских материалистов XVIII века, мы встречаем у него блестящие образцы диалектики.

Высокую оценку взглядов Дидро на материю и ощущение дал Владимир Ильич в «Материализме и эмпириокритицизме»:

«В ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и «в фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением. Таково предположение, например, известного немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, английского биолога Ллойда Моргана и др., не говоря о догадке Дидро».

В свете своей теории о чувствительности материи, о способности материи к ощущению, как об одном из свойств материи, Дидро ставит и решает вопрос об эволюции живых существ. Мы видели, что Дидро устанавливает единую материальную связь между всеми существами природы, единую цепь существ, начиная от инертной молекулы и кончая человеком. Правда, эта цепь непрерывна, она построена по вполне метафизическому принципу—«природа не делает скачков», но в данной связи нас интересует тот факт, что разницу между низшими и высшими существами природы Дидро видит лишь в различной степени организации материи. И этот взгляд составляет основу для его теории эволюции организмов.

«После того как я наблюдал,—заставляет Дидро говорить Даламбера во сне («Сон Даламбера»),—как пассивная материя принимает состояние, способное к ощущению, уже ничто не должно вызывать моего удивления... Какая разница между умещающимся в моей руке небольшим количеством элементов, находящихся в состоянии брожения, и этим грандиозным резервуаром различных элементов, раскинутых в недрах земли, на поверхности, в глубине морей, и в воздушных пространствах!.. Однако при одинаковых причинах, почему дей-

ствия различны, почему же мы больше не видим быка, который пронзает землю своим рогом, опираясь об нее ногами и усиленно стараясь освободить свое грузное тело?.. Дайте окончиться теперешней породе наших животных; дайте подействовать огромному неподвижному осадку нескольких миллионов веков. Быть может, чтобы видам животных возродиться, нужно в десять раз больше времени, чем продолжительность их века». «...Кому известны породы животных, нам предшествовавших? Кому известны породы животных, которые воспоследуют? Все меняется, все проходит, остается только целое. Вселенная непрестанно вновь начинается и кончается; каждое мгновение она зарождается и умирает. Никогда не было другой вселенной и никогда другой не будет».

Дидро ясно отдает себе отчет и в причинах изменения органических форм. Причины эти, по его мнению, заключаются в условиях существования животных. Для того, чтобы создать одинаковые органические формы, нужно животных, говорит Дидро, поставить «в одинаковые условия существования». Дидро предвосхитил даже идею естественного отбора. «Я могу, например, спросить у вас,—вкладывает свои мысли Дидро в уста Саундерсона в «Письме о слепых»,—спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают, что животные при первоначальном своем образовании не были одни без головы, а другие без ног. Я могу утверждать, что некоторые из них не имели желудка, а другие не имели кишок, что животные, которым наличность желудка, нёба и зубов обещала, как будто, длительное существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные комбинации материи и что сохранились лишь те из них, строение которых не заключало в себе серьезного противоречия и которые могли существовать самостоятельно и продолжать свой род».

Мы видим, что идея эволюции живых существ ярко выражена уже в этом раннем произведении Дидро, что свидетельствует о том, что он ее вынашивал в течение десятилетий.

В «Мыслях к объяснению природы» Дидро набрасывает грандиозную картину, показывающую не только его понимание вопроса об эволюции организмов, но и его понимание вопроса о происхождении жизни на земле в целом.

«Если бы вера не учила нас, что животные вышли из рук творца в таком виде, какими мы их видим, если бы позволительно было малейшее сомнение в вопросе их возникновения и конца, то предоставленный своим догадкам философ не мог ли бы предположить, что от века мир животных обладал своими особенностями, рассеянными и смешанными в массе веществ; что с этими элементами случилось то, что они соединились, раз это было возможно, что эмбрион, сформировавшийся из этих элементов, прошел через бесконечное число органических ступеней и этапов развития, что у него последовательно были движения, ощущения, понятия, мысли, размышления, сознание, чувства, страсти, знаки, жесты, звуки, чле-

пораздельные звуки, язык, законы, науки, искусства; что между каждой из этих стадий протекли тысячелетия, что, может быть, существуют другие пути развития и другие стадии роста, которых мы не знаем, что была или предстоит остановка; что он удаляется или что он удалится от этого состояния вследствие вечного разрушения, во время которого его способности покинут его, как они некогда в него внедрили, что когда-нибудь он совсем исчезнет из природы или, вернее, что он будет продолжать в ней свое существование, но в совершенно другой форме и с совсем другими способностями, чем наблюдаемые в нем в данный момент времени? Религия не дает нам уклоняться и сберегает наши силы».

Дидро даже допускает возможность постановки опытов с целью сознательно произвести на свет новые виды и разновидности животных. В заключительной части своих диалогов, в «Продолжении разговора» мадемуазель де Леспинас и доктора Борде, Дидро вкладывает в уста последнего следующую мысль, которая со времен Дарвина получила полное признание: «...но раз вы хотите, я вам скажу, что из-за нашего малодушия, из-за отвращения, из-за наших законов и наших предрассудков произведено очень мало опытов; нам неизвестно, какие совокупления совершенно бесплодны; мы не знаем случаев, когда полезное сочетается с приятным; какие виды можно было бы обещать в результате многообразных и последовательных попыток; представляют ли собою фавны нечто реальное или фантастическое; не размножились ли бы сотнями разных пород мулы, и действительно ли бесплодны те породы, которые мы знаем?» На вопрос Леспинас, что же понимает доктор Борде под «последовательными попытками» изменения пород животных, как мыслятся подобные опыты, Борде отвечает: «Я полагаю, что смена существ идет постепенно и что можно подготовить ассимиляцию существ, а чтобы достигнуть успеха в такого рода опытах, следовало бы взяться издали и поработать сначала над сближением животных, поставив их в одинаковые условия существования».

В основу идей эволюции Дидро легло огромное количество наблюдений и фактов, собранных и обработанных им в «Элементах физиологии». Нет нужды, что идеи эти изложены у Дидро примитивно, что основной метафизический характер его взглядов сказался и в его учении об эволюции; что Дидро рассматривает весь эволюционный процесс, как плавный, постепенный и непрерывный, и было бы смешно требовать от него, чтобы он отдавал себе в XVIII веке отчет в скачкообразности развития природы, когда этого не понимал даже Дарвин в XIX веке. Но разве это настойчивое подчеркивание в XVIII веке, на протяжении всех его трудов, основной мысли—идеи эволюции в природе—не показывает нам со всей силой глубокого мыслителя, ближе других материалистов своего времени подошедшего к решению труднейших вопросов философии естествознания?

Общую оценку французского материализма XVIII века дал

Энгельс. Французский материализм был метафизическим и механистическим материализмом. Это и не могло быть иначе в век, когда физика, химия и биология не достигли еще той ступени развития, чтобы они, как говорит Энгельс, могли быть «основой общего мировоззрения». Движение понималось крайне примитивно, только как механическое движение; развитие представлялось, как постепенная эволюция. Все эти отличительные черты французского материализма присущи, конечно, в полной мере и Дидро. Но именно благодаря тому, что он был более последовательным материалистом, чем другие французские материалисты, его взгляды, как мы видели, содержат многие моменты диалектики, которые были отмечены основоположниками диалектического материализма.

Дидро разделял со всеми французскими материалистами и их идеалистическое понимание общественных явлений. Будучи материалистами в области понимания природы, французские философы были идеалистами в понимании общественных явлений. Вследствие этого они впадали в безвыходные противоречия в трактовке вопросов социального порядка. Они были далеки от понимания подлинной материальной основы общественного развития. В основу своих социологических построений они клали метафизическое представление о вечной и неизменной природе человека, не понимая, что человек—совокупность общественных отношений и изменяется он вместе с общественным развитием. Они говорили об «обществе» вообще, якобы соответствующем самой «вечной и неизменной» природе человека, не понимали классового строения общества, в силу чего одно человеческое «общество» не похоже на другое. Характер общественного строя, с их точки зрения, определяется характером господствующих в обществе мнений, идей, взглядов, которые в свою очередь определяют характером общественного строя... Это последнее положение вытекало из учения Локка об отсутствии у человека врожденных идей. Несмотря на научную несостоятельность учения об обществе французских материалистов, оно содержало в себе революционное требование об изменении существующего строя,—как об этом говорил Маркс: если нравы людей зависят от обстоятельств, то, стало быть, надо сделать эти обстоятельства человеческими. Будучи непримиримым врагом религии и поповщины, Дидро, как и все французские материалисты, был далек, однако, от того, чтобы видеть классовые корни религии в современном ему обществе. Борьба против религии мыслилась им, как борьба с невежеством и предрассудками, как борьба чисто просветительскими средствами. Он не понимал, что уничтожение религиозных предрассудков возможно лишь на основе уничтожения классов.

Однако и в вопросах учения об обществе Дидро сохраняет большую долю самостоятельности и оригинальности. Он критикует страница за страницей книгу Гельвеция «О человеке», а ведь в последней в развернутой форме содержалась социологическая концепция французского материализма. Главная мысль Дидро в его «Си-

стематическом опровержении» книги Гельвеция состоит в том, что человек, будучи животным, все же человек и потому также уже не животное; нельзя, следовательно, рассматривать все моральные поступки людей под углом зрения только их физической организации, как считал Гельвеций. Человек подчинен новым закономерностям, обусловленным его социальной природой.

Дидро различает три кодекса законов: религиозный, гражданский и кодекс природы. Все эти кодексы законов противоречат друг другу, и это является источником дурных нравов, равно как и человеческого несчастья: человек вынужден подчиняться всем им одновременно, но это невозможно. Кодекс религиозных законов, согласно Дидро, приносит один вред и должен быть отброшен совершенно. Второй кодекс законов, гражданский кодекс, должен быть коренным образом пересмотрен и приведен в соответствие с кодексом природы, с «вечной и неизменной природой человека». Под гражданскими законами подразумевались законы абсолютистской Франции, и требование Дидро было *революционным* требованием о преобразовании существующей абсолютной монархии, калечащей нравы людей, в правовое, т. е. буржуазное, государство.

Но если Дидро в своих собственно-социологических построениях, в понимании социальной природы людей обеими ногами стоит на почве метафизики и идеализма, то в своем гениальном *художественном* произведении—«Племянник Рамо» он возвышается до глубокого диалектического понимания противоречий социальной жизни, проникает в подлинную причину порчи нравов людей. Он подвергает резкой критике современное ему общество, в котором стремление к наживе, нищета, с одной стороны, и богатство—с другой, порождают все социальные пороки: «В природе взаимно пожирают друг друга виды; в обществе пожирают друг друга сословия».

Дидро, как и Руссо, требует равномерного распределения жизненных благ. Он решительно настаивает на ликвидации того положения в обществе, которое делит людей на два класса: «на людей, утопающих в избытке, и на людей, задыхающихся в нищете». «Вместо того чтобы строить богадельни, лучше предотвратить нищету»,—говорит Дидро. И на замечание о необходимости защищать отечество он отвечает: «Ерунда! Больше нет родины: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов».

То, чего Дидро не сумел объяснить, как философ, он угадал, как гениальный художник: «разорванность сознания» в обществе, противоречивость моральных оценок, наличие раздирающих противоречий в сознании каждого отдельного индивидуума обусловлены классовым строением общества.

«Хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (например, Декарт и Спиноза),—писал Энгельс в «Анти-Дюринге»,—но она, особенно под влиянием английской философии, все более и более погрязала в так называемом метафизическом способе мышления, почти исключительно овладевшем также французами

XVIII века, по крайней мере в их специально философских трудах. Однако вне пределов философии как таковой они смогли оставить нам высокие образцы диалектики: припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми».

В «Святом семействе» Маркс писал об идейном родстве между французским материализмом и коммунизмом. Он указывал, что материализм, совпадающий с гуманизмом, явился теоретическим источником французского и английского социализма и коммунизма:

«...Подобно тому как *Фейербах* в *теории*, французский и английский социализм и коммунизм являются на *практике материализмом*, совпадающим с гуманизмом.

...Существуют *два направления французского материализма*: одно берет свое начало от *Декарта*, другое—от *Локка*. Последний вид материализма составляет, *по преимуществу, французский* образовательный элемент и ведет прямо к *социализму*. Первый, *механический* материализм, сливается с французским *естествознанием*».

Дидро явился самым блестящим представителем именно второго направления французского материализма, берущего свое начало от Локка, и не случайно впоследствии социалисты-утописты примыкали в философии именно к французскому материализму XVIII в., к тому его направлению, которое представлял Дени Дидро.

* * *

В предлагаемый однотомник избранных философских произведений Дидро включены все его главные философские труды, в которых он выступает уже как определившийся материалист и атеист, начиная с «Письма о слепых в назидание зрячим».

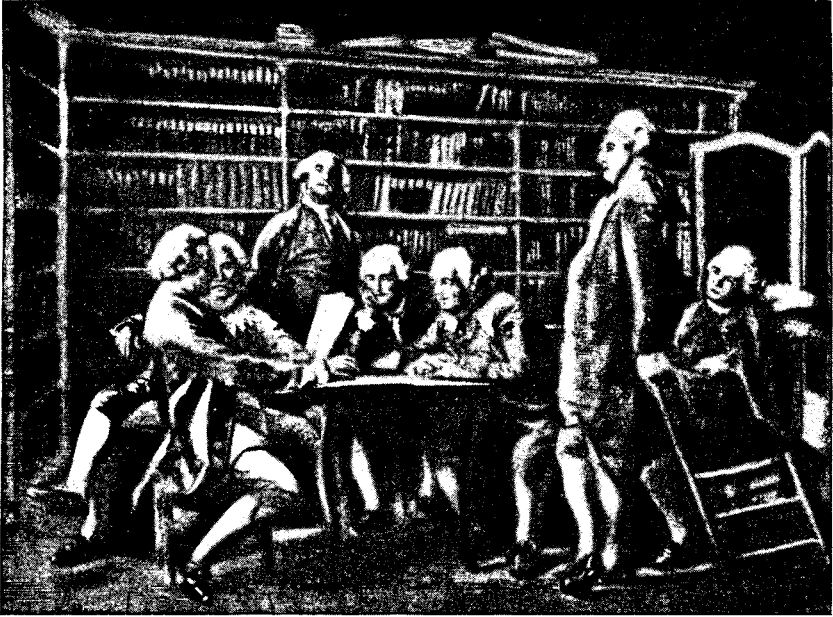
Отрывки из Дидро, цитируемые В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме», даны в ленинском переводе.

Из произведений, вошедших в однотомник, «Мысли к объяснению природы», «Философские основания материи и движения», «Разговор Даламбера и Дидро», «Сон Даламбера», «Продолжение разговора» и «Племянник Рамо» публикуются в новом переводе П. С. Попова. В приложении дается письмо Вольтера к Дидро по поводу «Письма о слепых в назидание зрячим», ответом на которое и служит «Письмо Вольтеру», содержащееся в тексте.

Я. Мильнер.

ДЕНИ ДИДРО

*Избранные
философские
произведения*



ДЕНИ ДИДРО В КРУГУ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ

С картины Мейсонье

ПИСЬМО О СЛЕПЫХ
В НАЗИДАНИЕ ЗРЯЧИМ

*

ПРИБАВЛЕНИЕ К ПИСЬМУ О СЛЕПЫХ

*

ПИСЬМО ВОЛЬТЕРУ

*

ПИСЬМО О СЛЕПЫХ В НАЗИДАНИЕ ЗРЯЧИМ

(1749)

POSSUNT, NEC POSSE VIDENTUR.
(*Virg., Aeneid, V, 231*)*

Я догадывался, сударыня**, что слепорожденный, у которого г. Реомюр недавно снял катаракту, не даст нам того, что вы хотели знать; но мне не приходило в голову, что это не будет ни по его вине, ни по вашей. Я обращался к его благодетелю лично, через своих лучших друзей, я прибег к такому средству, как комплименты, но мы ничего не добились, и первая повязка будет снята без вас. Самые знатные особы имели честь получить тот же отказ, что и философы. Одним словом, он пожелал посвятить в дело только несколько ничего не говорящих глаз. Если вы захотите узнать, почему этот искусный академик производит в такой тайне опыты, для которых, по вашему мнению, никогда не может быть слишком много просвещенных свидетелей, то я вам отвечу, что наблюдения столь знаменитого человека нуждаются не столько в зрителях, когда они делаются, сколько в слушателях, когда они уже сделаны. Поэтому, сударыня, я вернулся к своему первоначальному намерению, и, вынужденный отказаться от опыта, который не мог послужить ни для моего поучения, ни для вашего, но из которого, несомненно, г. Реомюр извлечет гораздо более ценные выводы, я стал философствовать вместе со своими друзьями по поводу существенного вопроса, поставленного этим опытом. Как был бы я счастлив, если бы рассказ об одной какой-нибудь из наших бесед мог заменить в ваших глазах зрелище, которое я слишком легкомысленно обещал вам!

В тот самый день, когда пруссак*** снимал катаракту на глазу у дочери Симоно, мы отправились на расспросы слепорожденного из Пуизо. Это неглупый человек, которого многие знают, он знаком немного с химией и прослушал с известным успехом курс ботаники в Королевском Саду. Его отец преподавал с большим успехом философию в Парижском университете. Он обладал поря-

* Могут, лишь кажется, что не могут (*Виргилий, Энеида, V, 231*).—*Ред.*

** Письмо обращено к г-же де-Пуизье.—*Ред.*

*** Прусский окулист Гильмер.—*Ред.*

дочным состоянием, благодаря которому мог бы легко удовлетворить потребности сохранившихся у него в целом виде органов чувств. Но в молодости он отдался наслаждениям; окружающие использовали во зло его склонности; дела его пришли в расстройство, и он удалился в маленький провинциальный городок, откуда он ежегодно наезжает в Париж. Он привозит сюда ликеры собственной дистиллировки, которыми здесь очень довольны. Все это, сударыня, обстоятельства, довольно далекие от философии, но в силу именно этого они должны внушить вам мысль, что лицо, о котором я вам говорю, не выдуманное.

Мы прибыли к нашему слепому около пяти часов вечера и застали его за обучением сына чтению с помощью выпуклых букв. Он встал лишь час тому назад,—вы должны знать, что его день начинается тогда, когда он кончается для нас. Он привык заниматься своими домашними делами и работать в то время, когда другие отдыхают. В полночь ничто его не стесняет, и он никому не мешает. Первым делом он приводит в порядок все то, что за день оказалось не на своем месте, и когда его жена просыпается, она находит обыкновенно, что в доме все в порядке. Благодаря тому, что слепым трудно отыскивать затерявшиеся вещи, они являютя друзьями порядка, и я заметил, что их близкие обладают тем же качеством, под влиянием ли их хорошего примера, или же под влиянием испытываемого к ним чувства сострадания. Как несчастны были бы слепые без мелких проявлений внимания со стороны окружающих их! Как несчастны были бы в этом случае даже мы сами! Большие услуги—это словно крупные золотые или серебряные монеты, которые приходится редко употреблять. Но мелкие проявления внимания—это разменная монета, которой пользуешься всегда.

Наш слепой отлично разбирается в вопросах симметрии. Симметрия, которая является, может быть, условным соглашением между нами, наверно, во многих отношениях такова же у слепого со зрячими. Слепой, изучая при помощи осязания расположение частей того целого, которое мы называем красивым, приучается правильно применять этот термин. Однако когда он говорит: *это красиво*, то он не высказывает своего суждения, а только передает суждение зрячих; но что иное делают три четверти тех, кто высказывает свое мнение по поводу услышанной ими театральной пьесы или прочитанной ими книги? Для слепого красота, если она отделена от пользы, только голое слово; а так как у него одним органом чувств меньше, то польза скольких вещей недоступна ему! Разве не следует жалеть слепых за то, что они считают красивым лишь то, что хорошо? Скольких замечательных вещей они лишены! Одно только может вознаградить их за эту потерю, именно то, что если у них не так полно развиты идеи о красоте, то зато идеи эти более отчетливы, чем у зрячих философов, весьма подробно их разбравших.

Наш слепой постоянно говорит о зеркале. Вы, конечно, понимаете, что он не знает, собственно, что значит слово «зеркало»; однако

LETTRE

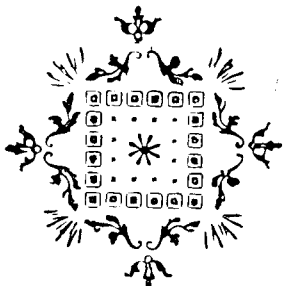
SUR

LES AVEUGLES,

A L'USAGE

DE CEUX QUI VOYENT

Possunt, nec posse videntur
Virg.



A LONDRES.

M. DCC. XLIX.

Титульный лист первого издания «Письма о слепых
в назидание зрячим». 1749

он никогда не поставит зеркала против света. Он рассуждает так же здраво, как и мы, о достоинствах и недостатках отсутствующего у него органа чувств. Если он не связывает никакого представления с употребляемыми им словами, то, по крайней мере, он отличается выгодно от большинства людей тем, что никогда не произносит их некстати. Он рассуждает так здраво и правильно о стольких абсолютно незнакомых ему вещах, что общение с ним сильно поколебало бы наше обычное бессознательное умозаключение от того, что происходит в нас, к тому, что происходит в других.

Я спросил у него, что он понимает под словом «зеркало». «Это—прибор,—ответил он мне,—который придает выпуклость вещам вдали от них самих, если они расположены подходящим образом по отношению к этому прибору. Это—как моя рука: нет вовсе необходимости, чтобы я положил ее рядом с каким-нибудь предметом, чтобы почувствовать его». Если бы Декарт был слепым от рождения, то он должен был бы, мне думается, радоваться подобному определению. Действительно, присмотритесь, пожалуйста, к тому, с какой тонкостью надо было комбинировать некоторые идеи, чтобы получить это определение. Наш слепой знаком с предметами лишь благодаря осязанию. Со слов других людей он знает, что при помощи зрения можно знать предметы так, как он их знает при помощи осязания,—по крайней мере, только такое представление о зрении он может себе составить. Он знает, далее, что нельзя видеть своего собственного лица, хотя его можно осязать. Отсюда он должен заключить, что зрение—это особый вид осязания, распространяющегося только на предметы, отличные от нашего лица и удаленные от нас. Кроме того, осязание дает ему представление только о выпуклом. Следовательно, умозаключает он, зеркало—это приспособление, делающее нас выпуклыми вне нас самих. Сколько есть знаменитых философов, обнаруживавших гораздо меньше логической тонкости и пришедших к столь же ложным взглядам! Но сколь поразительно должно быть зеркало для нашего слепого! Как должно было возрасти его изумление, когда мы ему сообщили, что существуют приборы, которые, не удваивая предметов, перемещают их, приближают, удаляют, дают видеть их, раскрывая перед глазами натуралистов мельчайшие части их; что есть такие приборы, которые увеличивают их тысячекратно; что есть, наконец, такие, которые как будто совершенно искажают их! Он нам задал десятки странных вопросов по поводу этих явлений. Он нас спросил, например, только ли те люди, которых называют натуралистами, способны видеть при помощи микроскопа; только ли астрономы способны видеть при помощи телескопа; больше ли прибор, который увеличивает предметы, чем прибор, который уменьшает их; короче ли прибор, который приближает их, чем тот, который удаляет их; и, не понимая того, почему другое я, которое, согласно ему, зеркало повторяет выпуклым образом, ускользает от чувства осязания, он сказал: «Вот два чувства, которые небольшой прибор заставляет про-

тиворечить друг другу; более совершенный прибор, может быть, установил бы согласие между ними, хотя предметы и не стали бы от этого более реальными; а, может быть, третий, еще более совершенный и менее обманчивый, прибор заставил бы их исчезнуть и предупредил бы нас о нашей ошибке.

— А что такое, по вашему мнению, глаза?—спросил его господин де...—«Это,—ответил ему слепой,—орган, на который воздух производит такое же действие, какое моя палка оказывает на мою руку». Этот ответ поразил нас, и в то время, как мы глядели друг на друга с изумлением, он продолжал: «Это настолько верно, что если я помещу свою руку между вашими глазами и каким-нибудь предметом, то моя рука будет налицо для вас, а предмета не будет. Со мной происходит то же самое, когда я ищу своей палкой какую-нибудь вещь, а вместо нее встречаю другую».

Сударыня, откройте «Диоптрику» Декарта, и вы увидите, что в ней явления зрения соотнесены с явлениями осязания, вы там найдете таблицы по оптике, на которых изображены люди, старающиеся видеть при помощи палок. Декарт и его преемники не сумели дать нам более ясного представления о зрении; и все преимущества этого великого философа перед нашим слепым сводились к обыкновенному преимуществу зрячих людей.

Никому из нас не пришло в голову расспросить его о живописи и письме. Но, очевидно, нет такого вопроса, на который он не сумел бы удовлетворительно ответить при помощи своих сравнений. Я несколько не сомневаюсь в том, что он ответил бы нам, что пытаться читать или видеть без глаз—это все равно, что искать булавку при помощи толстой палки. Мы рассказали ему только о того рода перспективе, которая придает рельефность предметам и у которой одновременно столько сходного и несходного с нашими зеркалами. И мы заметили, что это столько же содействовало, сколько и мешало составленному им себе представлению о зеркале и что он готов был думать, что так как зеркало рисует предметы, то живописец, чтобы изобразить их, рисует, может быть, зеркало.

Мы увидели, что он умеет вдевать нитки в очень маленькие иголки. Нельзя ли, сударыня, попросить вас прекратить здесь на время чтение письма и попытаться подумать, как бы вы поступили на его месте? Предполагая, на всякий случай, что вы не найдете никакого подходящего способа, я сообщу вам, к какому приему прибегает для этого наш слепой. Он берет ушко иголки и располагает его между губами, поперек их, в направлении рта; затем при помощи языка, действием всасывания, он привлекает нитку, которая следует за его дыханием, если она только не слишком толста для игольного ушка; в этом случае и зрячий человек находится не в лучшем положении, чем человек, лишенный зрения.

У него поразительно развита память на звуки; лица не представляют для нас большего разнообразия, чем голоса для него. Он находит в голосах бесконечное множество оттенков, усколь-

зающих от нас, потому что наблюдение их не представляет для нас того интереса, как для слепого. О значении этих голосовых оттенков для нас можно сказать то же самое, что о нашем собственном лице. Из всех виденных нами людей мы хуже всего, может быть, помним самих себя. Мы изучаем лица лишь для того, чтобы узнавать людей, и если у нас не остается в памяти наше лицо, то потому, что мы никогда не подвергаемся опасности принять себя за кого-нибудь другого, ни другого за себя. Кроме того, помощь, которую оказывают друг другу наши чувства, мешают им совершенствоваться. Это не единственный раз, что я обращаю внимание на это.

Наш слепой сказал нам по этому поводу, что, не имея наших преимуществ, он считал бы себя весьма достойным сожаления и готов был бы признавать нас за высшие существа, если бы он сотни раз не убеждался в том, что в других отношениях мы сильно уступаем ему. Это размышление натолкнуло нас на другую мысль. Этот слепой, сказали мы, ставит себя не ниже, а может быть, и выше всех нас, зрячих; почему же животное,—если оно способно рассуждать, что несомненно,—взвешивая свои преимущества перед человеком, которые ему лучше известны, чем преимущества человека перед ним, не могло бы выставить подобного же мнения? Человек обладает руками,—скажет, может быть, муха,—но я обладаю крыльями. Если у него есть оружие,—скажет лев,—то разве у нас нет когтей? Слон станет смотреть на нас, как на насекомых, а все животные, охотно уступая нам разум, при наличии которого мы все же сильно нуждались бы в их инстинкте, стали бы хвалиться своим инстинктом, благодаря которому они отлично обходятся без нашего разума. У нас такая непреодолимая склонность переоценивать свои достоинства и недооценивать свои недостатки, что можно подумать, будто человек должен писать трактаты о силе, а животное—о разуме.

Кто-то из нас спросил нашего слепого, был ли бы он доволен, если бы был зрячим. «Если бы меня не одолевало любопытство, то я предпочел бы иметь длинные руки; мне кажется, что мои руки рассказали бы мне лучше то, что происходит на луне, чем ваши глаза и ваши телескопы; кроме того, глаза скорее перестают видеть, чем руки осязать. Поэтому лучше было бы усовершенствовать у меня тот орган, который я имею, чем награждать меня недостающим мне органом».

Наш слепой так правильно реагирует на шум или на голос, что я не сомневаюсь, что упражнение в этом может сделать слепых очень ловкими и очень опасными. Я расскажу вам по этому поводу один эпизод с нашим слепым, который убедит вас в том, что если бы он научился пользоваться соответствующим оружием, то было бы довольно неблагоразумно подставлять свою грудь под его пистолетный выстрел или ожидать удара камнем. В молодости у него была стычка с одним из его братьев, окончившаяся довольно плачевно для последнего. Раздосадованный на него из-за каких-то неприятных замечаний, он схватил первый попавшийся ему под руку предмет, бросил его в брата, попал ему в лоб, и тот упал.

После этой истории и нескольких других таких же его привлекли к суду полиции. Внешние признаки власти, оказывающие такое действие на нас, нисколько не смущают слепых. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику, как к равному. Угрозы не напугали его. «Что можете вы сделать со мной?», сказал он г. Эро. —Я брошу вас в тюремный карцер,—ответил ему чиновник. «О, сударь,—возразил ему слепой,—вот уж двадцать пять лет, как я сижу в нем». Что за изумительный ответ, сударыня, и что за тема для человека, любящего так морализировать, как я! Мы покидаем жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как темницу; если мы имеем в жизни больше наслаждений, чем он, то, согласитесь, что он умирает с гораздо меньшими сожалениями.

Слепой из Пюизо судит о близости огня по степени теплоты; о наполненности сосудов—по звуку, который издают при падении переливаемые им жидкости; о соседстве тел—по действию воздуха на его лицо. Он так чувствителен к малейшим переменам в атмосфере, что способен отличать улицу от тупика. Он удивительно точно определяет вес тел и емкость сосудов, и он сделал себе из своих рук столь точные весы, а из своих пальцев столь хорошие циркули, что там, где можно применить этого рода статику, я всегда готов держать пари за нашего слепого против двадцати зрячих. Поверхность тел представляет для него не меньше оттенков, чем звук голоса, и нечего опасаться, что он примет чужую женщину за свою жену, разве только если он выиграет при обмене. Весьма вероятно, что у народа, состоящего из слепых, женщины были бы в общем владении или же их законы против прелюбодеяния были бы очень суровыми. Женщинам было бы у них так легко обмануть своих мужей, условившись каким-нибудь знаком со своими любовниками!

Наш слепой судит о красоте при помощи осязания. Это понятно. Но не так легко понять то, что в это суждение о красоте он вводит произношение и звук голоса. Дело анатомов объяснить нам, существует ли какая-нибудь связь между частями рта и нёба и внешней формой лица. Он делает мелкие токарные и швейные работы; он выверяет ровность поверхности при помощи наугольника; он собирает и разбирает несложные механизмы; он достаточно знаком с музыкой, чтобы сыграть какой-нибудь отрывок, если назвать ему соответствующие ноты и их длительность. Он определяет гораздо точнее, чем мы, продолжительность времени, пользуясь сменой действия и мыслей. Он очень ценит у других людей красоту кожи, дородность и упругость тела, хорошее сложение, нежность дыхания, прелесть голоса и произношения.

Он женился, чтобы иметь свои собственные глаза. Первоначально у него был план соединиться с одним глухим, чтобы взамен своих ушей получить его глаза. Ничто меня не удивило так, как его замечательная способность делать множество разных вещей; а когда мы выразили ему свое удивление, то он сказал: «Я замечаю, господа, что вы не слепые; вы удивляетесь тому, что я делаю; почему же вы

не поражаетесь также тому, что я говорю?» В этом ответе, по моему мнению, заключается больше философии, чем он сам это думал. Поразительна легкость, с которой мы научаемся говорить. Мы приучаемся связывать известные идеи с множеством терминов, которые нельзя себе представить в виде чувственных предметов и которые, так сказать, не имеют тела, лишь благодаря ряду тонких и глубоких комбинаций из аналогий, замечаемых нами между этими нечувственными предметами и вызываемыми ими идеями: отсюда, следовательно, нужно заключить, что слепорожденному труднее научиться говорить, чем зрячим людям, потому что число нечувственных объектов для него гораздо больше, чем для нас, а сфера для сравнения и комбинирования у него меньше. Например, как может запечатлеться в его памяти слово «физиономия»? Это особого рода привлекательность, заключающаяся в столь мало доступных для слепого элементах, что в силу их малой заметности даже для нас, зрячих, нам очень трудно было бы сказать с точностью, что, собственно, значит иметь выражение лица. Если выражение лица определяется, главным образом, глазами, то осязание тут ничем не может помочь; и, далее, что могут означать для слепого выражения вроде: мертвые глаза, живые глаза, глаза, блещущие остроумием, и т. д.?

Я отсюда заключаю, что мы, несомненно, получаем огромные услуги от сотрудничества наших чувств и наших органов. Но гораздо лучше было бы, если бы мы пользовались ими отдельно и никогда бы не прибегали к помощи двух из них, если достаточно работы одного. Прибавлять осязание к зрению, когда достаточно воспользоваться своими глазами, это все равно, что запрягать рядом с двумя и без того уже очень резвыми лошадьми третью упряжную лошадь, которая тянет в одну сторону, в то время как две другие лошади тянут в другую сторону.

Так как я никогда не сомневался в том, что состояние наших органов и наших чувств оказывает большое влияние на нашу мегафизику и нашу нравственность и что наши наиинтеллектуальнейшие, если я смею так выразиться, идеи тесно связаны с организацией нашего тела, то я стал расспрашивать нашего слепого о пороках и добродетелях. Я заметил сначала, что он питает страшное отвращение к воровству; это отвращение обуславливалось у него двумя причинами: во-первых, легкостью, с которой можно незаметно для него обокрасть его; во-вторых,—и это, может быть, важнее,—легкостью, с какой можно заметить, что он сам крадет. Это не значит, что он не умеет по-настоящему посчитаться с тем органом чувств, который является нашим преимуществом перед ним, и что он не знает, как скрыть следы воровства. Для него стыдливость не имеет особого значения. Если бы не неблагоприятные атмосферические влияния, от которых его предохраняет одежда, то он не понимал бы цели ее. И он открыто сознается, что не понимает, почему одну часть тела прикрывают скорее, чем другую, и еще менее понимает странное предпочтение, оказываемое некоторым из этих частей, которые нужно

было бы держать открытыми ввиду способа их использования и ввиду недомоганий, которым они подвержены. Хотя мы живем в эпоху, когда философский дух освободил нас от массы предрассудков, я все же сомневаюсь, чтобы мы когда-нибудь дошли до такой степени игнорирования требований стыдливости, как мой слепой. Диоген не был бы для него философом.

Так как из всех внешних выражений чувств, вызываемых в нас состраданием и мыслью о боли, на слепых действует только жалоба, то я предполагаю, что вообще они бессердечны. Какое существует для слепого различие между человеком, который мочится, и человеком, который, не издавая жалоб, проливает свою кровь? А разве сами мы не перестаем испытывать сострадание, когда значительное расстояние или малый размер предметов производит на нас то же самое действие, что отсутствие зрения у слепых? Вот доказательство тому, что наши добродетели зависят от нашего способа ощущать и от того, с какой силой действуют на нас внешние предметы! Поэтому я не сомневаюсь, что, не будь страха наказания, многие люди способны были бы так же легко убить человека на таком расстоянии, где он казался бы им величиной с ласточку, как заколоть собственноручно быка. И не тем же ли принципом руководствуемся мы, когда испытываем сострадание к мучающейся лошади и свободно, без всяких угрызений совести, давим муравья? Ах, сударыня, как отличается нравственность слепых от нашей нравственности! Как должна бы отличаться нравственность глухого от нравственности слепого и сколь несовершенной—чтобы не сказать худшего—показалась бы наша нравственность существу, обладающему лишием, по сравнению с нами, чувством!

Наша метафизика не менее расходится с их метафизикой. Сколько у них принципов, которые нам кажутся нелепостями, и наоборот! Я мог бы пуститься здесь в некоторые подробности, которые, несомненно, позабавили бы вас, но из-за которых иные люди, видящие повсюду преступления, не преминули бы обвинить меня в безбожии, точно от меня зависит заставить слепых видеть вещи иначе, чем они их видят. Я ограничусь одним наблюдением, с которым, я думаю, всякий согласится,—именно, что знаменитое доказательство, опирающееся на чудеса природы, для слепых—доказательство весьма слабое*. Наша способность творить, так сказать, новые предметы при помощи небольшого зеркала представляется им чем-то гораздо более загадочным, чем небесные светила, которых они обречены никогда не видеть. Этот пылающий шар, который движется с востока на запад, поражает их меньше, чем небольшое пламя, которое они могут увеличивать или уменьшать. Так как они смотрят на материю гораздо более абстрактно, чем мы, то им легче допустить, что она мыслит.

* Физико-телеологическое доказательство бытия бога, опирающееся на представление о целесообразности устройства вселенной.— *Ред.*

Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им какое-нибудь новое чудо,—чудо, которое было бы таковым только для них и в которое их вольнодумцы отказывались бы верить. Не могли ли бы защитники религии почерпать в свою пользу доводы из столь упорного, столь справедливого в известных отношениях и, однако, столь мало обоснованного неверия? Если вы примете на минуту это допущение, то оно должно будет вам напомнить—в другом виде—историю с преследованием людей, имевших несчастье открыть истину в эпохи мрачного невежества и неблагодарно сообщивших ее своим слепым современникам, среди которых у них не было более жестоких врагов, чем те, кто по своему состоянию и воспитанию должны были как будто быть ближе всего к их взглядам.

Я оставлю теперь в стороне мораль и метафизику слепых и перейду к вопросам менее важным, но более близким к задаче наблюдений, производимых здесь со всех сторон со времени прибытия пруссака. Первый вопрос. Каким образом слепорожденный образует представление о фигурах? Я думаю, что понятие о направлении ему дают движения его тела, последовательное пребывание его руки в разных местах, непрекращающееся ощущение тела, перебираемого его пальцами. Если он проводит своими пальцами вдоль хорошо натянутой нити, то он получает представление о прямой линии; если он следует за изгибами слабо натянутой нити, то он получает представление о кривой линии. А вообще, благодаря повторным опытам осязания, он имеет воспоминание об ощущениях, испытанных им в разных точках; от него зависит комбинировать эти ощущения или точки и образовывать из них фигуры. Прямая линия для слепого, не являющегося геометром, не что иное, как воспоминание последовательности ощущений, осязания, помещенных в направлении натянутой нити; кривая линия—воспоминание последовательности ощущений осязания, отнесенных к поверхности какого-нибудь выпуклого или вогнутого твердого тела. Тщательное изучение свойств этих линий вносит у геометра коррективы в понятие о них. Но слепорожденный, будет ли он геометром или нет, относит все к концам своих пальцев. Мы комбинируем расцветченные точки, он же комбинирует только осязаемые точки или, выражаясь более точно, лишь ощущения осязания, сохранившиеся в его памяти. В его голове не происходит ничего подобного тому, что происходит в нашей голове: его воображение не работает; ведь для того чтобы воображать, надо расцветить некий фон и выделить на этом фоне точки, предполагая у них цвет, отличный от цвета фона. Придайте этим точкам тот же цвет, что и фону, и они немедленно сольются с ним, и фигура исчезнет; по крайней мере, так происходит дело в моем воображении, и я предполагаю, что у других лиц работа воображения совершается таким же образом. Поэтому, когда я желаю вообразить прямую линию, не

руководствуясь ее свойствами, то я начинаю с того, что мысленно представляю себе белое полотно, на котором я выделяю ряд черных точек, расположенных в одном и том же направлении. Чем более контрастируют между собой цвета фона и точек, тем раздельнее и отчетливее я замечаю точки; и для меня не менее утомительно рассматривать в своем воображении фигуру, обладающую цветом, очень близким к цвету фона, чем рассматривать такую же фигуру вне себя, на полотне.

Итак, вы видите, сударыня, что можно было бы указать законы, чтобы легко воображать себе зараз несколько различно расцвеченных предметов. Но эти законы, несомненно, не годились бы для слепорожденного. Так как слепорожденный не может расцвечивать и, следовательно, не может составлять фигур в нашем смысле слова, то он обладает лишь памятью об ощущениях осязания, которые он относит к различным точкам, местам или расстояниям и из которых он составляет фигуры. Тот факт, что нельзя составлять фигур в воображении, не расцвечивая их, настолько постоянен, что если бы нам дали в темноте прикоснуться к маленьким шарикам, вещества и цвета которых мы бы не знали, то мы немедленно предположили бы их белыми или черными, или какого-нибудь иного цвета; а если бы мы не представили себе никакого цвета, то, подобно слепорожденному, мы имели бы лишь воспоминание о незначительных ощущениях, вызванных в конце пальцев, и такого рода, какие могут вызвать только небольшие круглые тела. Если эта память очень мимолетна у нас, если мы не имеем представления о том, каким образом слепорожденные запечатлевают, вспоминают и комбинируют ощущения осязания, то это—в силу нашей зрительной привычки составлять все в своем воображении при помощи цветов. Но мне лично, однако, приходилось в припадке волнения от сильной страсти испытывать дрожание во всей руке, чувствовать впечатление от тел, которых я касался уже давно, и испытывать это с такой же яркостью, как если бы я прикасался к ним в данный момент, причем я отчетливо замечал, что границы ощущения в точности совпадали с границами этих отсутствующих тел. Хотя ощущение само по себе неделимо, оно занимает, если можно так выразиться, известное пространство, размеры которого слепорожденный способен мысленно увеличивать или уменьшать, увеличивая или уменьшая задетую часть. Этим способом он составляет точки, поверхности, объемы; он способен был бы даже получить объем, величиной с земной шар, если бы предположил, что конец его пальца—величиной с землю и занят ощущением в длину, ширину и глубину.

Я не знаю ничего, доказывающего лучше реальность внутреннего чувства, чем эта—слабая у нас, но сильная у слепорожденных—способность чувствовать или вспоминать ощущения тел даже тогда, когда они отсутствуют и не действуют больше на них. Мы не можем объяснить слепорожденному, как это воображение рисует нам отсутствующие предметы так, словно они присутствуют, но мы можем

отлично убедиться в наличии у себя свойственной слепорожденному способности чувствовать на конце пальца отсутствующее тело. Чтобы добиться этого, прижмите свой указательный палец к большому пальцу; закройте глаза; отделите пальцы друг от друга, рассмотрите немедленно после этого отделения то, что происходит в вас, и скажите мне, не длится ли ощущение долго спустя после того, как прекратилось сжатие пальцев, не кажется ли вам, что во время сжатия ваша душа скорее в концах ваших пальцев, чем в голове, и не дает ли вам это сжатие понятие о поверхности благодаря пространству, которое занимает ощущение. Мы отличаем наличие вещей вне нас от их представления в нашем воображении лишь благодаря силе и слабости впечатления; аналогичным образом слепорожденный отличает ощущение от реального присутствия какого-нибудь предмета на конце пальца лишь благодаря силе или слабости самого ощущения.

Если когда-нибудь какой-нибудь слепой и глухой от рождения философ создаст, в подражание Декарту, человека, то, осмеливаясь вас уверить, сударыня, что он поместит душу его в конце пальцев, ибо оттуда получаются все его главные ощущения и все его познания*. Кто, действительно, мог бы его уверить, что его голова есть седалище его мыслей? Если работа воображения утомляет нашу голову, то потому, что усилие, производимое нами при этом, весьма похоже на усилие, которое мы делаем, чтобы заметить очень близкие или очень маленькие предметы. Но этого нельзя сказать о слепом и глухом от рождения человеке; для него формой для всех образуемых им понятий являются ощущения осязания, и я не был бы удивлен, если бы после глубокого размышления он почувствовал такую же усталость в пальцах, какую мы испытываем в голове. Я не опасаясь доводов, которые мог бы противопоставить ему философ, указав, что нервы являются причиной наших ощущений и что все эти нервы исходят из мозга: если бы даже оба эти положения были окончательно доказаны,—чего совершенно нельзя сказать, в особенности о первом,—то ему, чтобы остаться при своем мнении, достаточно было бы попросить рассказать ему все то, что думали об этом физики.

Но если воображение слепого есть не что иное, как способность вспоминать и комбинировать ощущения осязаемых точек, а воображение зрячего человека—способность вспоминать и комбинировать видимые и расцвеченные точки, то отсюда следует, что слепорожденный замечает вещи гораздо более абстрактным образом, чем мы, и что в чисто умозрительных вопросах он, может быть, меньше способен ошибиться, чем мы,—ведь абстракция состоит лишь в том, чтобы отделять в мысли чувственные качества тел или друг от друга или

* Декарт помещал человеческую «душу» в особой шишковидной железе—*glandula pinealis*. Таким путем Декарт пытался «соединить» душу и тело в человеке, рассматривавшиеся им как проявления двух самостоятельных, ничего общего между собой не имеющих субстанций.—*Ред.*

от самого того тела, которое служит им основой. Заблуждение получается, либо если это отделение сделано плохо, либо если оно сделано некстати: сделано плохо в метафизических вопросах, а сделано некстати в вопросах физико-математических. Есть почти безошибочное средство заблудиться в метафизике—это не упрощать достаточным образом предметов, которыми занимаешься. Столь же безошибочен секрет, как получить неудовлетворительные результаты в физико-математических науках,—это предположить предметы менее сложными, чем они есть.

Существует особый вид абстракции, к которому способны столь немногие люди, что кажется, будто она является уделом только чистого интеллекта; это тот вид абстракции, в котором все должно сводиться к численным единицам. Надо признаться, что результаты такого рода математики были бы очень точны и формулы ее очень общи, ведь ни в природе, ни в мире возможного нет таких предметов—точек, линий, объемов, мыслей, понятий, ощущений,—которых эти простые единицы не могли бы представить, и ...если бы ненароком в этом именно заключалась сущность учения Пифагора, то можно было бы сказать о нем, что он потерпел неудачу в своем замысле потому, что этот способ философствования слишком возвышен для нас, слишком приближается к способу мышления верховного существа, которое, по остроумному выражению одного английского математика, всегда занимается во вселенной *геометрией*.

Чистая и простая единица—это для нас слишком неопределенный и общий символ. Наши чувства требуют от нас знаков, более соответствующих объему нашего интеллекта и строению наших органов. Мы даже устроили так, что эти знаки могут быть общими для нас и что они служат, так сказать, складом для взаимного обмена мыслями. Мы создали подобные знаки для глаз—это буквы; для ушей—это членораздельные звуки; но мы не создали никаких знаков для осязания, хотя существует свой особый способ обращаться к этому чувству и получать от него ответы. Вследствие отсутствия такого рода языка нет совершенно никакого сообщения между нами и теми, кто рождаются глухими, слепыми и немыми. Они растут, но остаются в состоянии умственной отсталости. Может быть, они могли бы приобрести известные понятия, если бы, начиная с детства, можно было объясняться с ними неизменным, определенным, постоянным и однообразным способом, если бы, одним словом, на руке у них чертили те же самые буквы, какие мы чертим на бумаге, причем значение их оставалось бы всегда одинаковым.

Не кажется ли вам, сударыня, этот язык столь же удобным, как и всякий другой? Не существует ли он даже в готовом виде? Решились ли бы вы утверждать, что с вами никогда не объяснялись этим способом? Поэтому остается только закрепить этот язык и составить его грамматику и словарь, раз способ выражения при помощи нашего обыкновенного алфавита не годится для чувства осязания.

Существуют три двери, через которые познание входит в нашу

душу, и одна из них забаррикадирована из-за отсутствия знаков. Если бы мы пренебрегли двумя другими, то очутились бы в положении животных. Подобно тому, как мы обладаем лишь пожатием, чтобы обращаться к чувству осязания, мы имели бы в этом случае только крик, чтобы говорить уху. Сударыня, надо быть лишенным

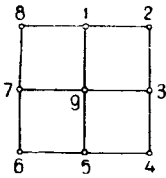


Рис. 1

какого-нибудь органа чувств, чтобы понять выгоды символов, предназначенных для остающихся чувств, и люди, которые имели бы несчастье родиться глухими, слепыми и немыми или которые потеряли бы почему-нибудь эти три чувства, были бы в восторге, если бы существовал ясный и точный язык для осязания.

Гораздо проще пользоваться уже готовыми символами, чем изобретать их, как это приходится делать, когда у тебя ничего нет в этом отношении. Как хорошо было бы для Саундерсона, если бы пяти лет от роду он застал уже существующей арифметику осязания, вместо того чтобы самому придумывать ее в двадцать пять лет. Этот Саундерсон, сударыня, тоже слепой, о котором вам будет небезынтересно кое-что услышать. О нем рассказывают всяческие чудеса, и, действительно, его успехи в изящной литературе и его искусство в математических науках делают все это правдоподобным.

Он пользовался одним и тем же прибором для алгебраических выкладок и для начертания прямолинейных фигур. Вы, разумеется, не будете иметь ничего против, если вам объяснить действие этого прибора, только бы вы могли его понять. И вы увидите, что этот прибор не предполагает никаких особых, не известных вам знаний и что он сможет оказаться вам очень полезным, если вам когда-нибудь придет в голову производить длинные выкладки наощупь.

Вообразите себе, что квадрат, как он нарисован на рисунках 1 и 2, разделен на четыре равные части прямыми, перпендикулярными к его сторонам, так что получается девять точек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Предположите, что в девяти местах этого квадрата можно воткнуть двух сортов булавок—одинаковой длины и толщины, но с головками, несколько различающимися по своей величине.

Булавки с большой головкой помещались всегда лишь в центре квадрата, а булавки с маленькой головкой всегда лишь на сторонах квадрата, за исключением случая с единицей*. Ноль отмечался булава-

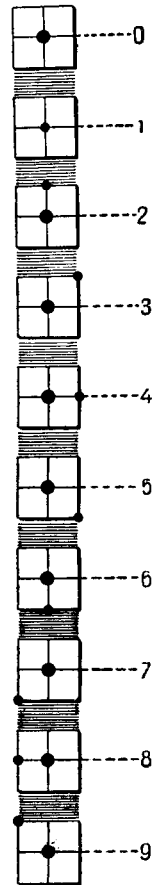


Рис. 2

* В оригинале ошибочно: с нулем.— Ред.

кой с большой головкой, помещенной в центре маленького квадрата, причем на сторонах его не было совсем других булавок. Цифра 1 изображалась булавкой с маленькой головкой, помещенной в центре квадрата, причем на сторонах его не было никакой другой булавки. Цифра 2—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 1. Цифра 3—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 2. Цифра 4—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 3. Цифра 5—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 4. Цифра 6—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 5. Цифра 7—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 6. Цифра 8—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 7. Цифра 9—булавкой с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 8.

Вот десять различных выражений для чувства осязания, каждое из них соответствует одному из наших арифметических знаков. Теперь вообразите себе доску каких угодно размеров, разделенную на маленькие размещенные горизонтально квадраты, находящиеся друг от друга на одном и том же расстоянии,—как это изображено на рисунке 3,—и вы получите прибор Саундерсона.

Вы легко поймете, что нет такого числа, которого нельзя было бы написать на этой доске, и что, следовательно, нет такого арифметического действия, которого нельзя было бы произвести на ней.

Допустим, например, что надо найти сумму, что надо сложить следующие 9 чисел:

1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	0
7	8	9	0	1
8	9	0	1	2
9	0	1	2	3

Я пишу эти числа на доске по мере того, как мне их называют; первую цифру слева первого числа я отмечаю на первом квадрате слева первой строки; вторую цифру слева первого числа—на втором квадрате слева той же строки и т. д.

Я размещаю второе число на второй строке квадратов, единицы под единицами, десятки под десятками и т. д.

Я размещаю третье число на третьей строке квадратов и т. д., как изображено на рисунке 3. Затем, пробегая пальцами каждый вертикальный столбец снизу вверх, начиная с самого правого*, я складываю находящиеся здесь числа и избыток над десятками и пишу внизу этого столбца; я перехожу затем ко второму столбцу, подвигаясь налево, и произвожу с ним ту же операцию; отсюда я перехожу к третьему столбцу и т. д., пока не закончу сложения.

А вот каким образом он пользовался той же самой доской, чтобы доказывать свойства прямолинейных фигур. Предположим, что ему нужно было доказать, что параллелограммы с равными основаниями и равной высотой имеют одинаковую площадь. Для этого он размещал свои булавки, как это изображено на рисунке 4 (см. стр. 50). Он обозначал особыми названиями угловые точки и заканчивал доказательство при помощи своих пальцев.

Если бы Саундерсон употреблял для обозначения границ своих фигур только булавки с большими головками, то он мог располагать вокруг них булавки с маленькими головками девятью различными способами, которые все были ему привычны. Затруднения начались для него лишь тогда, когда слишком большое число угловых точек, которым он должен был давать названия при своем доказательстве, заставляло его прибегать к буквам алфавита. У нас нет данных, как он ими пользовался.

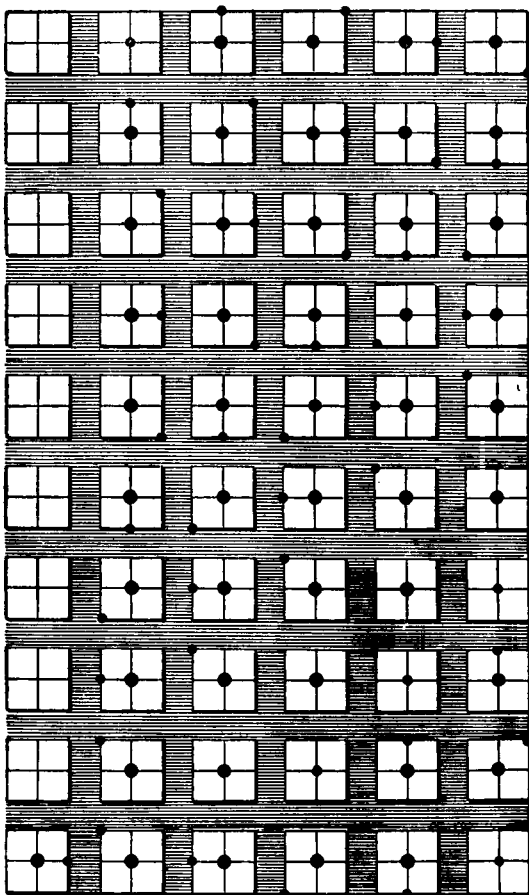


Рис. 3

* В оригинале ошибочно: левого. — Ред.

Мы знаем только, что он пробегал пальцами свою доску с изумительной быстротой; что он с успехом предпринимал самые длинные выкладки; что он мог прерывать их и узнавать, когда он ошибался; что он без труда проверял их и что работа эта не требовала от него,

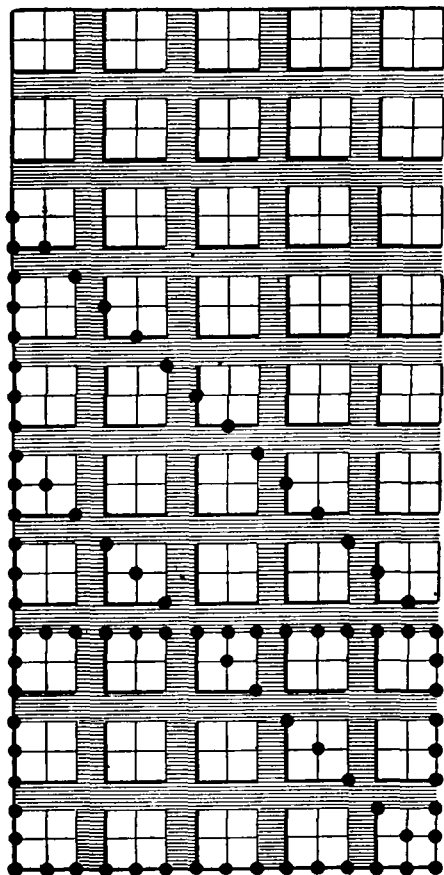


Рис. 4

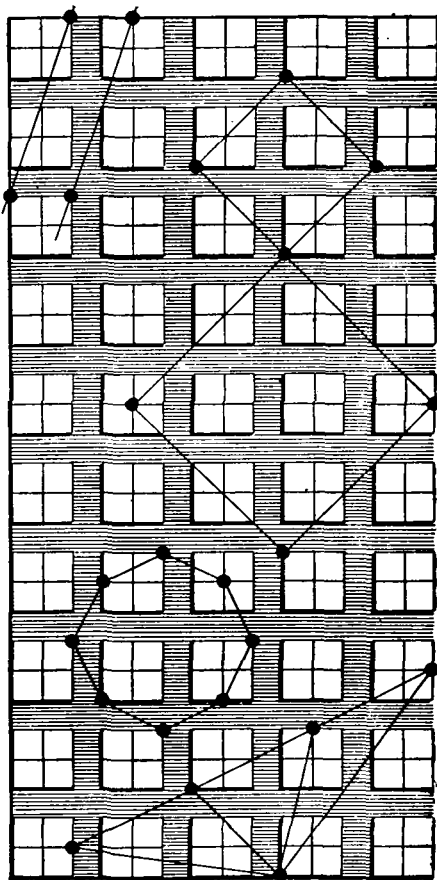


Рис. 5

благодаря удобному расположению доски, так много времени, как можно было бы предположить.

Это расположение доски заключалось в том, чтобы помещать булавки с большой головкой в центре всех квадратов. После этого ему оставалось лишь определить значение, соответствующее какому-нибудь квадрату при помощи булавок с маленькой головкой, за исключением случая единицы. В случае необходимости изобразить единицу он помещал в центре квадрата булавку с маленькой головкой на место находившейся в нем булавки с большой головкой.

Иногда вместо того, чтобы составлять целую линию из своих булавок, он ограничивался тем, что помещал булавки во все угловые точки или точки пересечения, а вокруг них закреплял шелковые нити, составлявшие границы его фигур (см. рис. 5).

Он изобрел несколько других приборов, облегчавших ему занятия математикой. По-настоящему неизвестно, как он ими пользовался, и, может быть, для отыскания этого способа пользования ими понадобилось бы больше проникательности, чем при разрешении какой-нибудь проблемы интегрального исчисления. Пусть какой-нибудь математик попытается объяснить нам, какое назначение имели у него четыре внушительных куска дерева в виде прямоугольных параллелепипедов, длиной каждый в одиннадцать дюймов, шириной—в пять с половиной, а толщиной—немного более полудюйма, у которых две противоположные большие поверхности были разделены на небольшие квадраты, подобные квадратам выше описанной счетной доски, с той лишь разницей, что они имели отверстия только в нескольких местах, в которых были воткнуты до головки булавки. Каждая поверхность представляла девять небольших арифметических таблиц, из десяти чисел каждая, причем каждое из этих десяти чисел было составлено из десяти цифр. На рисунке 6 (см. стр. 52) изображена одна из этих небольших таблиц; а вот числа, которые она содержала:

9	4	0	8	4
2	4	1	8	6
4	1	7	9	2
5	4	2	8	4
6	3	9	6	8
7	1	8	8	0
7	8	5	6	8
8	4	3	5	8
8	9	4	6	4
9	4	0	3	0

Он является автором замечательного в своем роде произведения. Это «*Элементы алгебры*», где о том, что он был слепым, можно заметить лишь по особенностям некоторых доказательств, на которые, может быть, не натолкнулся бы зрячий человек. Он изобрел деление куба на шесть равных пирамид, имеющих свои вершины в центре куба, а основаниями—грани куба. При помощи этого деления можно очень просто доказать, что объем всякой пирамиды составляет треть объема призмы с тем же основанием и той же высотой.

Любовь к математике побудила его заниматься ею, а отсутствие средств и советы друзей побудили его преподавать ее публично. Они не сомневались, что он будет иметь большой успех благодаря своему исключительному таланту преподавания. Действительно, Саундерсон говорил со своими учениками так, как если бы они были лишены зрения, но слепой, который выражается понятно для слепых, должен быть тем более понятным для зрячих: у них имеется как бы добавочное орудие понимания.

Его биографы рассказывают, что он был мастер на удачные выражения, и это очень правдоподобно. Но,—может быть, спросите меня,—что вы понимаете под удачными выражениями? Я вам отвечу на это, сударыня, что это выражения, которые имеют прямой смысл для какого-нибудь чувства, например для осязания, представляя в то

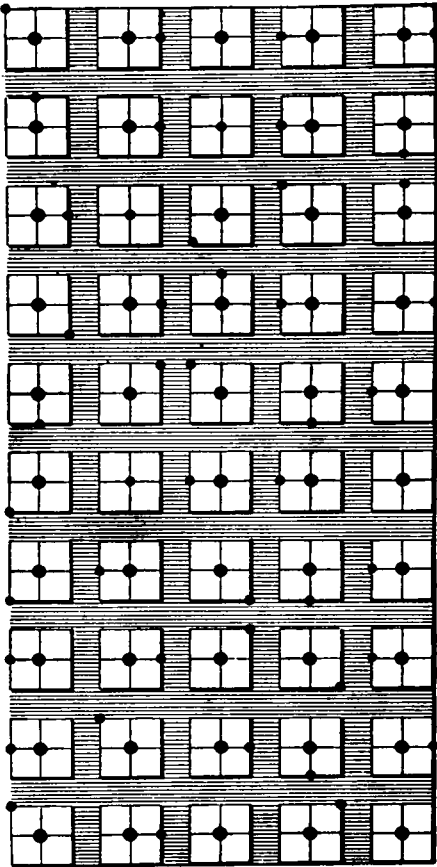


Рис. 6

же время образный характер для другого чувства, например для зрения. Отсюда получается двойное значение для того, к кому обращаются: прямое и истинное значение выражения и отраженное значение метафоры. Очевидно, что Саундерсон в этих случаях, несмотря на весь свой ум, понимал себя только наполовину — ведь ему была доступна лишь половина идей, связанных с терминами, которые он употреблял. Но кто из нас от времени до времени не находится в таком же самом положении? Это случается как с идиотами, которые отпускают замечательные шутки, так и с остроумнейшими людьми, у которых вырвется вдруг какая-нибудь глупость, причем ни те, ни другие не замечают сказанного.

Я наблюдал тот же недостаток слов у иностранцев, не вполне еще знакомых с новым для них языком. Они вынуждены говорить обо всем при помощи весьма незначительного количества терминов, благодаря чему они употребляют иногда некоторые из них очень удачно. Но так как вообще

всякий язык беден для писателей с живым воображением, то они находятся в том же положении, что и обладающие большим остроумием иностранцы: придумываемые ими положения, замечаемые ими в характерах тонкие оттенки, наивность картин, которые они должны изображать, заставляют их каждый раз удаляться от обычного способа выражения и изобретать обороты речи изумительные, если они не чрезмерно изысканны и не темны,—недостатки, которые мы им прощаем тем легче, чем мы сами остроумнее и чем меньше мы сами

владеем языком. Вот почему из всех французских авторов г. де М...*, больше всего нравится англичанам, а из всех латинских авторов *мыслители* ценят выше всего Тацита. От нас ускользают вольности языка, и остается только поражающая нас правдивость оборотов речи.

Саундерсон преподавал с огромным успехом математику в Кембриджском университете. Он читал лекции по оптике; он произносил речи о природе света и цветов; он объяснял теорию зрения; он рассуждал о действиях стекол, об явлениях радуги и о многих других вопросах, касающихся зрения и его органов.

Эти факты не вызовут у вас особого удивления, если, сударыня, вы обратите внимание на то, что во всяком смешанном физико-математическом вопросе надо различать три вещи: требующее объяснения явление, математические гипотезы и вытекающие из этих гипотез вычисления. Но ясно, что, каково бы ни было глубокомыслие слепого, явления света и цветов ему не известны. Он сможет понять математические гипотезы, потому что все они имеют отношение к осязательным причинам, но он никогда не уразумеет того, почему математик предпочел их другим допущениям, ибо для этого он должен был бы уметь сравнивать сами эти гипотезы с соответствующими явлениями. Таким образом, слепой принимает гипотезы за то, за что ему их выдают: луч света—за гибкую, тонкую нить или за ряд маленьких телец, поражающих с невероятной быстротой наши глаза, и он, в соответствии с этим, производит свои выкладки. Так совершается переход от физики к математике, и вопрос приобретает чисто математический характер.

Но что сказать о результатах вычисления? 1) Что иногда крайне трудно добиться их и что тщетно станет физик придумывать гипотезы, вполне соответствующие природе, если он не в состоянии обработать их математическим образом,—и вот мы видим, что величайшие физики—Галилей, Декарт, Ньютон—были великими математиками; 2) что эти результаты более или менее надежны, в зависимости от большей или меньшей сложности исходных гипотез. Когда вычисление основывается на простой гипотезе, тогда выводы приобретают силу математических доказательств. Когда имеется множество допущений, то, с одной стороны, правдоподобие каждой гипотезы уменьшается пропорционально числу их, но, с другой стороны, оно увеличивается в силу малой вероятности того, чтобы такое количество ложных гипотез могли в точности исправлять друг друга и чтобы из них можно было получить результат, подтверждаемый наблюдениями. Это было бы похоже на случай сложения, конечный итог которого был бы правильным, хотя частичные суммы отдельных чисел были бы все неверными. Нельзя отрицать того, что подобный случай возможен; но вы согласитесь в то же время, что он

* Маривó.—Ред.

должен быть крайне редким. Чем больше чисел придется складывать, тем вероятнее возможность ошибиться в сложении каждого отдельного слагаемого; но точно так же тем меньше эта вероятность, если результат всего действия правилен. Существует, таким образом, такое количество гипотез, что вытекающая из них достоверность должна быть минимальной. Если я говорю, что $A + B + C = 50$, то в праве ли я заключить на основании того, что пятьдесят выражает в действительности количественную сторону явления, будто допущения, изображенные буквами A , B , C , верны? Нисколько, ибо есть бесконечное множество способов уменьшить значение одной из этих букв и увеличить значение двух остальных, причем в результате получится всегда пятьдесят; но случай трех комбинированных гипотез, может быть, лишь один из маловероятнейших.

Не следует упускать из виду одного преимущества, представляемого вычислениями,—именно возможности исключить ложные гипотезы в случае противоречия между результатом и изучаемым явлением. Если физик захочет найти траекторию луча света в атмосфере, то он вынужден сделать некоторые предположения насчет плотности слоев воздуха, насчет закона преломления, насчет природы и фигуры световых телец и, может быть, насчет некоторых других существенных элементов, которых он не вводит в свои выкладки, потому ли, что он сознательно пренебрегает ими, или потому, что он их не знает. Он определяет затем траекторию луча. Если она оказывается иной, чем это вытекает из его вычислений, то, значит, его предположения неполны или ложны. Если же луч движется по вычисленной траектории, то одно из двух: либо исходные предположения взаимно компенсировали друг друга, либо они точны. Но какое из этих двух допущений истинно, этого физик не знает; однако такова вся та степень достоверности, которой он может достигнуть.

Я пробежал «*Элементы алгебры*» Саундерсона, надеясь найти в них то, что я желал узнать от близких ему лиц, сообщивших нам некоторые подробности его жизни. Но мои ожидания были обмануты, и я пришел к выводу, что если бы он написал работу об элементах геометрии, то это было бы и более оригинальным само по себе и гораздо более полезным для нас произведением. Мы нашли бы в нем такие определения точки, линии, поверхности, объема, угла, пересечения линий и плоскостей, в которых—я не сомневаюсь—он воспользовался бы принципами весьма отвлеченной метафизики, очень близкой к метафизике идеалистов. *Идеалистами* называют философов, которые, признавая известным только свое существование и существование ощущений, сменяющихся внутри нас, не допускают ничего другого. Экстравагантная система, которую, на мой взгляд, могли бы создать только слепые! И эту систему, к стыду человеческого ума, к стыду философии, всего труднее опровергнуть, хотя она всех абсурднее. Она изложена с полной откровенностью и ясностью в трех диалогах доктора Беркли, епископа Клойнского. Следовало бы попро-

силь автор *Опыта** о нашем познании разобрать это произведение; он нашел бы в нем повод для полезных, приятных, тонких наблюдений,— словом, тех наблюдений, на которые он такой мастер. Идеализм заслуживает того, чтобы указать на него этому автору. Эта гипотеза должна его заинтересовать, и не столько своей странностью, сколько трудностью опровергнуть ее, исходя из его принципов, ибо по существу у него те же самые принципы, что и у Беркли. Согласно Беркли и Кондильяку—и согласно здравому смыслу—термины: сущность, материя, субстанция, основа и т. д., не представляются сами по себе ясными для нашего ума; кроме того, как правильно замечает автор *«Опыта о происхождении человеческих знаний»*, мы можем подняться на небеса, мы можем спуститься в последние глубины, но мы никогда не выйдем из самих себя и всегда будем иметь дело лишь с нашей собственной мыслью. Таков именно конечный вывод первого диалога Беркли, и такова основа всей его системы. Не занятно ли было бы увидеть, как схватятся между собой два противника, оружие которых так сходно? Если бы победа досталась одному из них, то лишь тому, кто лучше воспользовался бы этим оружием, но автор *«Опыта о происхождении человеческих знаний»* дал недавно в *«Трактате о системах»* новое доказательство того искусства, с каким он владеет своим оружием, и показал, насколько он страшен для творцов систем.

Вы скажете, что мы слишком удалились от наших слепых. Но я вас попрошу, сударыня, простить мне все эти отклонения в сторону. Я обещал побеседовать с вами, и я не смогу исполнить своего обещания без такого снисхождения с вашей стороны.

Я прочел со всем вниманием, на которое способен, то, что Саундерсон написал о бесконечности, и я могу уверить вас, что у него были по этому вопросу очень правильные и очень ясные взгляды, и что большинство наших *бесконечников* (infinitaires) были бы в его глазах слепцами. Вы сами сможете судить об этом, хотя вопрос этот довольно труден и превосходит несколько ваши математические познания, но я не сомневаюсь, что при достаточной подготовке я сумел бы сделать его доступным вам и ввести вас в эту логику бесконечно-малых.

Этот знаменитый слепой доказывает своим примером, что осязание может стать более тонким чувством, чем зрение, если его совершенствовать путем упражнений: пробегая рукой ряд медалей, он отличал подлинные от фальшивых, хотя последние были подделаны так искусно, что могли бы обмануть знатока с хорошими глазами; он судил о точности математического инструмента, проводя концами своих пальцев по его делениям. Это, несомненно, гораздо труднее, чем судить, при помощи осязания, о сходстве какого-нибудь бюста с изображаемым им лицом. Отсюда следует, что народ из слепых мог бы иметь скульпторов и изготовлять статуи с той же целью, что и мы,

* Имеется в виду Кондильяк, автор *«Опыта о происхождении человеческих знаний»* (1746) и *«Трактата о системах»* (1749).—*Ред.*

именно, чтобы увековечить память о прекрасных поступках и о дорогих лицах. Я не сомневаюсь даже в том, что ощущения, которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, были бы гораздо ярче, чем получаемые нами от них зрительные ощущения. Какая радость для нежного любовника проводить рукой по прелестям, которые он должен был бы узнать, если бы иллюзия, более могучая у слепых, чем у зрячих, оживляла их. Но возможно также, что, чем больше удовольствия доставляло бы ему это воспоминание, тем меньше он испытывал бы сожаления.

Саундерсон, как и слепой из Пюизо, испытывал малейшие перемены в атмосфере и замечал, особенно при спокойной погоде, присутствие предметов, от которых он находился в нескольких шагах. Рассказывают, что когда однажды он присутствовал при астрономических наблюдениях, происходивших в саду, то облака, закрывавшие время от времени наблюдателям диск солнца, вызывали достаточно заметное изменение в действии лучей на его лице, так что он отличал благоприятные или неблагоприятные для наблюдения моменты. Вы, может быть, скажете, что в его глазах происходило какое-нибудь изменение, способное предупредить его о наличии света, но не о различии предметов; я готов был бы согласиться с вами, если бы не знал достоверно, что Саундерсон был лишен не только зрения, но и самого органа зрения.

Таким образом, Саундерсон видел при помощи кожи. Эта оболочка обладала у него исключительной чувствительностью, поэтому можно утверждать, что при некотором упражнении он способен был бы научиться узнавать того из своих друзей, портрет которого художник нарисовал бы на его руке, и что на основании последовательности вызванных карандашом ощущений он способен был бы сказать: *это господин такой-то*. Значит, существует особый род живописи для слепых, именно тот, где полотном служила бы их собственная кожа. Это предположение несколько не фантастично, и я не сомневаюсь, что если бы кто-нибудь начертил на вашей руке ротик госпожи М..., то вы его немедленно узнали бы. Но согласитесь, что это было бы гораздо легче сделать слепорожденному, чем вам, несмотря на то, что вы привыкли видеть ее и находить очаровательной. Ведь в ваше суждение входят две или три вещи: сравнение рисунка на вашей руке с рисунком, запечатлевшимся в глубине ваших глаз; память о том, как на вас действуют вещи, которые осязаешь, и как действуют вещи, которые только видишь и которыми восхищаешься. Наконец, применение этих данных к вопросу, заданному вам художником, который, нарисовав кончиком карандаша рот на коже вашей руки, спрашивает у вас: *кому принадлежит рот, который я рисую?* Между тем, сумма ощущений, вызванных ртом на руке слепого, та же самая, что и сумма последовательных ощущений, вызванных карандашом рисующего его художника.

К истории слепого из Пюизо и Саундерсона я мог бы прибавить историю Дидима Александрийского, Евсевия Азиатского, Никеза из

Мехлина и нескольких других лиц, которые, будучи лишены одного чувства, настолько все же возвышались над остальным человеческим родом, что поэты могли, не впадая в преувеличения, говорить, будто завистливые боги лишили их зрения из страха иметь среди смертных равных себе. Ведь кем был знаменитый Тирезий, которому были открыты тайны богов и который обладал даром предсказывать будущее, как не слепым философом, память о котором сохранила нам легенда? Но не будем удаляться от Саундерсона и последуем за этим замечательным человеком до его могилы.

Когда он умирал, к нему пригласили очень умного священника, г. Жерведа Холмса. У них завязалась беседа о бытии божием. От нее сохранилось несколько отрывков, которые я вам переведу, как сумею,—они стоят того. Священник начал с того, что указал ему на чудеса природы. «Ах, сударь,—возразил ему слепой философ,—оставьте это прекрасное зрелище, которое не было создано для меня! Я осужден был на то, чтобы провести свою жизнь во мраке, а вы ссылаетесь на чудеса, которых я не понимаю и которые имеют доказательную силу только для вас и для тех, кто, подобно вам, видит. Если вы хотите, чтобы я верил в бога, то вы должны дать мне возможность осязать его».

— Сударь,—возразил ловко священник,—положите свои руки на самого себя, и вы найдете божество в изумительном строении своих органов.

— Господин Холмс,—ответил Саундерсон,—повторяю вам, все это не так прекрасно для меня, как для вас. Но допустим, что животный механизм столь совершенен, как вы это утверждаете,—я готов поверить вам, ведь вы честный человек и совершенно не способны обманывать меня,—какое отношение это имеет к верховному разумному существу? Если этот механизм поражает вас, то может быть, потому, что вы привыкли считать чудом все, что кажется вам превышающим ваши силы. Я так часто был для вас предметом удивления, что я составил себе плохое мнение насчет того, что вас изумляет. Чтобы поглазеть на меня, из глубин Англии приезжали люди, которые не могли понять, как я занимаюсь геометрией; согласитесь, что у этих людей не было вполне точных представлений о том, что возможно и что невозможно. Если какое-нибудь явление превышает, по нашему мнению, силы человека, то мы тотчас же говорим: *это дело божие*; наше тщеславие не может удовлетвориться меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали в свои рассуждения несколько меньше гордости и несколько больше философии? Если природа представляет нам какую-нибудь загадку, какой-нибудь трудно распутываемый узел, то оставим его таким, каков он есть, и не будем стараться разрубить его рукой существа, который становится затем для нас новым узлом, еще труднее распутываемым, чем первый. Спросите у индейца, как это вселенная висит в воздухе, и он вам ответит, что она покоится на спине слона. А на чем находится слон? На черепахе. А кто поддерживает черепаху?.. Этот индеец внушает вам сострадание. Но вам

можно было бы сказать, как и ему: «Господин Холмс, друг мой, признайте сперва свое невежество и избавьте меня от слона и черепахи!»

Саундерсон остановился на минуту: он ожидал, очевидно, ответа со стороны священника; но с какой стороны лучше всего произвести нападение на слепого? Г-н Холмс воспользовался хорошим мнением Саундерсона о его честности и сослался на взгляды Ньютона, Лейбница, Кларка и некоторых других своих соотечественников, первых гениев в мире, которые все, будучи поражены чудесами природы, признали творцом ее некое разумное существо. Несомненно, это было самое сильное возражение, которое могло быть выдвинуто священником против Саундерсона. И, действительно, наш покладистый слепой согласился, что было бы смелым отрицать то, что решался допускать такой человек, как Ньютон; он обратил, однако, внимание священника на то, что свидетельство Ньютона не могло быть так убедительно для него, как было убедительно для Ньютона свидетельство всей природы, и что Ньютон полагался на слово божие, между тем как он был вынужден полагаться на слово Ньютона.

«Заметьте, господин Холмс,—добавил он,—какое доверие я должен питать к вашим словам и к словам Ньютона. Я ничего не вижу, однако я допускаю во всем изумительный порядок. Но я надеюсь, что вы не потребуете от меня большего. Я готов уступить вам по вопросу о теперешнем состоянии вселенной, но взамен я требую от вас свободы думать, что мне угодно, по вопросу об ее изначальном состоянии, насчет которого вы такой же слепец, как и я. Здесь вы не можете мне противопоставить никаких свидетелей, и ваши глаза вам здесь нисколько не помогают. Поэтому воображайте себе, если вам это нравится, что столь поражающий вас порядок во вселенной существовал всегда, но разрешите мне думать, что так было не всегда и что если бы мы стали восходить к началу вещей и времени, если бы мы стали рассматривать, как начала двигаться материя и проясняться хаос, то мы встретили бы лишь несколько хорошо организованных существ среди массы уродливых. Если я не могу ничего возразить вам по поводу теперешнего состояния вещей, то я могу, по крайней мере, задать вам вопрос об их прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у вас, спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают, что животные при первоначальном своем образовании не были одни без головы, а другие без ног. Я могу утверждать, что некоторые из них не имели желудка, а другие не имели кишок, что животные, которым наличность желудка, нёба и зубов обещала, как будто, длительное существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные комбинации материи и что сохранились лишь те из них, строение которых не заключало в себе серьезного противоречия и которые могли существовать самостоятельно и продолжать свой род.

Если мы это допустим, если мы предположим далее, что у первого человека была закрыта гортань, что он был лишен подходящей пищи, имел какой-либо недостаток в детородных органах, не нашел себе подруги среди подобных себе или же смешался с каким-нибудь другим видом животных, то что, господин Холмс, стало бы с человеческим родом? Он попал бы в процесс всеобщего очищения вселенной, и то гордое существо, которое называется человеком, рассеявшись, растворившись среди молекул материи, осталось бы, может быть, навсегда, лишь в числе возможностей бытия.

Если бы никогда не существовало уродливых существ, то вы могли бы утверждать, что их никогда и не будет и что я занимаюсь фантастическими гипотезами, но,—продолжал Саундерсон,—порядок в мире не настолько еще совершенен, и время от времени в нем появляются уродливые произведения». Затем, повернувшись лицом к священнику, он прибавил: «Посмотрите на меня хорошенько, господин Холмс, у меня нет глаз. Что сделали богу я и вы для того, чтобы вы имели этот орган, а я был лишен его?»

Когда Саундерсон произносил эти слова, у него было такое искреннее и убежденное выражение лица, что священник и все прочие присутствовавшие не могли не разделить его скорби и стали горько оплакивать его участь. Слепой заметил это. «Господин Холмс,—сказал он священнику,—ваше добросердечие мне отлично известно, и я очень чувствителен к тому доказательству его, которое вы мне даете в эти последние минуты жизни, но, если я вам дорог, не лишайте меня при смерти утешительного сознания, что я никогда никого не огорчил».

Затем, заговорив несколько более твердым голосом, он прибавил: «Итак, я предполагаю, что в начале времен, когда находившаяся в брожении материя породила вселенную, было не мало таких существ, как я. Но разве я не в праве утверждать о целых мирах того же, что я говорю об отдельных животных? Сколько исчезло изувеченных, неудачных миров, сколько их преобразовывается и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, которых я не воспринимаю осязанием, а вы своим зрением, но в которых движение продолжает и будет продолжать комбинировать массы материи, пока из них не получится какая-нибудь жизнеспособная комбинация? О, философы, перенеситесь же вместе со мною за грань нашей вселенной, за пределы того, где я *осязую*, а вы *видите* организованные существа; охватите взором этот новый океан и постарайтесь отыскать в неправильных волнениях его какие-нибудь следы того разумного существа, чьей мудрости вы удивляетесь здесь.

Но нужно ли вам вообще покидать свою родную стихию? Что такое наш мир, господин Холмс? Это—составное, сложное тело, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению, это—быстрая смена существ, следующих друг за другом, сталкивающихся между собой и исчезающих, это—мимолетная

симметрия, быстротечный порядок. Я только что упрекал вас в том, что вы судите о совершенстве вещей на основании своих собственных способностей. Но я мог бы точно так же обвинять вас в том, что вы измеряете их длительность своею собственною долговечностью. Вы судите о существовании мира во времени так, как муха-однодневка судит о продолжительности вашего собственного существования. Мир вечен для вас так, как вы вечны для существа, живущего только одно мгновение, и, может быть, насекомое еще разумнее, чем вы. О каком колоссальном ряде поколений-однодневок свидетельствует ваша вечность, о каком длительном процессе? Однако мы все преходящи, и никто не сможет указать ни реального пространства, которое мы занимали, ни точного промежутка времени, в течение которого мы существовали. Время, материя и пространство представляют, может быть, только одну точку.

Во время этой беседы Саундерсон волновался больше, чем это позволяло ему его состояние; затем он начал бредить; бред продолжался несколько часов, после чего Саундерсон пришел в сознание, но лишь для того, чтобы воскликнуть: «О, бог Кларка и Ньютона, жалься надо мной!» и вслед за тем умереть.

Такова была кончина Саундерсона. Вы видите, сударыня, что все выдвинутые этим слепцом против священника аргументы не были убедительны даже для него самого. Какой же позор для людей, не имеющих лучших доводов, чем он, для людей зрячих, которым изумительное зрелище природы возвещает, начиная с восхода солнца до захода самой маленькой звездочки, существование и славу ее творца! Они обладают глазами, которых был лишен Саундерсон; но Саундерсон зато обладал тем, чего они были лишены: чистым нравом и добродетельным характером. Поэтому они живут, как слепые, а Саундерсон умер так, словно был зрячим. Голос природы был слышен ему в достаточной степени благодаря оставшимся у него органам, и его пример должен иметь тем большую силу против людей, упрямо закладывающих себе уши и закрывающих глаза. Я готов спросить, не был ли истинный бог еще больше скрыт от Сократа мраком язычества, чем от Саундерсона отсутствием зрения, не давшим ему видеть представляемого природой зрелища.

Я очень огорчен, сударыня, что мы с вами лишены удовольствия узнать какие-нибудь другие любопытные подробности относительно этого знаменитого слепца. Из его ответов, может быть, можно было бы извлечь больше пользы, чем из разных опытов, которые предполагают ставить. Как жаль, что жившие с ним были так мало философами! Я, впрочем, исключая из их числа его ученика, г. Вильяма Инчлифа, видевшего Саундерсона лишь в последние минуты его жизни и передавшего нам его последние слова, которые я посоветую всем, знающим немного английский язык, прочесть в подлиннике в сочинении, появившемся в Дублине в 1747 и озаглавленном: «*The Life and character of Dr. Nicholas Saunderson late lucasian Professor of the mathematicks in the university of Cambridge; by his*

disciple and friend William Inchlif, Esq.» * Они найдут в этом сочинении сильный, правдивый, приятный рассказ, какого не встретишь ни в каком другом произведении и всю прелесть которого мне вряд ли удалось передать вам, несмотря на все мои усилия сохранить ее в переводе.

В 1713 г. он женился на дочери г. Дикконса, ректора в Боксворте, в Кембриджском округе. От этого брака у него были сын и дочь, которые еще живы. Его последнее прощание с семьей было очень трогательно. «Я отправляюсь,—сказал он им,—туда, куда мы отправимся все. Избавьте меня от расслабляющих меня жалоб. Выражение вами горя делает меня более чувствительным к собственным страданиям. Я без огорчения отказываюсь от жизни, которая была для меня лишь длительным желанием и непрерывным лишением. Живите столь же добродетельно, но более счастливо, чем я, и научитесь умирать столь же спокойно». Затем он взял руку своей жены и держал ее минуту сжатой между своими руками, повернувшись лицом в ее сторону, точно он хотел увидеть ее; он благословил своих детей, обнял всех и попросил их удалиться, потому что присутствие их причиняло ему большую боль, чем приближение смерти.

Англия—страна философов, людей любознательных, систематичных. Однако без г. Инчлифа мы знали бы о Саундерсоне лишь то, что могли бы о нем сообщить самые обыкновенные люди,—например, что он узнавал те места, где был уже один раз, по шуму стен и мостовой, если они издавали этот шум,—и сотню подобных же вещей, которые мы знаем почти относительно всех слепых. Но разве так часто встречаются в Англии слепцы, подобные Саундерсону, и встречают ли там ежедневно людей, которые никогда не были зрячими и в то же время читают лекции по оптике?

Пыгаются вернуть зрение слепорожденным. Но если вдуматься хорошенько, то, по моему мнению, для философии большую ценность имеют расспросы здравомыслящего слепого. От него можно было бы узнать, как у него происходит процесс восприятия; это можно было бы сравнить с ходом этого процесса у нас, и путем такого сравнения, может быть, удалось бы добиться разрешения трудностей, делающих столь ненадежной и запутанной теорию зрения. Но, признаться, я не понимаю, чего рассчитывают добиться от человека, производя болезненную операцию очень деликатного органа, который расстраивается от малейшей случайности и который часто обманывает здоровых людей, издавна пользующихся его преимуществами. Что касается меня, то я с большей охотой выслушал бы мнение насчет теории восприятия какого-нибудь метафизика, которому были бы знакомы принципы метафизики, элементы математики и строение частей тела, чем необразованного, невежественного человека, которому

* «Жизнь и характер покойного д-ра Николая Саундерсона, профессора математики в Кембриджском университете по кафедре, основанной Лукасом; составлено его учеником и другом Вильямом Инчлифом, эскв.» — *Ред.*

вернули бы зрение; снявши с его глаз катаракту. Я меньше полагался бы на ответы выдающего в первый раз человека, чем на сообщение философа, который хорошо обдумал бы во мраке этот вопрос или, выражаясь поэтическим языком, который выколол бы себе глаза, чтобы лучше узнать, как происходит зрительное восприятие.

Чтобы придать этим опытам некоторую ценность, надо было бы, по меньшей мере, задолго подготовить испытуемого субъекта, надо было бы воспитать его и, может быть, сделать его философом. Но нельзя мгновенно превратить человека в философа, даже если у него есть задатки к этому. Что же сказать о человеке, у которого этих задатков нет, или—что еще хуже—о человеке, воображающем себя философом? Было бы очень полезно начинать наблюдения лишь долго спустя после операции. Для этого надо было бы ухаживать за больным в темноте и хорошо увериться в том, что рана его зажила и что глаза его здоровы. Я был бы против того, чтобы его сразу вывели на дневной свет: яркий свет мешает нам видеть; какое же действие должен он произвести на орган, не испытавший еще ни одного впечатления и поэтому обладающий крайней чувствительностью!

Но это еще не все. Было бы и тогда весьма нелегко извлечь все, что нужно, из подготовленного таким образом субъекта и суметь так тонко поставить вопросы, чтобы он рассказал в точности то, что происходит в нем. Этот опрос должен был бы происходить в присутствии целой академии; или, лучше, чтобы не иметь лишних зрителей, надо было бы пригласить на это заседание лишь тех, кто заслуживает этого по своим философским, анатомическим и т. д. знаниям. Для этого нужны были бы самые опытные люди и лучшие умы. Подготовить и расспросить слепорожденного было бы занятием, вполне достойным соединенных талантов Ньютона, Декарта, Локка и Лейбница.

Я закончу это и без того уже растянувшееся письмо одним вопросом, который ставится с давних пор. Некоторые размышления об особенном состоянии Саундерсона убедили меня, что этот вопрос не был никогда полностью разрешен. Предположим, что перед нами уже взрослый слепорожденный, которого научили отличать, при помощи осязания, куб от шара, составленного из того же самого металла и почти той же самой величины, так что, когда он касается обоих этих предметов, он может сказать, какой из них куб и какой—шар. Предположим, что этот куб и шар находятся на столе и что наш слепой вдруг получил возможность видеть. И вот спрашивается: смог ли бы он на основании одного лишь зрения, не касаясь этих предметов, отличить их друг от друга и сказать, какой из них куб, а какой—шар?

Г-н Молине, первый предложивший этот вопрос, пытался дать ответ на него. Он утверждал, что слепой не сумеет отличить шара от куба, «так как,—говорил он,—хотя путем опыта он узнал, каким образом воздействуют на его осязание шар и куб, однако он не знает, что то, что воздействует таким-то определенным образом на его осязание, должно действовать на его глаза таким-то другим опреде-

ленным образом; и точно так же он не знает, что выдающийся угол куба, оказывающий неравномерное давление на его руку, должен казаться его глазам таким, каким он кажется.

Локк, которому задали этот самый вопрос, сказал: «Я вполне согласен с Молине. Я думаю, что слепой не сумел бы, в первый раз по получении зрения, сказать с какой-либо степенью достоверности, какой из предметов куб, а какой—шар, если бы он ограничился только показаниями зрения, хотя при прикосновении он сумел бы, наверное, отличить и назвать их на основании различия фигур, которое открыло бы ему чувство осязания».

Г-н аббат Кондильяк, «*Опыт о происхождении человеческих знаний*» которого вы прочли с таким удовольствием и пользой, и превосходный «*Трактат о системах*» которого я посылаю вам при этом письме, придерживается на этот счет особого мнения. Бесплезно было бы приводить вам доводы, которыми он руководствуется; это значило бы лишить вас удовольствия прочесть произведение, в котором они изложены столь приятным и философским образом, так как я своей передачей рисковал бы лишь испортить ваше впечатление. Поэтому я ограничусь лишь указанием, что всеми этими доводами он стремится доказать, что слепорожденный либо ничего не увидит, либо же увидит шар и куб различными, и что условие, будто оба эти тела должны быть из одного и того же металла и почти одинаковой величины, которое почему-то включили в данную задачу,—совершенно излишне; и это верно, ведь,—мог бы он сказать,—если нет никакой существенной связи между ощущением зрения и ощущением осязания, как это утверждают гг. Локк и Молине, то следует признать, что можно, руководствуясь зрением, считать тело, которое легко прикрыть кистью руки, величиною в два фута. Однако г. де-Кондильяк прибавляет, что если слепорожденный видит тела, различает фигуры их и колеблется высказать свое суждение о них, то лишь в силу довольно тонких метафизических соображений, которые я вам сейчас же разъясню.

Итак, вот два различных взгляда по одному и тому же вопросу, высказываемых первоклассными философами. Казалось бы, что после того, как этот вопрос разбирали такие люди, как гг. Молине, Локк и аббат де-Кондильяк, в нем не должно быть ничего неясного, однако одну и ту же вещь можно рассматривать со столь многочисленных точек зрения, что неудивительно, если они не исчерпали их все.

Утверждавшие, что слепорожденный способен отличать куб от шара, исходили из допущения некоторого факта, который, может быть, следовало бы сперва разобрать, а именно, следовало бы выяснить, способен ли слепорожденный, у которого сняли катаракту, воспользоваться своими глазами в первые моменты после операции. Сторонники этого взгляда сказали только следующее: «Слепорожденный, сравнивая полученные им путем осязания представления с представлениями о них, получаемыми при помощи зрения, должен непре-

менно понять, что он имеет дело с одними и теми же представлениями; и было бы странно с его стороны утверждать, будто куб дает его зрению представление о шаре, а шар—представление о кубе. Поэтому при пользовании зрением он назовет шаром и кубом то, что он называл шаром и кубом при пользовании осязанием».

Какие же доводы противопоставляли им в ответ их противники? Они тоже предполагали, что слепорожденный станет видеть немедленно после операции. Они вообразили себе, что с глазом, с которого сняли катаракту, происходит то же самое, что с рукой, которая перестала быть парализованной: подобно тому, как рука не нуждается в упражнении, чтобы чувствовать, так и глаз не нуждается в упражнении, чтобы видеть. Но они прибавили к этому: «Допустим, что слепорожденный несколько более философ, чем вы это признаете; продолжив ваше рассуждение, он сможет сказать следующее: «Откуда я знаю, что, если я подойду ближе к этим телам и положу свои руки на них, они внезапно не обманут моего ожидания, и куб не даст мне ощущения шара, а шар—ощущения куба? Только опыт может показать мне, имеется ли соответствие между зрением и осязанием; ведь эти два чувства могут, вопреки моим ожиданиям, противоречить друг другу; может быть, я решил бы даже, что то, что представляется в данный момент моему зрению, лишь простая видимость, если бы мне не сообщили, что это те самые тела, которых я раньше касался пальцами. Вот это тело, кажется мне, должно быть тем, что я называю кубом, а то другое—тем, что я называю шаром; но ведь меня не спрашивают о том, что мне кажется, а о том, что есть на самом деле; а на этот последний вопрос я совершенно не в состоянии ответить».

Это рассуждение, говорит автор «*Опыта о происхождении человеческих знаний*», способно привести в замешательство слепорожденного, и только опыт, по моему мнению, может дать ответ на него. Несомненно, г. аббат де-Кондильяк имеет в виду здесь повторный опыт самого слепорожденного, состоящий во вторичном прикосновении к испытываемым телам. Вы сейчас поймете смысл моего замечания. Впрочем, этот талантливый метафизик мог бы прибавить, что для слепорожденных нет ничего нелепого в допущении противоречия между обоими этими чувствами, тем более, что они думают, как я уже заметил выше, будто зеркало ставит их действительно в такое противоречие.

Г-н де-Кондильяк замечает далее, что г. Молине усложнил вопрос различными условиями, которые не могут ни предотвратить, ни устранить затруднений, возникающих у философствующего слепорожденного. Это замечание тем более верно, что предполагаемое у слепорожденного философское размышление вполне уместно, ибо для этих вопросов философского порядка опыты следовало бы производить всегда над философом, т. е. над человеком, способным находить в задаваемых ему вопросах все то, что позволяет в них заметить логика и состояние его органов.

Вот, сударыня, вкратце все доводы за и против, высказанные в связи с этим вопросом. Я разберу эти доводы, и вы увидите, насколько лица, утверждавшие, что слепорожденный способен видеть фигуры и различать тела, были далеки от понимания своей правоты, и насколько лица, отрицавшие это, имели основание думать, что они не ошиблись.

В вопросе о слепорожденном,—если посмотреть на него с несколько более широкой точки зрения, чем это сделал г. Молине,—заклучаются два других вопроса, которые мы разберем каждый в отдельности. Можно спросить: 1) будет ли слепорожденный видеть немедленно после того, как произведена операция снятия катаракты; 2) в случае утвердительного ответа, будет ли он видеть настолько хорошо, чтобы различать фигуры, сумеет ли он при виде их называть их с уверенностью теми же именами, которыми он называл при прикосновении, и будет ли он в состоянии доказать то, что эти имена подходят к ним.

Будет ли слепорожденный видеть немедленно после исцеления его органа зрения? Утверждающие, что он не будет видеть, рассуждают следующим образом: «Как только слепорожденный приобретет способность пользоваться своими глазами, все находящееся перед ним в перспективе зрелище отразится в глубине его глаз. Картина эта, составленная из бесконечного множества предметов, скученных на небольшом пространстве, представляет смутную грудку фигур, которые он не сумеет отличить друг от друга. Почти все признают то, что лишь опыт может научить его судить о расстоянии предметов и что он даже вынужден приблизиться к ним, прикоснуться к ним, удалиться от них, затем снова приблизиться и снова прикоснуться к ним, чтобы убедиться, что они не составляют части его самого, что они находятся вне его существа и что он то близок к ним, то далек от них. Почему же думать, что опыт ему не нужен, чтобы заметить их? Не будь опыта, человек, видящий предметы в первый раз, должен был бы вообразить,—если они удаляются от него или он удаляется от них, так что они выходят из поля зрения его,—что они перестали существовать, ибо только наш опыт над предметами, которые мы застаем на том же самом месте, где оставили, убеждает нас в том, что они продолжают существовать и тогда, когда мы удаляемся от них. Может быть, благодаря этому так быстро утешаются дети, когда у них отнимают игрушки. Неверно думать, будто они быстро забывают их; ведь если принять во внимание, что есть дети двух с половиной лет от роду, которые знают значительную часть слов какого-либо языка, и что им труднее произносить эти слова, чем запомнить их, то легко согласиться с тем, что время детства—это время сильно развитой памяти. Не естественней ли поэтому предположить, что дети воображают, будто то, что они перестают видеть, перестало существовать, тем более, что радость их смешана, кажется, с восхищением, когда вновь появляются предметы, которые они потеряли из виду? Их кормилицы помогают им приобрести понятие об отсутствующих существах, играя с ними в маленькую игру,

состоящую в том, чтобы закрывать свое лицо и вдруг открывать его. Благодаря этому дети сотни раз в течение какой-нибудь четверти часа убеждаются, что то, что перестает быть видимым, не перестает от этого существовать. Отсюда следует, что мы обязаны опыту понятием о непрерывном существовании предметов; что путем прикосновения мы приобретаем понятие об их расстоянии; что, может быть, глазу необходимо научиться видеть, точно так, как языку научиться говорить; что не было бы ничего удивительного в необходимости помощи со стороны одного из этих чувств другому и что, может быть, осязание, убеждающее нас в существовании предметов вне нас, когда они имеются перед нашими глазами, является также тем чувством, которое должно не только свидетельствовать нам об их фигурах и других свойствах, но даже подтверждать наличие их».

К этим рассуждениям присоединяют знаменитые опыты Чезельдена. Молодой человек, у которого этот искусный хирург снял катаракту, в течение долгого времени не различал ни размеров, ни расстояний, ни положений, ни даже фигур. Когда перед его глазами ставили предмет, величиной в дюйм, закрывавший от него какой-нибудь дом, то он казался ему величиной с этот дом. Все предметы были у него на его глазах, и ему казалось, что они приложены к этому органу, точно так, как воспринимаемые осязанием предметы прикладываются к ксже. Он не мог отличить того, что считал на основании показания рук круглым, от того, что считал угловатым, и точно так же не мог отличить глазами, было ли в действительности сверху или внизу то, что воспринималось осязанием сверху или внизу. Он лишь с трудом пришел к убеждению, что его дом был больше, чем его комната, но он совершенно не мог понять того, каким образом глаз мог дать ему представление об этом. Потребовалось множество повторных опытов, чтобы он убедился, что живопись изображает трехмерные тела, и, когда, разглядывая много раз картины, он удостоверился, что видит перед собою не только поверхности, и положил на них руку, то был очень удивлен, встретив перед собою гладкую плоскость, не представлявшую никаких выступов. Он спросил тогда, что же обманывало его—чувство ли осязания или чувство зрения? Впрочем, живопись произвела то же самое впечатление на дикарей. Когда они впервые увидели картины, то они приняли нарисованные фигуры за живых людей, стали расспрашивать их и были очень удивлены, не получая от них никакого ответа. Конечно, ошибка эта происходила у них не оттого, что у них не было привычки видеть.

Но как ответить на другие трудности? Действительно, опытный глаз взрослого человека дает ему возможность лучше видеть предметы, чем неопытный, неискушенный глаз ребенка или слепорожденного, у которого сняли катаракту. Прочтите, сударыня, все доводы г. аббата де-Кондильяка в конце его *«Опыта о происхождении человеческих знаний»*, где он разбирает опыты Чезельдена, изложенные г. де-Вольтером. Здесь изображены с большой ясностью и убедительностью дей-

ствие света на глаз, впервые его воспринимающий, и условия, зависящие от жидкостей этого органа, от роговой оболочки, хрусталика и т. д.; все это не позволяет сомневаться в том, что процесс зрения бывает очень несовершенным у ребенка, открывающего глаза в первый раз, или у слепого, которому произвели операцию.

Таким образом, надо признать, что мы замечаем в предметах бесконечное множество вещей, которых не видят в них ни ребенок, ни слепорожденный, хотя вещи эти и отображаются в глубине их глаз; что недостаточно, чтобы предметы поражали наше зрение, а необходимо еще, чтобы мы относились внимательно к впечатлениям от них; что, следовательно, ничего не видишь, когда в первый раз пользуешься своими глазами; что в первые моменты зрение дает только множество смутных ощущений, которые проясняются лишь с течением времени благодаря привычке размышлять над тем, что происходит в нас; что только опыт научает нас сравнивать ощущения с тем, что вызывает их; что так как ощущения не имеют ничего существенно общего с предметами, то лишь опыт научает нас аналогиям, которые, повидимому, носят условный характер. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что осязание сильно содействует глазу в приобретении точных познаний насчет соответствия между предметом и получаемым от него представлением. Я думаю, что если бы в природе все совершалось не согласно бесконечно общим законам, что если бы, например, укол от известных твердых тел был болезненным, а укол от других тел сопровождался удовольствием, то мы умерли бы, не собрав и стомиллионной части опыта, необходимого для сохранения нашего тела и для нашего благополучия.

Однако я вовсе не думаю, будто глаз не способен научиться и, если можно так выразиться, набраться опыта у самого себя. Чтобы убедиться путем осязания в существовании предметов и распознать их фигуры, нет нужды видеть их; почему же необходимо прикасаться к предметам, чтобы убедиться в том же самом при помощи зрения? Я знаю все преимущества осязания, и я не скрывал их, когда речь шла о Саундерсоне и о слепом из Люизо; но указанного сейчас преимущества я не признаю за ним. Можно легко согласиться с тем, что пользование каким-нибудь чувством может быть усовершенствовано и ускорено благодаря наблюдениям другого чувства, но это вовсе не значит, что между их функциями есть какая-то существенная зависимость. Разумеется, в телах есть такие свойства, которых мы никогда не заметили бы без прикосновения к ним: так, именно осязание указывает нам на наличие известных особенностей, незаметных для глаз, которые оказываются в состоянии заметить их лишь тогда, когда осязание предупреждает их об этом. Но эти услуги взаимны у людей, у которых зрение более тонко, чем осязание: именно первое из этих чувств указывает другому на существование таких предметов и особенностей, которые сами по себе ускользнули бы от него благодаря своему малому размеру. Если бы без вашего ведома вложили между вашими большим и указательным пальцами кусок

бумаги или какого-нибудь другого гладкого, тонкого и гибкого вещества, то только ваш глаз мог бы сообщить вам, что пальцы не соприкасаются между собой непосредственным образом. Замечу мимоходом, что в этом случае гораздо труднее было бы обмануть слепого, чем человека зрячего.

Существуй отдельно живой и одушевленный глаз, он, без сомнения, лишь с трудом убедился бы в том, что внешние предметы не составляют части его самого; что он то близок к ним, то далек от них; что они обладают фигурой; что одни из них больше, чем другие; что они обладают глубиной и т. д. Но я несколько не сомневаюсь в том, что в конце концов он увидел бы их и увидел бы достаточно отдельно, чтобы отличать, по крайней мере грубо, их границы. Отрицать это значило бы терять из виду назначение органов чувств, забывать главные явления зрения. Это значило бы не видеть того, что нет столь искусного художника, который мог бы воспроизвести красоту и точность миниатюр, отражающихся в глубине наших глаз; что нет ничего более точного, чем сходство этих изображений с изображаемыми предметами, что полотно этой картины не так уж мало; что нет никакого смещения фигур; что они занимают почти половину квадратного дюйма и что вообще невозможно объяснить, как могло бы осязание научить глаз видеть, если бы сам глаз был абсолютно неспособен обойтись без помощи осязания.

Но я не ограничусь простыми предположениями и спрошу: осязание ли научает глаз различать цвета? Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь приписал осязанию такое необычайное преимущество: если допустить его, то достаточно показать слепорожденному, которому произвели операцию, на большом белом фоне черный куб и красный шар, чтобы он не замедлил различить границы этих фигур.

Он будет медлить, могут мне ответить, и именно все то время, которое необходимо жидкостям глаза, чтобы усвоить соответствующее положение; роговой оболочке, чтобы принять необходимую для зрения кривизну; зрачку, чтобы стать способным расширяться или суживаться надлежащим образом; волокнам сетчатки, чтобы не быть ни слишком чувствительными, ни слишком мало чувствительными по отношению к действию света; хрусталику, чтобы произвести те движения вперед и назад, которые ему приписываются; мускулам, чтобы правильно выполнять свои функции; зрительным нервам, чтобы привыкнуть передавать ощущения; всему главному яблоку, чтобы приспособиться к различным необходимым конфигурациям; всем составляющим его частям, чтобы содействовать получению той миниатюры, которая так полезна, когда требуется доказать, что глаз учится у самого себя.

Я готов согласиться, что, как бы проста ни была картина, которую я покажу слепорожденному, он сумеет отличить части ее лишь тогда, когда орган зрения будет располагать всеми вышеуказанными условиями; но, может быть, на выполнение их требуется всего лишь одно

мгновение. Ведь нетрудно было бы, применяя вышеизложенное рассуждение к какой-нибудь более или менее сложной машине,—например, к часам,—доказать, исходя из анализа всех движений, происходящих в коробке, облегающей пружину, в шпинделе, колесиках, пластинках, маятнике и т. д.,—нетрудно было бы доказать, что стрелке потребуется пятнадцать дней, чтобы пройти расстояние в одну секунду. Если мне скажут, что эти движения происходят одновременно, то я отвечу на это, что, может быть, одновременно и движения в глазу, когда он открывается в первый раз, и что это относится и к большинству образующихся у нас на основании этого суждений. Но что бы ни думать относительно условий, требуемых от глаза, чтобы он был способен видеть, необходимо, во всяком случае, признать, что он их получает не от осязания, а от самого себя, и что, следовательно, глаз научается различать фигуры, отражающиеся в глубине его, без помощи другого органа чувств.

Но, скажут, когда же он научится этому? Может быть, гораздо скорее, чем это думают. Помните ли вы, сударыня, наш опыт с вогнутым зеркалом, когда мы вместе с вами посетили кабинет в Королевском Саду? Помните ли вы испуг, когда вы увидели, что к вам приближается острое шпаги с той же самой быстротой, с какой приближалось к поверхности зеркала острое той шпаги, которую вы держали в руке? Однако вы обладали уже привычкой относить к пространству вне поверхности зеркал все те предметы, которые в них отражаются. Таким образом, чтобы замечать предметы или их образы там, где они находятся, опыт не так необходим и не так непогрешим, как это думают. Даже ваш попугай может послужить доказательством этого. В первый раз, когда он увидел себя в зеркале, он приблизил к нему свой клюв и, не задев самого себя, которого он принял за другого попугая, он обошел зеркало сзади. Я не желаю приписывать свидетельству попугая больше силы, чем оно имеет. Но все же в этом опыте с животным не может быть и речи о каком-нибудь предвзятом мнении.

Однако если бы мне сказали, что какой-нибудь прозревший слепорожденный не различал ничего в течение двух месяцев, то я несколько не удивился бы этому. Я сделал бы только вывод, что необходимо упражнять орган, но что для упражнения его вовсе не нужны приспособления. Я только больше убедился бы в том, что важно дать слепорожденному оставаться некоторое время в темноте, если желают производить над ним наблюдения; что важно дать его глазам свободу упражняться,—а это ему удобнее делать во мраке, чем при дневном свете,—и разрешить ему при этих опытах своего рода сумерки или же возможность увеличивать, либо уменьшать по произволу—по крайней мере, в том месте, где будут происходить опыты,—силу света. Я только настойчивее буду утверждать, что такого рода опыты всегда представляют большие трудности и оказываются весьма ненадежными и что самый короткий фактически—хотя по видимости самый долгий—путь это обеспечить испытуемого субъекта философскими

знаниями, которые дадут ему возможность сравнить между собою оба состояния, через которые он прошел, и рассказать нам о различии между самочувствием слепого и зрячего человека. Еще раз: чего можно ожидать от человека, который не привык размышлять и анализировать свои собственные переживания и который, подобно слепому Чезельдена, не зная преимуществ зрения, совершенно не чувствует поэтому своей тяжелой доли и не представляет себе, что отсутствие зрения лишает его многих наслаждений? Саундерсон, которому, конечно, никто не откажет в звании философа, не относился, разумеется, с таким же равнодушием к своей слепоте, и я очень сомневаюсь, чтобы он согласился со взглядами автора превосходного *«Грактата о системах»*. Я готов заподозрить, что этот автор сам стал жертвой жалкой теории, когда он начал уверять, «что если бы жизнь человека была лишь непрерывным ощущением удовольствия или страдания, то будучи в первом случае счастливым, без всякой идеи о несчастье а во втором случае—несчастливым, без всякой идеи о счастье, он просто наслаждался бы или страдал, и что при этом предположении он не стал бы смотреть вокруг себя, чтобы убедиться, не заботится ли какое-нибудь существо о его сохранении или не старается ли оно повредить ему; и что только попеременный переход от одного из этих состояний к другому научил его размышлять и т. д...»

Думаете ли вы, сударыня, что, переходя от одного ясного восприятия к другому ясному восприятию (ведь таков метод философствования нашего автора—метод хороший), он пришел бы когда-нибудь к этому выводу? Счастье и несчастье не относятся друг к другу так, как мрак и свет; одно не является просто отсутствием другого. Может быть, мы убедились бы, что счастье столь же необходимо нам, как существование и мысль, если бы мы им наслаждались без всякой помехи. Но я не могу сказать того же самого относительно несчастья. Было бы весьма естественно считать его чем-то извне нам навязанным, чувствовать себя невинным, но признавать себя, однако, виновным и обвинять или извинять природу, т. е. поступать так, как обычно поступают.

Неужели г. аббат де-Кондильяк думает, будто ребенок жалуется, когда страдает, лишь потому, что он не страдал непрерывно со дня своего рождения? Если он мне ответит, «что существование и страдание были бы чем-то тождественным для страдающего без перерыва человека, и он не способен был бы представить себе, что можно прекратить его страдания, не разрушая его существования», то я ему возражу: «Может быть, человек, испытывающий бесперывное горе, не скажет: что я сделал такого, чтобы страдать? но кто помешает ему сказать: что я сделал такого, чтобы существовать? Однако я не вижу, почему он не мог бы пользоваться обоими синонимичными глаголами— *я существую* и *я страдаю*, одним из них для прозы, другим для поэзии, подобно тому как мы пользуемся двумя выражениями: *я живу* и *я дышу*». Впрочем, вы убедитесь сами, сударыня, и даже лучше, чем я, что этот отрывок г. аббата де-Кондильяка написан превосходно,

и я опасуюсь, чтобы, сравнивая мою критику с его рассуждением, вы не сказали, что вы все же предпочитаете заблуждение в устах Монтэня истине в устах Шаррона.

Вы опять-таки уклонились в сторону, скажете вы мне. Да, сударыня, но таковы условия нашей беседы. Однако вот вам теперь мое мнение о двух поставленных выше вопросах. Я думаю, что когда глаза слепорожденного впервые откроются для света, то он не увидит ровно ничего; что его глазу потребуется известное время, чтобы набраться опыта, но что он наберется опыта у самого себя, без помощи чувства осязания, и что он научится не только различать цвета, но различать, по меньшей мере в грубых чертах, границы предметов. Теперь посмотрим, сумеет ли он—в предположении, что он приобрел эту привычку в очень короткое время или же что получил ее, упражняя свои глаза во мраке, куда его заключили бы, уговорив упражняться в этом в течение некоторого времени после операции и до опытов над ним,—посмотрим, спрошу я, сумеет ли он узнать при помощи зрения тела, которых он касался, и сможет ли он назвать их соответствующими им именами. Мне остается решить этот последний вопрос.

Желая покончить с этим вопросом так, чтобы угодить вам,—ведь вы любите методичность,—я буду различать несколько типов людей, над которыми можно производить опыты. Я думаю, что если мы будем иметь дело с грубыми, невежественными, необразованными, неподготовленными людьми, то после операции снятия катаракты, когда глаз станет здоровым, предметы в нем будут отражаться вполне отчетливо. Но так как эти люди совершенно не привыкли рассуждать, так как они не знают, что такое ощущение, представление, так как они не в состоянии сравнивать представлений, полученных ими путем прикосновения, с представлениями, полученными при посредстве глаз, то они будут говорить: «Вот круг, вот квадрат», причем совершенно нельзя будет полагаться на их суждение; или же они даже станут наивно сознаваться, что не замечают в видимых ими предметах ничего похожего на то, к чему они раньше прикасались.

Есть другие люди, которые, сравнивая зрительные впечатления от тел с впечатлениями, полученными их руками, и прилагая мысленно свое осязание к этим находящимся на известном расстоянии от них телам, скажут, что одно тело—это квадрат, другое—круг, но не будут знать толком, почему они это говорят: ведь сравнение представлений, полученных ими путем осязания, с представлениями, полученными путем зрения, не происходит в них настолько отчетливо, чтобы они могли убедиться в истинности своего суждения.

Теперь, сударыня, я перейду без всяких отступлений к метафизике, над которым стали бы проделывать этот опыт. Я несколько не сомневаюсь в том, что с той самой минуты, как он стал бы различать предметы, он начал бы рассуждать по поводу них так, точно он их видел всю свою жизнь, и что, сравнив между собой представления, полученные им при помощи зрения, с представлениями,

полученными при помощи осязания, он сказал бы с той же уверенностью, как вы и я: «Я сильно склонен думать, что вот это есть тело, которое я всегда называл кругом, а вот то—тело, которое я всегда называл квадратом; но я не решусь утверждать, что это именно так. Откуда я знаю, что, если я приближусь к ним, они не исчезнут вдруг в моих руках? Откуда я знаю, что предметы моего зрения должны быть также предметами моего осязания? Я не знаю, осязаемо ли видимое мной. Но если бы я даже знал это и если бы я поверил на-слово окружающим, что то, что я вижу, есть действительно то, к чему я прикасался, то это не подвинуло бы меня далеко вперед. Эти предметы могли бы отлично подвергнуться превращению в моих руках и через посредство осязания дать мне ощущения, совершенно противоположные тем, которые я испытывал при помощи зрения. Господа,—мог бы он прибавить,—вот это тело кажется мне квадратом, а вот то—кругом, но я совершенно не уверен в том, что они таковы же для осязания, как и для зрения».

Если мы на место метафизика поставим математика, на место Локка—Саундерсона, то, подобно последнему, он скажет, что если решиться верить своим глазам, то из двух видимых фигур одна—это та, которую он называл квадратом, а другая—та, которую он называл кругом, «ибо я замечая,—прибавил бы он,—что лишь в первой я могу натянуть нити и поместить булавки с большой головкой, которыми я отмечал угловые точки квадрата, и что лишь во второй я могу вписать или описать около нее нити, которые мне были необходимы, чтобы доказать свойства круга. Вот это—круг! Вот это—квадрат! Но,—мог бы он прибавить вместе с Локком,—возможно, что если я приложу свои руки к этим фигурам, то они превратятся одна в другую, так что одна и та же фигура сможет служить мне для того, чтобы доказать слепым свойства круга, а зрячим—свойства квадрата. Может быть, глазами я буду видеть квадрат, а в то же время руками буду осязать круг. Нет,—поправил бы он себя,—я ошибаюсь. Те лица, которым я доказывал свойства круга и квадрата, не держали своих рук на моей счетной доске и не трогали нитей, которые я натянул и которые ограничивали мои фигуры; однако они меня понимали. Следовательно, они не видели квадрата там, где я осязал круг, ибо иначе мы никогда не столковались бы между собой, иначе я им нарисовал бы одну фигуру и доказал бы свойство другой; я выдал бы им прямую линию за дугу окружности, а дугу—за прямую линию. Но так как они все понимали меня, то, значит, все люди видят одинаково, и, значит, я вижу квадратным то, что они видели квадратным, и круглым то, что они видели круглым. Итак, вот, что я всегда называл квадратом, и вот, что я всегда называл кругом».

Я подставил круг на место шара и квадрат на место куба, потому что, по всей вероятности, мы судим о расстоянии лишь на основании опыта, и, следовательно, тот, кто пользуется своими глазами в первый раз, видит лишь поверхности и не знает, что такое выступы, ибо

для зрения выступ какого-нибудь тела заключается в том, что некоторые из его точек кажутся нам ближе, чем другие.

Но если бы даже слепорожденный мог с первого же момента своего прозрения судить о выступах и трехмерности тел, если бы он был в состоянии отличать не только круг от квадрата, но и шар от куба, то я все же не думаю, чтобы он сумел разбираться таким же образом в любом другом, более сложном предмете. Слепорожденная г. де-Реомюра, повидимому, различала цвета, но можно ставить тридцать против одного, что она говорила наугад названия шара и куба, и я убежден,—если только не верить в чудо откровения,—что она не могла узнать своих перчаток, свое домашнее платье и свой башмак. У этих предметов столько особенностей, так мало общего между их формой в целом и формой частей тела, которые они украшают или покрывают, что Саундерсону было бы в сто раз труднее определить назначение своего берета, чем Даламберу или Клеро найти назначение его досок.

Саундерсон не преминул бы предположить, что существует некоторое геометрическое отношение между вещами и их употреблением; поэтому, на основании двух или трех аналогий, он умозаключил бы, что его ермолка сделана для его головы: здесь нет никаких производных форм, способных сбить его с толку. Но что он мог бы подумать об углах и о кисточке своего берета? К чему этот пучок?—мог бы он спросить себя. Почему четыре угла, а не шесть? Обе эти детали, являющиеся для нас просто предметом украшения, послужили бы для него источником самых нелепых рассуждений или, вернее, поводом для прекрасной сатиры на то, что мы называем хорошим вкусом.

При зрелом обсуждении вопроса надо признать, что различие между человеком, который всегда видел, но которому неизвестно назначение какого-нибудь предмета, и человеком, который знает назначение известного предмета, но который никогда не видел,—не в пользу последнего. Однако, как вы думаете, сударыня, если бы вам сегодня впервые показали какое-нибудь украшение, догадались ли бы вы, что это убор, и притом головной убор? Но если прозревшему слепорожденному, видящему в первый раз, тем труднее правильно судить о предметах, чем больше в них деталей, то что помешало бы ему принять одетого и сидящего неподвижно в кресле перед ним наблюдателя за мебель или за машину, а дерево, листья и ветви которого качались бы от ветра,—за движущееся, одушевленное и мыслящее существо? Сударыня, чего только ни сообщают нам наши чувства и как трудно было бы нам без глаз заключить, что мраморная глыба не мыслит и не чувствует!

Итак, можно считать доказанным, что Саундерсон, наверное, не ошибся бы только в своем суждении насчет круга и квадрата. и что бывают такие случаи, где рассуждение и опыт других людей могут помочь зрению разобраться в показаниях осязания и сообщить ему,

что то, что носит известный характер для глаза, носит такой же характер и для осязания.

Однако было бы очень важно, когда желают доказать какую-нибудь так называемую вечную истину, проверить это доказательство путем отказа от свидетельства чувств, ибо вы отлично знаете, сударыня, что если бы кто-нибудь захотел доказать вам, что проекция двух параллельных прямых на доске сводится к двум сходящимся прямым, на том основании, что такими же кажутся нам две аллеи, то это означало бы с его стороны непонимание того, что это предположение столь же истинно для слепого, как и для него самого.

Но наша гипотеза о слепорожденном наводит на мысль о двух других гипотезах: во-первых, о человеке, который видел бы со дня рождения, но был бы лишен чувства осязания, и, во-вторых, о человеке, у которого зрение и осязание вечно противоречили бы друг другу. Относительно первого можно было бы задать вопрос, узнал ли бы он тела при помощи осязания, если бы ему сообщили нехватящее ему чувство и лишили его зрения при помощи повязки. Ясно, что если бы он знал математику, то она дала бы ему безошибочное средство проверить то, противоречат ли друг другу или нет показания обоих чувств. Ему достаточно было бы для этого взять в руки куб или шар и доказать кому-нибудь свойства его и сказать,—предполагая, что его понимают,—что другие должны видеть кубом то, что он осязает в качестве куба, и что, следовательно, он держит в своих руках куб. Что касается человека, не знакомого с геометрией, то я думаю, что ему не легче было бы отличить путем осязания куб от шара, чем слепому г. Молине отличить их друг от друга путем зрения.

Что касается человека, у которого чувства зрения и осязания находились бы в постоянном противоречии друг с другом, то я не знаю, что он стал бы думать о формах, порядке, симметрии, красоте, безобразии и т. д. По всей вероятности, он находился бы в таком же положении по отношению к этим вещам, в каком мы находимся по отношению к реальной длительности и протяженности существ. Он мог бы вообще утверждать, что известное тело имеет форму, но он должен был бы склоняться к мысли, что это не та форма, которую он видит, и не та, которую он осязает. Такой человек мог бы быть недоволен своими чувствами, но его чувства не были бы ни довольны, ни недовольны предметами. Если бы он захотел обвинить какое-нибудь из них в лживости,—я думаю, что он обрушился бы на чувство осязания. Он имел бы сотни поводов думать, что фигура предметов изменяется скорее под влиянием действия его рук на них, чем под влиянием действия предметов на его глаза. Но в силу этого предубеждения ему очень трудно было бы разобраться в значении разницы между твердым и мягким, наблюдаемой им в различных телах.

Но из того, что наши чувства не противоречат друг другу в вопросе о формах, следует ли, что эти последние нам лучше известны? Кто нам сказал, что мы не имеем дела с лжесвидетелями? И тем не менее мы судим. Увы, сударыня, когда кладешь человеческие позна-

ния на весах Монтэня, то приходится согласиться с его изречением. В самом деле, что мы знаем? Знаем ли мы, что такое материя? Нет. А что такое дух и мысль? Еще того меньше. А что такое движение, пространство, время? Ровно ничего не знаем. А геометрические истины? Расспросите добросовестных математиков, и они вам сознаются, что все их теоремы представляют тождества и что бесчисленное множество исследований о круге, например, сводится к повторению на сотни тысяч различных ладов того, что это—фигура, в которой прямые, проведенные от центра к периферии, равны между собой. Таким образом, мы не знаем почти ничего. Однако сколько написано сочинений, авторы которых утверждают, что они что-то знают! Я не понимаю, как это людям не наскучит читать, не научаясь при этом ровно ничему, если только не предположить, что в основе здесь лежит то самое соображение, в силу которого я имею честь уже целых два часа беседовать с вами, не скучая сам, но в то же время ничего не говоря вам.

Остаюсь с глубоким уважением, сударыня, вашим покорнейшим и преданнейшим слугой.

* * *

ФАКТЫ

I. Один художник, основательно владеющий теорией своего искусства и не уступающий никому другому в умении применять ее, уверял меня, что он судит о круглости сосновых шишек при помощи осязания, а не зрения. Он их тихонько катает между большим и указательным пальцами, различая, путем последовательных ощущений, небольшие неровности, которые ускользают от его глаз.

II. Мне рассказывали об одном слепом, который различал на ощупь цвета материй.

III. Я мог бы привести в пример одного слепого, различавшего букеты с той тонкостью, которой хвалился Жан-Жак Руссо, когда он—в шутку или серьезно—сообщал своим друзьям план открытия школы для обучения парижских цветочниц.

IV. В городе Амьене один слепой мастер управлял многолюдной мастерской с таким умением, точно он вполне владел своими глазами.

V. У одного зрячего зрение мешало верности руки: чтобы побрить себе голову, он убирал зеркало и становился перед голой стеной. Так как слепой не видит опасности, то он оказывается благодаря этому бесстрашным, и я не сомневаюсь, что слепой мог бы ступать твердым шагом по узким и гибким доскам, переброшенным в виде моста через пропасть. Мало людей, у которых не темнело бы в глазах на большой высоте.

VI. Кто не знал или не слышал о знаменитом Давиеле? Я не раз присутствовал при его операциях. Он снял катаракту у одного кузнеца, получившего ее вследствие постоянной работы у горнила. За двадцать пять лет слепоты кузнец этот так привык пользоваться осязанием, что можно было только насильно заставить его пользоваться возвращенным ему органом зрения. Давиель говорил ему, колотя его: «Будешь ли ты, наконец, смотреть, мучитель!..» Он ходил, он действовал, он делал с закрытыми глазами все то, что мы делаем с открытыми глазами.

Отсюда можно было бы заключить, что глаза вовсе не так необходимы для наших потребностей и не так существенны для нашего счастья, как мы готовы думать об этом. Есть ли на свете что-нибудь такое, к потере чего мы не стали бы равнодушными благодаря долгому лишению, не сопровождаемому никаким страданием, раз зрелище природы не представляло больше прелестей для оперированного Давиелем слепого? Может быть, созерцание дорогой нам женщины? Я этому нисколько не верю, какие бы выводы ни сделали из факта, который я собираюсь сейчас рассказать. Воображают, что если кто-нибудь провел долгое время без зрения, то, с возвращением

последнего, он без устали будет смотреть,—но это неверно. Какое огромное различие между кратковременной слепотой и слепотой привычной!

VII. Благодаря доброте Давиеля к нему стекались из всех провинций Франции бедные больные с мольбою о помощи. Его репутация собирала в его операционной любознательную, просвещенную и многочисленную публику. Мне помнится, что однажды я присутствовал у него на операции вместе с г. Мармонтелем. Больной сидел. Вот у него снята катаракта, и Давиель положил свою руку на глаза его, только что открывшиеся для света. Одна престарелая женщина, стоя рядом с больным, проявляла живейший интерес к успеху операции. При каждом движении оператора она дрожала всеми своими членами. И вот хирург делает ей знак, чтобы она приблизилась, и ставит ее на колени против оперированного больного; он отнимает свои руки, больной раскрывает глаза, смотрит и восклицает: «Ах, это моя мать!..» Я никогда не слышал более патетического крика; мне кажется, что я все еще слышу его. Старая женщина упала в обморок, слезы полились из глаз присутствующих, и кошельки их щедро раскрылись.

VIII. Из всех лиц, лишенных зрения со дня рождения, самой удивительной была—и будет—мадемуазель Мелани де-Салиньяк, родственница г. де-Лафарга, генерал-лейтенанта королевской армии, покрытого ранами и почестями старца, умершего на 91-м году от роду. Она дочь госпожи де-Бласи, живущей еще и ныне и не проводящей и дня без скорби о ребенке, который составлял утешение ее жизни и предмет восхищения всех ее знакомых. Госпожа де-Бласи—женщина, выдающаяся своими моральными качествами; ее можно расспросить о правдивости моего рассказа. Я изложил под ее диктовку подробности жизни мадемуазель де-Салиньяк, которые могли ускользнуть от меня самого в период близкого знакомства с ней и ее семьей с 1760 до 1763 г., года ее смерти.

Она была очень рассудительна, обладала очаровательным, мягким характером, необычной тонкостью мысли и наивностью. Однажды одна из ее теток пригласила ее мать прийти помочь ей, чтобы принять хорошо 19 вандалов, которые должны были обедать у нее. И вот племянница заметила: *«Я совершенно не понимаю моей дорогой тети. Какое удовольствие в общении с какими-то девятнадцатью вандалами? Что касается меня, то я нахожу удовольствие лишь в общении с теми, кого я люблю».*

Звук голоса вызывал у нее то же самое очарование и то же самое отвращение, какое выражение лица вызывает у зрячих людей. Один из ее родственников, главный сборщик податей, поступил, вопреки ее ожиданию, нехорошо с ее семьей, и она с изумлением говорила: *«Кто бы мог ожидать этого от такого приятного голоса?»* Слушая пение, она различала голоса-*брюнеты* и голоса-*блондины*.

Когда с ней говорили, она судила о росте говорящего по на-

правлению звука, который шел сверху вниз, если говорящий был высокого роста, и снизу вверх, если он был низкого роста.

Она вовсе не желала получить зрение. Когда я однажды спросил у нее о причине этого, то она мне ответила: «Дело в том, что в этом случае я обладала бы только своими глазами, между тем как теперь я пользуюсь глазами всех. В силу своего недостатка я являюсь постоянным предметом интереса и сострадания окружающих; мне оказывают каждую минуту одолжения, и каждую минуту я должна быть благодарной кому-нибудь; увы, если бы я видела, то вскоре перестали бы интересоваться мной».

Ошибки зрения уменьшали в ее глазах ценность его. «Я нахожусь,—говорила она, например,—у начала длинной аллеи; в конце ее есть какой-то предмет; один из вас видит, что он движется, другой—что он находится в покое; один из вас утверждает, что это животное, другой—что это человек; при приближении же оказывается, что это пенёк. Никто не знает, круглая ли или квадратная башня, которая видна вдали. Я не боюсь вихря пыли, между тем как окружающие меня закрывают глаза и становятся несчастными, иногда на целый день, из-за того, что не закрыли их во-время. Достаточно незаметного атома, чтобы доставить им такое жестокое мучение...» С приближением ночи она говорила, что *наше царство кончается, и начинается ее царство*. Живя во мраке, с привычкой действовать и думать в течение вечной ночи, она, разумеется, не страдала от столь докучающей нам бессоницы.

Она не могла мне простить написанного мною о слепых, что они, не видя симптомов страдания, должны быть жестокими. «И вы воображаете,—говорила она мне,—что вы слышите так, как я, жалобы? Есть несчастные, которые умеют страдать, не жалуясь. Мне кажется,—прибавила она,—что я скоро угадала бы это и стала бы только больше жалеть их».

Она страстно любила чтение и до безумия—музыку. «Я думаю,—говорила она,—что никогда не устану от хорошего пения или хорошей игры на музыкальном инструменте, и если бы на небе наслаждались только одним этим счастьем, я весьма желала бы быть там. Вы были правы, утверждая, что музыка—самое захватывающее из изящных искусств, не исключая поэзии и красноречия, что даже способ выражения Расина не отличался такой тонкостью, как арфа, что мелодия его стиха была тяжелой и монотонной по сравнению с мелодией какого-нибудь музыкального инструмента и что вы часто желали придать своему стилю силу и легкость музыки Баха. Что касается меня, то я нахожу музыку прекраснейшим из известных мне языков. В разговорных языках чем лучше произношение, тем больше приходится расчленять слоги; в музыкальном же языке все звуки, начиная от самых низких и кончая самыми высокими, и наоборот, расположены в один ряд, незаметно следуя друг за другом. Это, так сказать, один непрерывный долгий слог, изменяющийся каждое мгновение по флексиям и по выражению. В то время как мелодия

доносит до моего уха этот слог, гармония исполняет без всякой путаницы, на самых различных инструментах, два, три, четыре или пять слогов, которые все способствуют усилению выразительности первого слога. Что же касается толкования, доставляемого голосовыми партиями, то без этого я могу отлично обойтись, если композитор— талантливый человек и умеет придать выразительность своей мелодии.

Музыка особенно выразительна и восхитительна в ночном молчании.

Я убеждаюсь, что зрячие, внимание которых отвлекается зрением, не способны ни слушать, ни понимать музыки так, как я слушаю и понимаю ее. Почему похвалы ей, которые я слышу, кажутся мне бледными и слабыми? Почему я не могу никогда высказаться о ней так, как я это чувствую? Почему я останавливаюсь посреди своей речи в тщетных поисках слов, которые выразили бы надлежащим образом мои ощущения? Неужели такие слова еще не найдены? Я могу сравнить действие музыки лишь с опьянением, охватывающим меня, когда, после долгого отсутствия, я бросаюсь в объятия своей матери, когда я лишаюсь голоса, все члены мои дрожат, слезы текут, колени подкашиваются, и я себя чувствую так, точно вот-вот умру от радости».

У нее очень тонко было развито чувство стыдливости, и когда я спросил ее о причине этого, она мне ответила: «Это плод бесед моей матери: она мне так часто повторяла, что вид известных частей тела толкает на путь порока; если бы я имела смелость, я призналась бы вам, что я лишь недавно поняла это и что, может быть, для этого необходимо было, чтобы я перестала быть невинной».

Она умерла от внутренней опухоли в половых органах, рассказать о которой у нее нехватило мужества.

В своей одежде, в белье, во всем она соблюдала тем более изысканную чистоту, что, не видя, она никогда не была вполне уверена, что сделала все необходимое, чтобы не вызвать у зрячих отвращения к проявлениям нечистоплотности.

Когда ей наливали что-нибудь для питья, то по звуку льющейся жидкости она узнавала, наполнен ли ее стакан. Она принимала пищу с удивительной осторожностью и ловкостью.

Она иногда в шутку становилась перед зеркалом, прихорашиваясь, подражая всем манерам готовящейся в бой кокетки, и делала это с такой ловкостью, что нельзя было удержаться от смеха.

С самой ранней молодости ее родные постарались развить имеющиеся у нее чувства, и в этом они добились невероятных успехов. Благодаря осязанию она узнавала такие детали о формах тел, которые часто неизвестны самым зорким людям.

У нее были удивительно тонкий слух и обоняние. По впечатлению от воздуха она судила о состоянии атмосферы, о том, облачно ли небо или ясно, идет ли она по площади или по улице, по улице или

по тупику, в открытом или закрытом месте, в обширном помещении или в маленькой комнате.

Она определяла размеры какого-нибудь ограниченного пространства по шуму своих шагов или по эхо от своего голоса. Стоило ей пройти внутри какого-нибудь дома, и топография его оставалась запечатленной в ее голове, так что она предупреждала других о маленьких неприятностях, которым они рисковали подвергнуться: *«Берегитесь»,—говорила она,—здесь слишком низкая дверь, там будет ступенька».*

Она находила в голосах неизвестное нам разнообразие, и когда она слышала чей-нибудь разговор, то воспоминание о голосе этого человека оставалось у нее навсегда.

Она не придавала значения прелестям молодости, и ее мало смущали морщины старости. Она говорила, что для нее опасны только сердечные и умственные свойства. Это еще одно из преимуществ отсутствия зрения, особенно для женщины. *«Никогда»,—говорила она,—красивый мужчина не вскружит мне голову».*

Она была доверчива. Было так легко и было бы так стыдно обманывать ее! Было бы непростительным вероломством заставить ее думать, что она находится одна в комнате.

Она не испытывала никогда панического страха; она редко страдала от скуки; одиночество научило ее довольствоваться самой собой. Она заметила, что в дороге, в дилижансах, люди к вечеру становятся молчаливыми. *«Что касается меня»,—говорила она,—мне не нужно видеть тех, с кем мне приятно беседовать».*

Из всех положительных качеств она особенно ценила здравый смысл, мягкость и веселость характера.

Она говорила мало и слушала много. *«Я похожа на птицу»,—говорила она,—я учусь петь во мраке».*

Сопоставляя то, что она слышала в разное время, она возмущалась противоречивостью наших суждений. Ей казалось почти безразличным слушать похвалу или порицание от столь непоследовательных существ.

Ее научили читать при помощи вырезных букв. У нее был приятный голос; она пела со вкусом; она охотно провела бы свою жизнь в концертном зале или в опере. Ей была неприятна только шумная музыка. Она восхитительно танцевала; она отлично играла на альт-виоле, и благодаря этому ее общества искали ее сверстники и сверстницы, чтобы научиться модным танцам и кадрилиам.

Она была любимицей своих братьев и сестер. *«Вот»,—говорила она,—чем я обязана своей немощи: ко мне привязываются благодаря оказываемым мне услугам и благодаря усилиям, которые я делаю, чтобы отблагодарить за них и заслужить их. Прибавьте к этому, что мои братья и сестры независимы. Если бы я обладала зрением, то это было бы в ущерб моему уму и сердцу. У меня столько оснований быть доброй! Чем бы я стала, если бы перестала внушать интерес к себе?»*

Когда ее родные обеднели, она жалела только о том, что должна была лишиться учителей; но они были так привязаны к ней и так уважали ее, что преподаватели математики и музыки настойчиво убеждали ее согласиться принимать даром их уроки. И она говорила своей матери: *«Мама, как поступить? Они, ведь, небогаты, и им нужно все их время.»*

Ее научили музыке при помощи выпуклых нот, размещенных на линейках, возвышающихся на поверхности большого стола. Она читала эти ноты рукою; она играла их на своем инструменте и в короткий срок выучивала самую длинную и самую сложную музыкальную вещь.

Она знала начатки астрономии, алгебры и геометрии. Ее мать, читавшая ей книгу аббата де-Лакайля, спрашивала у нее иногда, понимает ли она прочитанное. *«Прекрасно»*,—отвечала она.

Она уверяла, что математика—подлинная наука слепых, потому что она требует большого внимания и потому что нет нужды в посторонней помощи, чтобы усовершенствоваться в ней. *«Математик,—прибавляла она,—проводит почти всю свою жизнь с закрытыми глазами.»*

Я видел карты, по которым она изучала географию. Параллели и меридианы были изображены проволоками из латуни; границы государств и провинций были отмечены бумажными, шелковыми и шерстяными нитями различной толщины; реки, ручьи и горы—более или менее большими булавочными головками, а более или менее крупные города—каплями воска неравной величины.

Я сказал ей однажды: *«Мадемуазель, вообразите себе куб»*.—Я вижу его.—*«Вообразите в центре куба точку»*.—Готово.—*«Проведите из этой точки прямые к углам куба; сделав это, вы разделите куб»*.—На шесть равных пирамид,—прибавила она сама,—имеющих равные грани, основанием—грань куба и высотой—половину его высоты.—*«Это верно, но где вы это видите?»*—В своей голове, как и вы.

Сознаюсь, что я никогда не мог понять толком, как она представляла себе фигуры в голове, не расцветивая их. Создавался ли у нее этот куб из воспоминаний об ощущениях осязания? Стал ли ее мозг своего рода рукою, как бы созидающей вещи? Установилось ли, в конце концов, какое-либо соответствие между двумя различными чувствами? Почему нет этой связи у меня, и почему я ничего не вижу в своей голове, если я не расцветиваю этого? Что такое—воображение слепого человека? Явление это не так легко объяснить, как думают.

Она писала при помощи булавки, которой она протыкала лист бумаги, натянутый на раму с двумя подвижными параллельными пластинками, оставлявшими между собой промежутки для одной строки. Она пользовалась тем же способом для ответных писем, которые она читала, водя концом пальца по небольшим неровностям, образованным булавкой или иголкой на оборотной стороне бумаги.

Она читала книгу, напечатанную только с одной стороны. Про (*Prault*) напечатал для нее книгу таким образом.

В *«Меркурии»* той эпохи было напечатано одно ее письмо.

У нее хватило терпения переписать при помощи иголки *«Abrégé historique»** президента Эно, и я получил от мадам де-Бласи, ее матери, эту любопытную рукопись.

Вот факт, которому поверят с трудом, несмотря на свидетельство всей ее семьи, мое собственное свидетельство и свидетельство двадцати живых еще лиц. Если ей говорили из стихотворения в двенадцать—пятнадцать стихов первую букву и количество букв, из которых было составлено каждое слово, то она угадывала заданное ей стихотворение, каким бы оно ни было странным. Я проделал с ней опыт на пародиях Колле. Ей иногда приходили в голову выражения более удачные, чем у самого поэта.

Она очень быстро вдевала нитку в самую тонкую иглолку; для этого она растягивала нитку или шелковинку на указательном пальце левой руки и вдевала ее затем острым концом волоконцев через ушко иглолки, расположенное перпендикулярно.

Она была искусница на всякого рода рукоделия. Она делала рубцы, цельные или ажурные кошельки различных рисунков, различных цветов; она делала подвязки, браслеты, ожерелья из стекла-руса, мелкого, как типографский шрифт. Я не сомневаюсь, что она была бы отличным наборщиком,—ведь кто способен на большее, тот способен и на меньшее.

Она играла превосходно в реверси, медиатор и кадриль**. Она сама располагала свои карты, различая их при помощи мелких знаков, которые она узнавала наощупь и которых другие не могли распознать ни на глаз, ни наощупь. При игре в реверси она меняла знаки у тузов, особенно у туза бубен, и у валета червей. Единственное одолжение, которое ей делали, было то, что при ходе называли карты. Если случилось, что была угроза для валета червей, то на ее устах появлялась легкая улыбка, которую она не могла сдержать, хотя она знала, что это выдает игру.

Она была фаталисткой; она думала, что все наши усилия уйти от своей судьбы только приводят нас к ней. Я не знаю, каковы были ее религиозные убеждения; она держала это втайне из уважения к своей религиозной матери.

Мне остается только изложить вам ее объяснения относительно письма, рисунка, граверного искусства, живописи. По-моему, трудно быть ближе к истине, чем была она; во всяком случае, таков вывод, который, я думаю, приходится сделать из нижеследующего разговора, одним из участников которого был я. Заговорила первой она.

— Если бы вы при помощи стилета начертили на моей руке нос, рот, мужчину, женщину, дерево, то, наверное; я узнала бы их; не сомневаюсь, что я была бы способна, если бы рисунок был точным, узнать, кого вы нарисовали бы мне: моя рука стала бы для

* «Исторический очерк». — *Ред*

** — карточные игры. — *Ред*.

меня чувствительным зеркалом; но разница в чувствительности между тканью руки и органом зрения должна быть велика.

Таким образом, я предполагаю, что глаз—это какое-то живое полотно бесконечно тонкой чувствительности; воздух поражает какой-нибудь предмет, от последнего он отражается к глазу, который получает от этого бесконечное множество впечатлений, различных в зависимости от природы, формы, цвета предмета, а, может быть, и свойств воздуха, не известных мне, а также и вам; разнообразие этих ощущений и дает вам изображение предмета.

Если бы кожа моей руки была так же чувствительна, как ваши глаза, то я видела бы своей рукой так, как вы видите глазами, и мне иногда казалось, что бывают слепые животные, вместе с тем пронизательные.

— А что вы скажете о зеркале?

— Если не все тела могут служить зеркалами, то в силу какого-нибудь недостатка своего строения, мешающего отражению воздуха. Я тем более стою за эту мысль, что полированные золото, серебро, железо, медь оказываются способными отражать воздух, а мутная вода и исцарапанное стекло теряют это свойство.

Письмо отличается от рисунка, рисунок—от эстампа, а эстамп—от картины разнообразием ощущений, а следовательно, и различной способностью отражать воздух, свойственной употребляемым вами при этом веществам.

Письмо, рисунок, эстамп, одноцветная картина—это как бы гравюры различных сортов.

— Но если имеется только один цвет, то следовало бы только отличать этот цвет.

— Очевидно, фон полотна, толщина слоя краски и способ употребления ее вносят в отражение воздуха какое-то отличие, соответствующее различию форм. Впрочем, не спрашивайте у меня ничего больше, я только это и знаю.

— А я тщетно буду пытаться научить вас большему.

Я не рассказал вам об этой молодой слепой всего, что я мог бы наблюдать, если бы навещал ее чаще и расспрашивал с надлежащим умением. Но даю вам свое честное слово, что все, написанное мною, основывается на личном наблюдении.

Она умерла двадцати двух лет от роду. При своей колоссальной памяти и при таком же огромном уме какую блестящую научную карьеру сделала бы она, если бы ей суждена была более долгая жизнь! Ее мать читала ей исторические книги, и это было занятием, одинаково полезным и приятным для обеих.

ПИСЬМО ВОЛЬТЕРУ

11 июня 1749 года

Минута, когда я получил ваше письмо, дорогой мэтр, была одной из самых радостных в моей жизни. Я бесконечно благодарен вам за приложенную к нему книгу. Вы не могли послать своего произведения другому человеку, который был бы большим вашим поклонником, чем я. Люди бережно хранят знаки благоволения сильных мира. Что касается меня, для которого все различие между людьми заключается лишь в их качествах, то я ставлю это доказательство вашего уважения настолько же выше знаков благоволения сильных мира, насколько последние ниже вас. Пусть теперь эти господа думают о моем «Письме о слепых» все, что им угодно, оно вам понравилось, мои друзья находят его удачным; с меня этого достаточно.

Я так же мало разделяю взгляды Саундерсона, как и вы, но, может быть, потому, что я *вижу*. Наблюдаемые нами в мире отношения, так поражающие нас, не вызывают того же эффекта у слепого; он живет в вечном мраке, и этот мрак должен придавать большой вес, с его точки зрения, его метафизическим доводам. Обыкновенно ночью поднимаются туманы, застилающие в моей душе свет бытия божия. Восход солнца их всегда рассеивает. Но для слепца мрак длится постоянно, и солнце восходит лишь для зрячих. Не думайте, что Саундерсон должен был замечать то, что вы бы заметили на его месте: вы не можете стать на место другого человека, не изменяя радикальным образом положения вопроса.

Вот несколько соображений, которыми я мог бы подкрепить доводы Саундерсона, если бы я не боялся тех господ, которых вы так хорошо описали.

Если никогда не было существ, сказал бы я на его месте, то их никогда и не было; ведь, чтобы придать себе существование, надо действовать, а чтобы действовать—надо быть; если бы неизменно существовали лишь материальные существа, то никогда бы не было духовных существ, ибо духовные существа или сами дали бы себе существование, или получили бы его от материальных существ; они были бы модусами последних или, по крайней мере, их действиями, что, конечно, вас не удовлетворяет. Но если бы

всегда существовали только духовные существа, то вы бы убедились, что никогда не было существ материальных. Здравая философия разрешает мне признавать в вещах лишь то, что я замечаю в них отчетливо, но в духе я замечаю отчетливо лишь способность хотеть и мыслить, а мысль и воля могут действовать на материальные существа или на небытие не более, чем небытие и материальные существа могут действовать на духовные существа. Утверждать, что не может быть действия небытия и материальных существ на чисто духовные существа, потому что мы совершенно не воспринимаем возможности этого действия, это значит признавать также, что не может быть действия чисто духовных существ на телесные существа, ведь возможность этого действия также трудно представить себе. Таким образом, из этого допущения и из моего рассуждения, продолжал бы Саундерсон, следует, что телесное существо не менее независимо от духовного существа, чем духовное существо—от телесного существа, что они составляют в совокупности вселенную и что вселенная есть бог. Какую силу могло бы придать этому рассуждению то общее вам с Локком мнение, что мысль, может быть, является некоторой модификацией материи!

Но,—станете вы ему возражать,—а эти бесконечные отношения, которые я нахожу в вещах, а этот чудесный порядок, обнаруживающийся со всех сторон,—что думать обо всем этом?—Что это—метафизические сущности, существующие только в вашем уме, мог бы он ответить вам. Обширный пустырь засыпают разбросанными наугад обломками; среди этих обломков червяк и муравей находят для себя очень удобные жилища. Что сказали бы вы об этих насекомых, если, приняв за реальные сущности отношения между местом своего пребывания и своей организацией, они стали бы восторгаться красотой этой подземной архитектуры и верховным разумом садовника, устроившего вещи таким образом для них?

Ах, милостивый государь, как легко слепцу затеряться в лабиринте подобных рассуждений и умереть атеистом! Впрочем, это не относится к Саундерсону. Умирая, он предал себя в руки бога Кларка, Лейбница и Ньютона, подобно тому как израильтяне предавали себя в руки бога Авраама, Исаака и Иакова, потому что он находился приблизительно в таком же положении. Я уступаю ему то, что остается даже у самых решительных скептиков, именно некоторая надежда, что они ошибаются. Но так ли это или нет, я не придерживаюсь их взгляда. *Я верю в бога*, хотя живу в ладу с атеистами. Я заметил, что прелести порядка пленяют и их, несмотря на все их предубеждения; что они восторгаются красотой и добром и что когда они обладают вкусом, то они не в состоянии ни вынести скверной книги, ни выслушать терпеливо скверного концерта, ни терпеть в своем кабинете скверной картины, ни совершить скверного поступка. С меня этого вполне достаточно! Они утверждают, что все происходит в силу необходимости. По их мнению, человек, оскорбляющий их, оскорбляет их не более свободным образом,

чем оскорбляет их кирпич, падающий на голову с крыши: но они не смешивают этих причин и никогда не возмущаются кирпичом. Этот факт тоже меня успокаивает. Поэтому, если очень важно не смешивать цикуты с петрушкой, то совершенно не важно, верить или не верить в бога: «Мир,—сказал Монтэнь,—это мяч, отданный на забаву философам», и почти то же самое я готов сказать о самом боге.

До свиданья, дорогой мэтр.

МЫСЛИ К ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИРОДЫ

*

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕРИИ
И ДВИЖЕНИЯ

*

МЫСЛИ К ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИРОДЫ

(1754)

К молодым людям, предполагающим заняться философией природы

Молодой человек, возьми эту книгу и читай. Если ты дочитаешь ее до конца, ты сможешь понять и лучший труд. Я не столько думаю о том, чтобы обучить тебя, сколько о том, чтобы дать возможность поупражняться, поэтому мне не важно, одобришь ли ты мои мысли или отвергнешь их, — лишь бы они возбудили все твое внимание. Более искусный автор научит тебя познанию сил природы; для меня достаточно сознания, что я заставил тебя испытать свои силы. Прощай.

Р. С. Еще одно слово, и я тебя оставлю в покое. Неизменно помни, что природа не бог, человек — не машина, гипотеза — не факт; и будь уверен, что, если ты усмотришь в моей книге что-нибудь противоречащее этим принципам, значит ты меня совсем не понял во всех этих местах.

ОБ ОБЪЯСНЕНИИ ПРИРОДЫ

QUAE SUNTIN LUCE TUEMUR
ETENEBERI

Lucret.*

I

Я предполагаю писать о природе. Пусть мои мысли, выходящие из-под моего пера, следуют в том порядке, в каком самые объекты открылись мне в размышлениях; ведь объекты лучше воспроизведут движение и ход моей мысли. Таковы общие точки зрения на искусство экспериментирования или специальные взгляды на явление, по видимому, занимающее всех наших философов и разделяющее их на два лагеря. Первые, как мне кажется, имеют в своем распоряжении большое количество орудий и мало идей, у вторых—много идей, но нет орудий. В интересах истины следовало бы группе умозрительных философов сообразоваться соединиться с группой философов действующих, чтобы умозрительный философ мог бы обходиться без движения, чтобы философ-экспериментатор имел перед собой цель своих бесконечных движений; чтобы все наши усилия оказались объединенными и одновременно направленными на преодоление сопротивления со стороны природы; и чтобы в этом своеобразном философском союзе у каждого оказалась соответствующая ему роль.

II

Истиной, провозглашенной в наши дни с наибольшей энергией и силой**, истиной, которая никогда не окажется в пренебрежении у хорошего физика и которая, несомненно, будет наиболее плодотворной,—такой истиной является положение о том, что область математиков есть сфера интеллектуальная, иными словами, что истины, принимаемые за строжайшие, безусловно теряют это преимущество, если их перенести на нашу землю. Из этого заключили, что опытная философия должна выправить исчисления математики; этот вывод был принят даже самими математиками. Но к чему опытом выверять математические выкладки? Не проще ли держаться выводов, полученных опытным путем? Таким способом мы могли бы убедиться, что математические науки, являющиеся по преимуществу чем-то трансцендентным, без опыта не приводят ни к чему прочному, что это своего рода общая метафизика, где тела лишены своих индивидуальных качеств; во всяком случае пришлось бы заняться большим трудом, который можно было бы назвать «Приложением опыта к математике», или «Трактатом об ошибках измерений».

* Мы, в темноте находясь, освещенные видим предметы (Лукреций, О природе вещей, кн. IV, стих 312).— *Ред.*

** См. «Всеобщую и частную естественную историю» («*Histoire naturelle générale et particulière*») Бюффона и Добентона, т. I, рассуждение 1-е.

III

Мне неизвестно, существует ли какая-нибудь связь между способностью к игре и математическим гением; но есть большое родство между игрой и математическими науками. На партию игры можно взглянуть, как на неопределенный ряд проблем, подлежащих решению на основании данных условий, если, с одной стороны, оставить в стороне неуверенность в исходе игры, зависящем от удачи, и если, с другой стороны, сравнить эту неуверенность с неопределенностью, зависящей от абстрактного характера математики. Нет математических проблем, к которым было бы неприложимо данное определение,— *предмет* математики не больше существует в природе, чем *предмет* игры. И здесь и там—это условная вещь. Когда математики обесславили метафизиков, они вовсе не предполагали, что вся их собственная наука—не что иное как метафизика. У математика однажды спросили: «Что такое метафизик?» Математик ответил: «Это человек, который ничего не знает». Что же касается не менее резких в своих суждениях химиков, физиков, натуралистов и всех тех, кто связан с опытными данными, то мне кажется, что в данном пункте они мстят за метафизику, прилагая к математику то же определение. Они заявляют: к чему нужны все эти глубокие теории небесных тел, все эти грандиозные исчисления рациональной астрономии, если они не избавляют Брэдли или Лемонье от необходимости наблюдения неба? А я утверждаю: счастлив тот математик, у которого сосредоточенное изучение абстрактных наук не причинит ущерба вкусу в области изящных искусств, кому Гораций и Тацит будут столь же близки, как Ньютон; кто сможет открывать особенности кривой и вместе с тем чувствовать красоты поэзии; чей ум и работа будут иметь значение во все века и кто будет почтен всеми академиями! Он не затеряется во мраке неизвестности; ему нечего будет бояться, что он переживет собственную славу.

IV

Мы приблизились ко времени великой революции в науках. Как мне кажется, склонность современных умов к вопросам морали, изящных искусств, естественной истории, экспериментальной физики чрезвычайно возросла, поэтому я решился бы даже утверждать, что не пройдет ста лет, как нельзя будет назвать и трех крупных математиков в Европе. Эта наука остановится на том самом месте, куда ее довели Бернулли, Эйлер, Мопертюи, Клеро, Фонтен, Даламбер и Лагранж. Они воздвигнут Геркулесовы столбы. Дальше этого наука не пойдет. Их труды в будущие века займут то же место, что и египетские пирамиды, громады которых, испещренные иероглифами, вызывают у нас потрясающее представление о могуществе и силе людей, их воздвигших.

V

Когда возникает новая наука, все умы обращаются в ее сторону; причиной этого является исключительный интерес общества к основоположникам этой науки, желание самому узнать вещь, вызывающую много шума, надежда прославиться благодаря какому-нибудь открытию, претензия приобщиться к сонму знаменитых людей. Мгновенно новая наука начинает разрабатываться бесчисленным множеством самых разнообразных лиц. Это либо светские люди, которых угнетает их праздность, либо перебежчики, которые воображают, что они составят себе имя благодаря модной науке,—ради нее они бросают другие науки, в которых они тщетно искали для себя источник славы; одни из новой науки составляют себе профессию, других влечет к этой науке склонность. Благодаря таким объединенным усилиям наука довольно быстро доходит до пределов своего развития, но по мере того, как эти пределы расширяются, престиж науки постепенно снижается. Уважение продолжает оказываться лишь тем, кто выделяется своим значительным превосходством. Тогда толпа рассеивается, движение в страну, где поиски счастья редко и с трудом сопровождаются успехом, прекращается. В науке остаются только торгаша, которым она доставляет пропитание, и несколько гениальных людей, которых она продолжает прославлять долгое время спустя после того, как престиж рассеялся, и всем стала очевидной бесполезность их трудов. Такие труды всегда рассматриваются, как подвиг, которым гордится человечество. Вот краткий исторический очерк математики; он приложим ко всем наукам, потерявшим свое просветительное значение и переставшим нравиться. Я бы не сделал исключения даже для естественной истории.

VI

Сравним бесконечное множество явлений природы с границами нашего ума и со слабостью наших органов,—можно ли, помимо разрозненных частей, оторванных от великой цепи, связывающей все вещи, ожидать чего-либо от наших медленно идущих работ, их длительных и частых остановок, когда творческие умы так редки?.. Экспериментальная философия работает веками, и все же собранный ею материал нельзя было бы точно учесть, как не поддающийся количественному определению. Сколько понадобилось бы томов для того, чтобы включить только одну номенклатуру, с помощью которой мы обозначили бы различные группы явлений, если бы явления были известны. Будет ли когда-нибудь философский язык всеохватывающим? А если бы он достиг полноты, кто между людей смог бы его усвоить? Если бы вечное начало захотело развернуть свой универсальный механизм, запечатлев его на листах, исписанных его же рукой, чтобы показать свое всемогущество более наглядно, чем в чудесах природы, кто бы поверил, что эта великая книга оказалась бы более понятной

для нас, чем сама вселенная? Сколько страниц понял бы философ, используя все ресурсы своего ума, не будучи уверен даже в том, что сумел охватить все выводы, которыми античный математик определил взаимоотношения шара и цилиндра? Эти листы послужили бы хорошим мерилом пределов нашего ума и еще лучшей сатирой на наше тщеславие. Мы могли бы сказать: Ферма дочитал до такой-то страницы, Архимед продвинулся на несколько страниц дальше. Итак, какова же наша цель? В выполнении труда, который никогда нельзя осуществить и который превзошел бы всякий человеческий ум, если бы был завершен. Не оказываемся ли мы более безумными, чем первые обитатели долины Сенаар? Нам известно бесконечное расстояние между землей и небом, и мы все еще воздвигаем башню*. Но можно ли предвидеть, что придет такое время, когда наше, потерявшее надежду, тщеславие бросит эту работу? Есть ли вероятность, что, плохо устроившись здесь на земле, тщеславие не будет упорствовать в сооружении необитаемого дворца по ту сторону атмосферы? И в своей настойчивости не будет ли оно остановлено смещением языков, которое в естественной истории уже слишком чувствительно и слишком неудобно? Впрочем, все определяется границы экспериментальной физики, подобно тому как это произошло с математикой. Я готов опустить века для этих занятий, потому что область их полезности гораздо шире сферы любой абстрактной науки; экспериментальная физика бесспорно составляет основу наших подлинных знаний.

VII

Поскольку вещи даны лишь нашему уму, они составляют наше мнение; это—наши понятия, которые могут быть истинными или ложными, бесспорными или противоречивыми; они становятся устойчивыми, если оказываются связанными с внешним бытием. Эта связь устанавливается или непрерывной цепью опытов или непрерывной цепью доводов, опирающейся, с одной стороны, на наблюдения, с другой стороны—на опыт; или цепью опытов, рассеянных по разным местам среди рассуждений, подобно грузу на нитке, подвешенной на своих концах. Без этого груза нитка стала бы игрушкой малейших воздушных колебаний.

VIII

Понятия, не имеющие никакой опоры в природе, можно сравнить с северными лесами, где деревья не имеют корней. Достаточно порыва ветра, достаточно незначительного факта, чтобы опрокинуть весь этот лес деревьев и идей.

* Имеется в виду библейский миф о так называемом вавилонском столпотворении.—*Ред.*

IX

Люди плохо учитывают, как суровы законы отыскания истины и как ограничено число наших средств. Все сводится к тому, чтобы от чувства восходить к размышлению, а от размышления обращаться к чувствам: погружаться в себя и непрерывно выходить наружу—это труд пчелы. Все наши заготовки тщетны, если не входить в улей, богатый воском. Накопленный воск бесполезен, если не уметь делать соты.

X

К несчастью, легче и проще спрашивать совета у себя, чем у природы. К тому же, разуму свойственно сосредоточиваться в самом себе, инстинкт же распространяется наружу. Инстинкт непрерывно развивается, наблюдая, вкушая, прикасаясь, вслушиваясь; быть может, изучая животных, экспериментальная физика научилась бы большому, чем слушая курсы профессора. В приемах животных нет шарлатанства. Они стремятся к своей цели, не заботясь об окружающем. Если они вызывают наше удивление, это вовсе не входит в их намерение. Удивление составляет первый результат великого явления. Философия должна рассеять это удивление. Задача курса экспериментальной философии сводится к тому, чтобы сделать слушателя более образованным, а не более удивленным. Гордиться явлениями природы, словно мы сами их создали, значит подражать глупости одного издателя «Опытов», который не мог слышать имя Монтэня, не покраснев. Признание своей немощности—великий урок, который мы извлекаем. Не лучше ли приобрести доверие к себе других людей искренностью признания, *что я ничего не знаю*, чем бормотать слова и вызывать жалость к себе потугами все объяснить? Свободно сознающийся в незнании того, чего он не знает, побуждает меня верить тому, что он берется мне объяснить.

XI

Часто изумление у нас вызывается тем, что мы предполагаем много чудес там, где есть только одно; вызывается оно и тем, что мы в природе предполагаем столько отдельных актов, сколько существует явлений природы, между тем как она произвела лишь один акт. Даже кажется, что, если бы она была поставлена в необходимость произвести несколько актов, различные результаты этих актов были бы изолированными; группы явлений обнаруживались бы вне зависимости друг от друга, и эта общая цепь, которую философия считает непрерывной, во многих местах порвалась бы. Безусловная независимость хотя бы одного факта несовместима с представлением о целом; а без идеи целого нет философии.

XII

Повидимому, природе свойственно разнообразить один и тот же механизм бесконечным числом различных способов*. Она перестает действовать в известной области своих произведений лишь после того, как она размножила индивиды во всех возможных формах. Рассматривая царство животных, можно подметить, что среди четвероногих нет ни одного животного, функции и органы которого—в особенности это относится к внутренним органам—не совпадали бы с функциями и органами другого четвероногого, и тогда можно охотно поверить, что некогда существовало лишь первоживотное, прототип всех животных, и природа только увеличивала, уменьшала, трансформировала, умножала, ликвидировала его известные органы. Представим себе, что пальцы руки срослись, а что ногтевой ткани столько, что, распространяясь и вздуваясь, она захватывает и покрывает все,—в таком случае вместо человеческой руки вы получите лошадиное копыто**. Вспомним в последовательные метаморфозы развития прототипа, каковым бы он ни был,—они приближают одно царство к другому незаметными ступенями и заселяют границы двух царств, если позволительно пользоваться словом «границы» там, где нет никакого реального расчленения,—они заселяют, повторяю, границы двух царств неопределенными существами, существами сомнительными, лишенными в большей части форм, качеств и функций одного царства и наделенными формами, качествами и функциями другого,—не заставляя ли нас все эти наблюдения поверить в то, что искони существовал лишь один первоначальный прототип всех существ? Признаем ли мы вместе с доктором Бауманом*** эту философскую догадку истиной или откинем ее вместе с г. Бюффеном, как ложную,—вы все-таки не будете отрицать, что ее следует принять как существенную для развития экспериментальной физики гипотезу, существенную и для рациональной философии, и для открытий, и для объяснения явлений, зависящих от организации живого существа. Ведь ясно, что природа не могла сохранить столько сходных черт в органах и вызвать такое разнообразие в формах, не обнаруживая порой в одном организованном существе того, что она отняла у другого. Природа напоминает женщину, любящую переодеваться,—ее разнообразные наряды, от которых ускользает то одна часть тела, то другая, дают надежду настойчивым поклонникам некогда узнать ее всю.

* См. «Естественную историю» (Бюффона)—историю осла; также небольшое латинское произведение: «*Dissertatio inauguralis metaphysica, de universalium naturae systemate, pro gradu doctoris habita*» («Метафизическая диссертация о всеобщей системе природы, представленная для получения степени доктора».—Ред.). Отпечатана в Эрлангене в 1751 г. и привезена во Францию г. де М... [Мопертюи] в 1753 г.

** См. «Всеобщую и частную естественную историю»—описание лошади Добенгоном.

*** Псевдоним Мопертюи.—Ред.

XIII

Было открыто, что у одного пола та же семенная жидкость, что и у другого. Органы, содержащие эту жидкость, теперь хорошо изучены. Было обращено внимание на то, что в некоторых органах самки, когда природа ее энергично побуждает искать самца*, происходят своеобразные изменения. Если сравнить симптомы наслаждения одного пола с симптомами наслаждения другого при совокуплении, если убедиться, что страсть у обоих концентрируется в одинаково характерных, отчетливых и типичных порывах, нельзя сомневаться в том, что происходит одинаковое истечение семенной жидкости. Но где и как происходит это истечение у женщины, во что превращается эта жидкость? Каким путем она выделяется? Это можно узнать лишь, когда природа, не всюду и не везде одинаково мистическая, окажется разоблаченной на каком-нибудь другом виде. Ясно, что это произойдет одним из двух способов: или формы станут более явственными в органах или истечение жидкости, вследствие исключительного изобилия, будет заметным и при своем возникновении и на всем пути своего истечения. То, что мы отчетливо увидели в одном существе, обнаруживается и в другом подобном существе. В экспериментальной физике мы научаемся наблюдать небольшие явления в больших, так же как в рациональной физике мы научаемся познавать большие тела по малым.

XIV

Необъятную сферу наук я себе представляю, как широкое поле, одни части которого темны, а другие освещены. Наши труды имеют своей целью или расширить границы освещенных мест, или приумножить на поле источники света. Одно свойственно творческому гению, другое—проницательному уму, вносящему улучшения.

XV

Мы располагаем тремя главными средствами исследования: наблюдением природы, размышлением и экспериментом. Наблюдение собирает факты; размышление их комбинирует; опыт проверяет результат комбинаций. Необходимы прилежание для наблюдения природы, глубина для размышления и точность для опыта. Редко эти средства объединяются. Также творческие умы—явление необычное.

* См. во «*Всеобщей и частной естественной истории*»,—рассуждение о зарождении.

XVI

В усвоении истины философ часто напоминает неловкого политика, ищущего выгодных обстоятельств на ложном пути и уверяющего, что их невозможно найти, между тем случайно лицо, действующее кустарным способом, находит их в надлежащем месте. Впрочем, следует признать, что среди этих экспериментаторов, действующих кустарным способом, много неудачников: один из них всю свою жизнь посвящает изучению насекомых и не находит ничего нового; другому же достаточно попутно брошенного взгляда, и он обнаруживает полипа и травяную вошь—гермафродита.

XVII

Разве мало было гениальных людей в мире? Ни в какой мере. Быть может, они недостаточно размышляют и экспериментируют? И это еще менее верно. История наук кишит славными именами; вся земля покрыта памятниками нашей деятельности. Почему же у нас так мало достоверных знаний? По каким фатальным причинам науки так слабо прогрессировали? Неужели мы обречены оставаться всегда детьми? Я уже дал ответ на эти вопросы. Абстрактные науки занимали лучшие умы слишком долгое время и слишком безрезультатно; в одних случаях вовсе не изучалось то, что надлежало знать, в других случаях в исследованиях не было ни плана, ни точек зрения, ни метода; нагромождали без конца слова, а знание вещей отставало.

XVIII

Истинный метод философствования был и будет заключаться в том, чтобы умом проверять ум, чтобы умом и экспериментом контролировать чувства, чувствами познавать природу, изучать природу для изобретения различных орудий, пользоваться орудиями для изысканий и усовершенствования знаний, которые необходимо предоставить народу, чтобы научить его относиться с уважением к философии.

XIX

Есть только одно средство расположить простой народ к философии; оно заключается в том, чтобы показать философию с точки зрения ее пользы. Простой народ всегда спрашивает: *к чему это нужно?* В этих случаях никогда не следует отвечать: *это бесполезно*. Он не знает, что то, что расширяет горизонт философа и что полезно простому человеку,—две весьма различные вещи, потому что разум философа часто проясняется чем-нибудь вредным и затемняется полезным.

XX

Каковы бы ни были факты, они составляют подлинное богатство философа. Но один из предрассудков рациональной философии заключается в том, будто тот, кто не может сосчитать своих денег, никогда не будет богаче того, у кого только один рубль. К сожалению, рациональная философия гораздо больше занята тем, что она сравнивает и связывает имеющиеся в ее распоряжении факты, чем собиранием новых фактов.

XXI

С одной стороны—собирать, с другой стороны—связывать факты—два очень трудных занятия; философы и распределили эти занятия между собой. Одни посвящают свою жизнь собиранию материалов,—это полезные и трудолюбивые работники; другие, гордые строители, спешат их использовать. Но время доньше опрокидывало почти все сооружения рациональной философии. Обреченный работать в пыли труженик рано или поздно выносит из подземелья, где он действует вслепую, глыбу, губительную для этой архитектуры, изобретенной головным способом; она рушится, и остаются только груды обломков, пока другой смелый гений не предпримет новой комбинации. Счастлив тот философ-систематик, которого, как некогда Эпикура, Лукреция, Аристотеля, Платона, природа наделила сильным воображением, выдающимся красноречием, искусством представлять свои идеи в ярких и возвышенных образах! Здание, им сооруженное, когда-нибудь рухнет, но его статуя сохранится среди обломков; и оторвавшийся от горы камень не разобьет этой статуи, потому что она не на глиняных ногах.

XXII

У разума свои предрассудки, у чувства—свои сомнения, у памяти—свои границы, у воображения—свой мерцающий свет, у инструментов—свои недостатки. Явления бесчисленны; причины скрыты, формы, быть может, преходящи. При всех этих трудностях, в нас заключенных и выдвигаемых природой извне, наш опыт идет медленными шагами, а наши размышления имеют свой предел. Таковы рычаги философии, которыми она хочет перевернуть мир.

XXIII

Мы различили два вида философии: философию экспериментальную и рациональную. У одной глаза завязаны, она всегда идет спотыкаясь, она берется за все, что ей попадает в руки, и, в конце концов, натывается на драгоценные вещи. Другая подхватывает этот драгоценный материал и старается разжечь из него факел; но до

настоящего времени этот мнимый факел служил ей хуже, чем ее сопернице искание наощупь; это и естественно. Опыт бесконечно умножает свои поиски, он действует непрерывно; он неизменно ищет явления, в то время как разум идет путем аналогий. Экспериментальная философия не знает, что ей попадется в работе и чего не окажется; но она работает без усталости. Наоборот, рациональная философия взвешивает возможности, произносит свой суд и умолкает; она самоуверенно заявляет: *свет нельзя разложить*; экспериментальная философия прислушивается и молчит перед рациональной целыми веками, затем она вдруг показывает призму и заявляет: *свет разложим*.

XXIV

НАБРОСОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

Экспериментальная физика изучает вообще *бытие, качество, использование*.

Бытие охватывает *историю, описание, возникновение, сохранение и уничтожение*.

История изучает местности, ввоз, вывоз, цены, предрассудки и т. д.

Описание может быть внутренним и внешним, оно охватывает все чувственные качества.

Возникновение относится к предмету с самого начала до завершенного состояния.

Сохранение касается всех средств удержаться в этом состоянии.

Уничтожение относится к предмету, начиная с состояния совершенства и до последних степеней *распадения* или *гибели, растворения* или *разложения*.

КАЧЕСТВА могут быть общими или частными.

Я называю *общими* качествами те, которые свойственны всем существам и которые меняются лишь количественно.

Я называю *частными* качествами те, которые создают индивидуальное бытие; эти последние относятся или к субстанции *в целом* или к *раздельной, или разложенной* субстанции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ распространяется на *сравнение, на приложение* и на *комбинирование*.

Сравнение происходит или по сходству или по различию.

Приложение должно быть, насколько возможно, наиболее распространенным и разнообразным.

Комбинирование происходит по аналогии, или причудливо.

XXV

Я говорю *по аналогии, или причудливо*, так как результат всего находится в природе; сюда относится как самый причудливый эксперимент, так и самый разумный. Экспериментальная философия, которая

ничего не предполагает, всегда довольствуется тем, что ей выпадает на долю; рациональная философия всегда имеет ученый вид, даже тогда, когда ее ожидания не оправдываются.

XXVI

Экспериментальная философия—невинное занятие, не требующее почти никакой подготовки со стороны души. Этого нельзя сказать о других отделах философии; большая часть их возбуждает в нас страсть строить догадки. Экспериментальная же философия постепенно берет верх. Рано или поздно наступает отвращение к неудачным догадкам.

XXVII

Всем людям можно внушить стремление к наблюдению, стремление же к опыту следует внушать только богатым людям.

Наблюдение опирается на обычное употребление чувств. Опыт требует непрерывных затрат. Было бы желательно, чтобы великие мира сего присоединили этот способ разорять себя к стольким другим, менее почтенным средствам, которые они изобрели. В конечном счете было бы лучше, чтобы их разорил химик, чем обобрал делец, лучше пристраститься к экспериментальной физике, которая порой их забавляла бы, чем возбуждаться призраком наслаждения, который они непрерывно преследуют, но который неизменно от них ускользает. Я бы охотно сказал философам с ограниченным достатком, увлеченным экспериментальной физикой, то, что я бы посоветовал своему другу, стремящемуся обладать прекрасной куртизанкой:

*Laïdem habeto, dummodo te Laïs non habeat**.

Этот совет я бы еще дал лицам, имеющим достаточно широкий взгляд, чтобы изобретать системы, и достаточно состоятельным, чтобы делать проверки опытным путем: стройте систему, я этому сочувствую, но она не должна поработать вас: владей Лансой (*Laïdem habeto*).

XXVIII

Экспериментальную физику по ее хорошим результатам можно сравнить с советом того отца, который, умирая, сказал своим детям, будто у него в поле закопан клад, но что местонахождение клада ему неизвестно. Дети принялись вскапывать поле, они не нашли клада, которого искали, но в конце осени они сняли богатый урожай, для них неожиданный.

* Владей Лансой, лишь бы Ланса тобой не овладела (*Аристипп*).— *Ред*

XXIX

На следующий год один из сыновей сказал своим братьям: я тщательно изучил участок, унаследованный нами от отца, и, думаю, я открыл местонахождение клада. Послушайте, вот как я рассудил: если клад зарыт в поле, в его окружении должны быть какие-нибудь знаки, обозначающие это место; между тем я заметил своеобразные следы в углу, обращенном к востоку; повидимому, почва была взрыта. Нашим прошлогодним трудом мы убедились, что клад не находится на поверхности земли, следовательно, он должен быть запрятан в глубине; будем непрерывно работать лопатой, пока мы не достигнем тайников скряги.—Все братья, побуждаемые не столько силой доказательств, сколько желанием овладеть богатством, принялись за работу. Они проникли довольно глубоко, но ничего не нашли. Надежда стала их покидать, и послышался ропот, но вдруг одному из них показалось по нескольким блестящим частицам, что перед ним руда. И в самом деле, это оказался свинец, некогда разрабатывавшийся; они стали его добывать и достигли значительных успехов. Таков порою результат опытов, внушенных наблюдениями и системой идей рациональной философии. Так химики и математики, упорствуя над решением, быть может, неразрешимых проблем, делали открытия более существенные, чем это решение.

XXX

Великая привычка опытных наблюдений воспитывает у людей самого грубого труда чутье, имеющее характер вдохновения. Это приводит к тому, что они поддаются самообману, подобно Сократу, назвавшему это предчувствие *гением-хранителем*. У Сократа был поразительный навык внимательного наблюдения над людьми: он умел тщательно взвешивать обстоятельства. В результате в самых сомнительных случаях у него внутри созревала быстрая и точная оценка, сопровождаемая таким предвидением, которое никогда не обманывало. Он оценивал людей, как наделенные вкусом люди интуитивно судят о произведениях искусства. Так же обстоит дело и в экспериментальной физике; таков инстинкт наших великих ученых профессионалов. Им так часто и настолько наглядно приходилось наблюдать за природой в ее действиях, что они достаточно точно отгадывают направление, которое примет ход природы в случаях, когда им хочется возбудить ее деятельность с помощью самых причудливых опытов. Поэтому самая значительная услуга, которую они могут оказать лицам, посвящаемым ими в экспериментальную философию, заключается не в том, чтобы ознакомить их с самим процессом и результатом его, а в том, чтобы привить им ироничность, нужную для догадок, с помощью которой можно *учуять*, если можно так выразиться, неизвестные процессы, новые опыты, неведомые результаты.

XXXI

Каким способом можно привить этот дух? Необходимо обладающему этим духом углубиться в самого себя, чтобы дать себе отчет, что он собою представляет, заменить гения-хранителя разумными и ясными понятиями и раскрыть их другим. Если бы он, например, нашел, что *очень легко допустить или подметить противоположности или аналогии, так как они коренятся в практическом знании физических свойств существ, взятых в одиночку, или их взаимных воздействий, когда их наблюдаешь в совокупности*, то он развил бы эту идею и обосновал ее бесчисленным количеством фактов, вызванных в памяти, но это было бы верным воспроизведением всех тех очевидных странностей, которые прошли через его сознание. Я говорю *странностей*,—в самом деле, какое другое название можно дать этой цепи догадок, основанных на противоположностях или на столь отдаленных, едва заметных аналогиях, что после них грезы больного не покажутся ни более причудливыми, ни более бессвязными? Случается, что нет ни одного предположения, которого нельзя было бы опровергнуть или само по себе или в его связи с предшествующим или последующим предположением. А целое настолько ненадежно и по своим предпосылкам, и по своим следствиям, что часто пренебрегали наблюдениями или опытами, которые из него вытекали.

ПРИМЕРЫ

XXXII

Первая группа догадок

1. Существует тело, которое называется мясным наростом в матке. Это своеобразное тело зарождается в женщине и, согласно мнению некоторых, без содействия мужчины. Как бы ни осуществлялась тайна зарождения, несомненно, что в нем принимают участие оба пола. Не будет ли этот мясной нарост совокупностью или всех элементов, исходящих из женщины при зачатии человека, или элементов, исходящих из мужчины при различных его совокуплениях с женщиной? Не могут ли эти элементы, находящиеся в спокойном состоянии у мужчины, возгореться, возбудиться и стать деятельными, если они восприняты и удержаны некоторыми женщинами пылкого темперамента и сильного воображения? Не могут ли эти элементы, спокойные у женщины, притти в действие,—или вследствие бездеятельного и бесплодного присутствия мужчины и его неоплодотворяющих, но исключительно сладострастных движений, или же вследствие бурного проявления неудовлетворенных желаний женщины; не могут ли они при этом выходить из своего вместилища, проникать в матку, там задерживаться и соединяться друг с другом? Разве

маточный нарост не мог бы оказаться результатом этого изолированного соединения или элементов, исходящих из женщины, или элементов, доставленных мужчиной? Но если маточный нарост есть результат предполагаемого мной сочетания, то это сочетание будет протекать по столь же неизменным законам, как законы зарождения. Таким образом, маточный нарост будет иметь определенную структуру. Возьмем скальпель, вскроем нарост и посмотрим. Быть может, мы обнаружим, что эти наросты отличаются какими-нибудь признаками, связанными с различиями полов. Вот что можно назвать искусством перехода от того, чего мы не знаем, к тому, что мы знаем еще меньше. Люди, которые воспитали в себе или от природы наделены гениальным чутьем экспериментальной физики, обладают в удивительной степени этой иррациональной привычкой; многие открытия обязаны такого рода грезам. Такое своеобразное предвидение следует внушать ученикам, если этому можно научить.

2. Но, если со временем обнаружится, что мясной маточный нарост никогда не зарождается у женщины без содействия мужчины, можно будет сделать новые догадки по поводу этого удивительного тела, догадки, гораздо более правдоподобные, чем предшествующие. Ткань из кровеносных сосудов, которая называется последом, как известно, представляет собою сферический колпачок; это своего рода гриб, плотно прилегающий своей выпуклой частью к матке во все время беременности; пуповина служит ему как бы стеблем. Во время родов этот нарост отделяется от матки. Когда женщина в здоровом состоянии, и ее роды благополучны, то поверхность детского места бывает ровной. Живые существа определяются исключительно сопротивлением, законами движения и мировым строем, как при своем рождении, так при своем формировании и функционировании; если бы оказалось, что этот сферический колпачок, по видимому, только прилегающий к матке, постепенно своими краями освобождался бы с начала беременности, так что процесс отделения в точности соответствовал бы росту объема, то я полагаю, что эти края, не будучи связанными, двигались бы, неизменно приближаясь и приобретая вид сферической формы; пуповина оказалась бы гораздо более короткой, чем обычно, так как она находилась бы под действием двух противоположных сил: отделенные и выпуклые края колпачка стремились бы ее укоротить, а другая сила, сила тяжести зародыша стремилась бы ее удлинить; наступил бы момент, когда края совпали бы, совершенно соединились и образовали своего рода яйцо, в центре которого оказался бы необычный по своей структуре зародыш, каковым он был и при зачатии,—закупоренным, сжатым, сдавленным; и это яйцо питалось бы до того момента, когда в силу своей тяжести окончательно не оторвалась бы та небольшая часть его поверхности, которая осталась прикрепленной к матке; и освободившись, оно упало бы в матку и было бы исторгнуто своего рода кладкой, подобно тому, как несет яйца курица,—во всяком случае по форме здесь есть известная аналогия. Если бы эти догадки

относительно мясного нароста оправдались и, вместе с тем, было бы доказано, что этот нарост зарождается в женщине без всякого содействия мужчины, то отсюда с очевидностью явствовало бы, что зародыш целиком формируется в женщине, а мужчина только способствует этому развитию.

XXXIII

Вторая группа догадок

Предположим, что земля содержит твердое стеклянное ядро, как это полагает один из наших величайших философов*. Предположим, что это ядро окружено пылью; тогда можно утверждать, что в результате действия законов центробежной силы, стремящейся приблизить свободные тела к экватору и придать земле форму сплюснутого сфероида, пласты этой пыли должны быть менее плотными на полюсах, чем у любой параллели; что, быть может, ядро обнажено у двух крайних точек оси и что этой особенностью объясняются направления магнитной стрелки и северных сияний, которые, по видимому, представляют собою лишь течения электрической материи.

Вполне возможно, что магнетизм и электричество обуславливаются одинаковыми причинами. Почему не предположить, что это результат вращательного движения земного шара и энергии веществ, из которых он составлен, в сочетании с действием луны? Приливы и отливы, течения, ветры, свет, движения свободных частиц земного шара, быть может, даже движение всей его коры на его ядре и т. д. бесчисленными способами созидают непрерывные трения; результат непрерывно и незаметно действующих причин, накапливающийся веками, весьма значителен; ядро земного шара представляет собою стеклянный массив, поверхность покрыта лишь обломками стекла, песками и стекловидным веществом; из всех элементов стекло при помощи трения дает больше всего электричества; почему всю массу земного электричества не представить себе, как результат трения, происходящего или на поверхности земли или на поверхности ядра? Можно предположить, что из этой общей причины в результате ряда опытов будет выведена частная причина, которая установит связь между двумя великими явлениями,—я имею в виду явление северного сияния и направление магнитной стрелки; эта связь аналогична той, которая была установлена между магнетизмом и электричеством путем намагничивания иглы без магнита, лишь с помощью электричества. Можно принять или отвергнуть эти положения, потому что они в действительности существуют только в моем разуме. Опыт должен придать им большую убедительность, а физик должен придумать эксперименты, которые либо установят разницу между этими явлениями, либо окончательно их отождествят.

* Естествоиспытатель Жорж Бюффон.— *Ред.*

XXXIV

Третья группа догадок

В тех местах, где происходит электризация, электрическая материя распространяет чувствительный серный запах; разве не было оснований химикам учесть это свойство? Почему они при помощи имеющихся у них средств не испытали этих жидкостей, заряженных самым большим количеством электрической материи? До сих пор, впрочем, еще неизвестно, растворяется ли сахар скорее в наэлектризованной воде или в простой. Огонь в наших печах сильно увеличивает вес некоторых веществ, таков прокаленный свинец; если при прокаливании этого металла применять электрический огонь и если бы при этом вес металла увеличился, разве аналогия между электрическим огнем и обычным огнем не получила бы здесь нового подтверждения? Были поставлены опыты относительно того, не увеличивает ли этот необычный огонь эффективности лекарства, не повышает ли он питательности веществ, не действует ли при его помощи местное наружное средство сильнее. Не слишком ли рано забросили эти опыты? Не изменяет ли электричество структуры и свойств кристаллов? Сколько догадок здесь может построить воображение, и сколько таких догадок может быть подтверждено или отвергнуто опытом! *Смотри следующий раздел.*

XXXV

Четвертая группа догадок

Большая часть метеоров, блуждающие огни, испарения, падающие звезды, естественный и искусственный фосфор, гнилое и светящееся дерево,—определяется ли все это другими причинами кроме электричества? Почему не производят над этими светящимися веществами нужных опытов, чтобы убедиться в природе их? Почему не хотят удостовериться, не представляет ли собою воздух, подобно стеклу, самобытного электрического тела, другими словами, не есть ли это тело, которое нужно только потереть или бить, чтобы вызвать электричество? Кому известно, что больше электризуется—воздух, насыщенный серой, или чистый воздух? Если очень быстро вращать в воздухе металлический прут с значительной поверхностью, нельзя ли будет обнаружить, не электризуется ли воздух и какой электрический заряд получит прут? Если во время опыта вечь серу и другие вещества, можно будет узнать, какие вещества увеличивают и какие уменьшают электрические свойства воздуха. Быть может, холодный воздух на полюсах более восприимчив к электричеству, чем жаркий экваториальный воздух; а поскольку лед насыщен электричеством, вода же—нет, то нельзя ли будет сделать вывод, что

объяснение направления магнитной стрелки и появления северных сияний, повидимому, зависящих также от электричества, как мы это указали в нашей *второй группе догадок*, следует искать в громадном количестве этих сосредоточенных на полюсе вечных льдов; ведь они, может быть, легко движутся по стеклянному ядру, которое на полюсах обнажено больше, чем где бы то ни было? Наблюдение натолкнулось на одну из самых общих и могущественных сил природы; опыт должен вскрыть действие ее.

XXXVI

Пятая группа догадок

1. Перед нами натянутая струна музыкального инструмента. Пусть она будет разделена на две неравные части каким-нибудь небольшим противодействием, но так, чтобы связь колебаний обеих частей не была нарушена; известно, что это противодействие вызывает деление большей части на вибрирующие доли; они таковы, что обе части струны создадут унисон и что вибрирующие доли большей части ограничены каждая двумя неподвижными точками.

Так как резонанс тела ни в какой мере не является причиной деления большей части струны, а унисон обеих частей составляет лишь результат этого деления, я предположил, что если заменить музыкальную струну металлическим прутком и если сильно бить по нему, то по его длине образуются бугры и узлы; пожалуй, так же будет дело обстоять со всяким эластичным телом, звучащим или беззвучным; явление, представляющееся свойственным вибрирующим струнам, будет в большей или меньшей степени встречаться при любом сотрясении; это будет зависеть от общих законов сообщения движения; при этом естественно предположить, что в телах, подвергшихся толчкам, имеются бесконечно маленькие вибрирующие части, а узлы и неподвижные точки очень к ним близки; что эти вибрирующие части и узлы являются причинами того дрожания, которое мы при помощи осязания испытываем от тела, после удара по нему, вне зависимости от того, есть ли здесь пространственная передача, или эта пространственная передача уже закончилась; что это предположение соответствует природе дрожания, которое захватывает не всю осязаемую поверхность и которое осязается не всей поверхностью осязающей части, но относится к бесчисленному количеству точек, рассеянных на поверхности воспринимаемого тела, причем они беспорядочно вибрируют между бесконечным числом неподвижных точек; что, повидимому, в сплошных упругих телах сила инерции, распределенная по всей массе равномерно, в тех или иных точках функционирует подобно небольшому противодействию в отношении другой точки; если при этом предположить бесконечно маленькой ударяемую часть вибрирующей струны и если соответствующим обра-

зом бесконечно малыми будут бугры, а узлы бесконечно близкими, то мы будем иметь в одном направлении и, так сказать, на одной линии образ того, что во всех смыслах происходит в твердом теле, ударяемом другим, что, поскольку длина отмежеванной части вибрирующей струны дана, нет никакой причины, которая могла бы на другой части увеличить число неподвижных точек; что, поскольку это число постоянно, какова бы ни была сила толчка, и поскольку меняется лишь скорость колебаний при толчке, постольку дрожание будет более или менее сильным, но численное соотношение вибрирующих точек к неподвижным—неизменно и что количество неподвижной материи в телах неизменно, какова бы ни была сила толчка, плотность тел и связь частей. Таким образом, математику остается только распространить вычисления относительно вибрирующей струны на призму, на шар, на цилиндр, чтобы выявить общий закон распределения движений в теле, подвергшемся толчку; доньше этот закон оставался невыявленным, ибо даже не предполагалось, что существует само явление, наоборот, думали, что распределение движения одинаково по всей массе; правда, при толчке вибрирование, благодаря ощущению, обнаружило реальность вибрирующих точек, рассеянных между неподвижными точками; я говорю *при толчке*: ведь правдоподобно, что при передаче движения без наличности толчка тело перебрасывается, подобно самой маленькой молекуле, и движение равномерно распространяется по всей массе. Поэтому во всех этих случаях нет никакого дрожания; это заставляет отличать случай с толчком.

2. Благодаря принципу разложения сил, все силы, действующие на тело, можно всегда свести к одной: если количество и направление действующей на тело силы даны и задача заключается в том, чтобы определить вызываемое движение, можно придти к выводу, что тело двигается вперед, как если бы сила проходила через центр тяжести, и что, кроме того, тело вращается вокруг центра тяжести, как если бы центр был неподвижным, а сила действовала вокруг этого центра, как вокруг точки опоры. Следовательно, если две молекулы взаимно притягиваются, они расположатся по отношению друг к другу согласно законам их притяжения, их фигурам и т. д. Если эта система двух молекул притягивает третью молекулу, притягивающую со своей стороны первые две, то эти три молекулы расположатся в связи друг с другом согласно законам их притяжения, их фигурам и т. д. Так же обстоит дело и с другими системами и с другими молекулами. В совокупности они образуют систему А, в которой они будут противостоять силе, стремящейся поколебать их связь, причем безразлично, будут ли они соприкасаться или нет, будут ли они двигаться или находиться в состоянии покоя; и эти молекулы будут стремиться или восстановить свой первоначальный порядок, если возмущающая сила перестанет действовать, или вступят в связь в соответствии с законами их притяжения, фигур и т. д. и присоединятся к действию возмущающей силы, если она продол-

жает действовать. Эта система *A* есть то, что я называю упругим телом. В этом общем и абстрактном смысле планетная система, вселенная есть лишь упругое тело; хаос есть нечто невозможное, так как и у первоначальных свойств материи имеется по существу определенный порядок.

3. Если рассматривать систему *A* в пустом пространстве, то она будет неразрушима, непоколебима, вечна; если себе представить, что части, рассеянные в бесконечном пространстве, подобно таким свойствам, как, например, притяжение, будут бесконечно распространяться, причем ничто не будет ограничивать сферу их действия*, то эти части, фигуры которых не изменятся, будучи одушевлены теми же силами, будут снова сочетаться наподобие того, как они были связаны, и составят в какой-нибудь точке пространства и в какой-нибудь момент времени упругое тело.

4. Иначе будет обстоять дело, если представить себе систему *A* находящейся во вселенной; действия будут иметь такой же необходимый характер; но такое же точно действие причин, как в предшествующем случае, порой невозможно, и число вступающих в связь причин постоянно так велико в общей системе или упругом мировом теле, что неясно, ни чем были первоначальные системы или единичные упругие тела, ни чем они будут. Мы не будем утверждать, что притяжение создает в наполненном пространстве твердость и упругость в том виде, как мы их воспринимаем, но не очевидно ли, что достаточно одного этого свойства материи, чтобы вызвать их в пустоте и дать место разряжению, уплотнению и всем от них зависящим явлениям? Не будет ли притяжение первопричиной этих явлений в нашей всеобщей системе, где бесконечное число модифицирующих причин будет вечно варьировать количество этих явлений в системах или отдельных упругих телах? Таким образом, упругое тело,

* Я сказал тебе, молодой человек, что *такие свойства, как притяжение, распространяются до бесконечности, когда ничто не ограничивает сферы их действия.* Тебе возразят, «что я мог даже настаивать на *единообразии их распространения.* Быть может, укажут также на непостижимость того, каким образом свойство *действует на расстоянии, без всякого посредника;* но что здесь нет и не было никогда ничего нелепого и что, скорее, нелепостью будет предположение, что это свойство проявляется различным образом в пустоте, на разных расстояниях; в таком случае ничего нельзя заметить ни внутри, ни вне известной частицы материи, что было бы способно изменять ее действие. Декарт, Ньютон, все древние и современные философы предполагали, что тело, одушевленное в пустоте малейшим количеством движения, двигалось бы до бесконечности, однообразно, в прямом направлении; в самом деле, расстояние само по себе не есть ни препятствие, ни проводник; всякое свойство, действие которого изменяется обратно или прямо пропорционально расстоянию, неизбежно приводит к пустоте и к корпускулярной философии. Предположение пустоты и изменчивости действия причины—два взаимно противоречивых положения». Если тебе предлагают разрешить эти трудности, я советую тебе искать ответа у какого-нибудь последователя Ньютона,—я признаюсь, что мне неизвестно, как разрешить эти трудности.

будучи теснимо, разрушится только тогда, когда причина, в одном отношении сближающая части, так их с другой стороны раздвинет, что они больше не будут оказывать чувствительного воздействия друг на друга своим взаимным притяжением; упругое тело лопнет под воздействием толчка только в том случае, когда многие его вибрирующие молекулы при своем первом колебании будут настолько отнесены от неподвижных молекул, среди которых они рассеяны, что они перестанут оказывать чувствительное воздействие друг на друга своим взаимным притяжением. Если сила толчка будет достаточно велика, чтобы вынести колеблющиеся молекулы за пределы их чувствительного притяжения, тело распадется на свои элементы. Но между этим столкновением, самым сильным из возможных воздействий на тело, и столкновением, вызывающим самое слабое дрожание, есть еще одно, реальное или воображаемое столкновение, в результате которого все элементы тела, будучи разъединены, перестали бы касаться друг друга без того, чтобы их система разрушилась, и без того, чтобы их связь распалась. Мы предоставим читателю приложение тех же принципов к сгущению, разрежению и т. д. Учтем только здесь еще разницу между передачей движения толчком и передачей движения без толчка. Поскольку передвижение тел без толчка равномерно распределяется одновременно по всем частям, постольку тело не будет разрушено, каково бы ни было количество сообщаемого движения, даже если бы оно было бесконечным; тело останется целым, покуда толчок, вызвав колебание некоторых частей среди других, остающихся неподвижными, не вызовет такой амплитуды у первых колебаний, при которой колеблющиеся части не смогут ни вернуться к своему первоначальному месту, ни войти вновь в состав системы.

5. Все предшествующее в собственном смысле касалось лишь простых упругих тел или систем частиц той же материи, имеющих ту же фигуру, воодушевленных тем же количеством сил и движимых тем же законом притяжения. Но если все эти свойства изменчивы, то возникает бесконечное число смешанных упругих тел. Под смешанным упругим телом я разумею систему, состоящую из двух или нескольких систем различных веществ, имеющих различную фигуру, одушевленных различным количеством сил и, быть может, движимых различными законами притяжения; при этом эти частицы координированы друг с другом благодаря общему для них закону, который можно рассматривать, как результат их взаимодействия. Если вследствие ряда действий можно упростить эту сложную систему, изгнав все частицы, принадлежащие к координированной материи, или если можно еще более ее усложнить, введя новую материю, частицы которой окажутся связанными с частицами данной системы и изменят закон, общий им всем, то твердость, упругость, сжимаемость, разжижимость и другие зависящие от них свойства станут расти или уменьшаться и т. д., будучи зависимыми в сложной системе от различия связей между частицами. Свинец, не отличающийся почти

никакой твердостью, ни упругостью, станет менее твердым и более упругим, если его расплавить, другими словами, если со сложной системой молекул, составляющих структуру свинца, связать другую систему, состоящую из молекул воздуха, огня и т. д., которые вызывают расплавленное состояние свинца.

6. Было бы очень легко приложить эти идеи к бесконечному числу других аналогичных явлений и составить из всего этого весьма обширный трактат. Всего труднее было бы объяснить, благодаря какому механизму части системы, когда они координируются с частями другой системы, порою ее упрощают, изгоняя систему других координированных частей, как это происходит в некоторых химических соединениях. Притяжение, действующее по разнообразным законам, повидимому, недостаточно при объяснении этого явления; было бы невероятным предположить свойство отталкивания. Вот как можно было бы обойтись без этого предположения. Допустим, что система A состоит из систем B и C , причем все молекулы между собою связаны, согласно известному закону, общему им всем. Если ввести в сложную систему A другую систему D , то произойдет одно из двух: или частицы системы D свяжутся с частицами системы A без того, чтобы произошел толчок,—в таком случае система A будет в себе включать системы B , C , D ; или же связывание частиц системы D с частицами системы A будет сопровождаться толчком. Если толчок будет таков, что частицы, получившие удар, не выключатся в их первом колебании за пределы бесконечно малой сферы их притяжения, то в первый момент произойдет смятение или бесконечное количество мелких колебаний. Но смятение скоро сойдет на-нет: частицы вступят в связь; в результате из их совмещения мы будем иметь систему A , состоящую из систем B , C , D . Если же частицы системы B , или частицы системы C , или те и другие вместе получают в первый момент потрясение в отношении своей связи и будут исторгнуты за пределы сферы их притяжения частицами системы D , то они окажутся выключенными из общей системы координации и не смогут восстановить своего места, система же A окажется состоящей из систем B и D , или систем C и D , или же это окажется простой системой, состоящей исключительно из координированных частиц системы D ; все эти явления осуществляются при обстоятельствах, которые еще больше подтвердят правдоподобие выставленного взгляда, а может быть, *подорвут его целиком*. В конце концов я пришел к этому взгляду, исходя из *сотрясения упругого тела под воздействием толчка*. Где имеется *координация*, нет места самопроизвольному отделению; отделение допустимо лишь там, где есть *сложение*. *Координация* есть, сверх того, принцип *единообразия*, даже там, где *целое* состоит из разнородных частей.

XXXVII

Шестая группа догадок

Произведения искусства будут пошлыми, несовершенными и слабыми, пока люди не поставят себе целью более тщательно подражать природе. Природа упряма и медлительна в своих действиях. Происходит ли удаление, приближение, соединение, разделение, размягчение, уплотнение, затвердение, разжижение, растворение, ассимиляция,—природа идет к своей цели самыми незаметными шагами. Искусство, наоборот, спешит, утомляется и ослабевает. Природе нужны века, чтобы в грубом виде образовать металлы; искусство же берется в один день их обработать. Природе нужны века, чтобы сформировать драгоценные камни; искусство берется моментально их подделывать. Если бы мы обладали подлинным средством, этого было бы недостаточно, нужно уметь приложить это средство. Люди ошибаются, предполагая, что результат получится тот же, если интенсивность действия, помноженная на время, будет величиной постоянной. Трансформация достигается лишь при постепенном, медленном и непрерывном воздействии. Всякое другое воздействие разрушительно. Если бы мы действовали аналогичным природе способом, чего бы только мы ни извлекли из смеси известных веществ, которые нам доставляют лишь весьма несовершенное, сложное целое. Мы всегда стремимся к обладанию, мы хотим достигнуть конца, как только мы начали. Этим объясняются бесплодные попытки, откуда столько трат и напрасных стараний, природа внушает столько работ, но искусство их никогда не предпримет, потому что результат кажется отдаленным.

Кто, выходя из гротов д'Арси, не остается в убеждении, что благодаря скорости, с которой образуются и восстанавливаются сталактиты, гроты когда-нибудь будут заполнены ими и образуют один массивный монолит? Размышляя над этим явлением, какой натуралист не догадался бы, что, заставляя воды постепенно просачиваться сквозь землю и скалы и стекать в обширные водоемы, можно было бы со временем образовать из них искусственные каменоломни алебаstra, мрамора и других пород,—камни эти будут различными, в зависимости от природы почвы, вод и скал. Но если нет ни смелости, ни терпения, ни желания затрачивать труд и средства, если нет времени и в особенности нет античного вкуса к грандиозным предприятиям, давшим столько памятников, вызывающих лишь наше холодное и бесплодное изумление,—на что нужны будут все эти соображения?

XXXVIII

Седьмая группа догадок

Как часто безуспешно стремились превратить наше железо в сталь, равноценную английской и немецкой стали, для изготовления изящных вещей! Я не знаю соответствующих производственных процессов, но мне кажется, что это существенное открытие было бы сделано путем подражания и усовершенствования одного приема, очень принятого в железопрокатных мастерских. Он называется *закалкой пачкой*. Чтобы закалять пачкой, нужно взять самую едкую сажу, истолочь ее, растворить в моче, прибавить тертого чеснока, остатков кожи, предварительно ее раскромсав, и поваренной соли; берут металлический ящик, дно его покрывается слоем этой смеси; на этот слой кладется слой различных кусков железа; на этот последний—опять слой смеси и т. д., пока ящик не заполнится, потом надо закрыть его крышкой. Снаружи ящик обкладывается смесью хорошо промешанной глины, шерсти и лошадиного помета. Ящик помещается в центре кучи угля соответствующего размера; уголь зажигается, ему дают разгореться, лишь поддерживая огонь; заготавливается сосуд с холодной водой; после того как ящик пробудет в огне три или четыре часа, его извлекают, открывают; заключающиеся в ящике куски бросят в свежую воду, ее мешают по мере того, как туда попадают куски. Куски погружаются пачками; если отдельные куски ломаются, то обнаруживается, что поверхность у них на небольшой глубине—из очень твердой стали и мелкозернистая. Эта гладкая поверхность оказывается более блестящей и лучше сохраняет форму, данную напильником. Нельзя ли отсюда предположить, что, если бы слой за слоем (*stratum super stratum*) подвергнуть действию огня и веществ, употребленных при этой закалке пачкой, хорошо выбранное железо доброкачественной выделки, разрезанное на тонкие листы, подобно листовому железу, или на очень тонкие полосы, и при выходе его из сталелитейной печи бросать в приготовленный с этой целью поток воды, то оно превратилось бы в сталь? Особенно, если бы выполнение первых опытов поручить людям, привыкшим издавна к употреблению железа, знающим его свойства и исправляющим его недостатки, поручить людям, которые стремились бы упростить процесс и нашли бы вещества, наиболее пригодные для этой операции.

XXXIX

Достаточно ли того, что сообщается в публичных лекциях по экспериментальной физике, для развития этого рода философского энтузиазма? Не думаю. Наши составители курсов физики несколько напоминают того человека, который считает, что он задал большой пир, если у него много людей за столом. Следовало бы главным обра-

зом стремиться возбудить аппетит, чтобы многие, увлеченные желанием его удовлетворить, из положения учеников перешли в положение любителей и далее приобщились бы к профессии философов. На пути общественного деятеля нет этих условий, столь противоположных прогрессу наук! Нужно открывать и самый предмет и средства. О, как велики в своих открытиях первые люди, изобретшие новые исчисления, и как они незначительны, поскольку они окружили тайной свои дела! Если бы Ньютон поторопился сообщить о своем открытии, как этого требовали его слава и истина, то Лейбниц не присоединил бы своего имени к сделанному открытию*. Немец изобрел инструмент, между тем англичанин доставлял себе удовольствие тем, что изумлял ученых неожиданным его применением, которого ему удалось достигнуть. И в математике и в физике самый надежный способ обеспечить свой приоритет заключается в том, чтобы вступить во владение своим открытием и засвидетельствовать перед обществом свои права на него. Впрочем, требуя обнародования нового способа, я имею в виду способ, достигающий цели; что же касается непригодных средств, то по отношению к ним надо быть как можно более кратким.

XL

Но недостаточно открыть: нужно, чтобы открытие было полным и очевидным. Существует своего рода неясность, которую можно было бы определить, как *аффектацию великих ученых*. Им нравится застилать природу покровом от глаз народа. Если откинуть уважение, которое питаешь к славным именам, то я бы сказал, что таков туман, который царит в некоторых произведениях Сталя и в «Математических принципах» Ньютона. Если понять эти книги, то они начинают оцениваться по их достоинству. Авторам понадобилось бы не больше месяца, чтобы сделать их понятными. Этот месяц сберег бы три года изнурительного труда у тысячи хороших умов. Вот на что пошло приблизительно три тысячи лет. Нужно стремиться к тому, чтобы сделать философию популярной. Если мы хотим, чтобы философия прогрессировала, приблизим народ к уровню философов. Может быть, они скажут, что есть труды, которые никогда не будут доступны заурядному уму. Если они так скажут, они только обнаружат непонимание значения хорошего метода и продолжительного навыка.

Если каким-нибудь авторам позволительно быть туманными, то я бы сказал, что только метафизикам в собственном смысле слова,— пусть меня обвиняют, что я занимаюсь самовосхвалением. Широкие абстракции дают лишь тусклый свет. Обобщение лишает понятия всего осязательного. По мере того, как этот процесс обобщения

* Речь идет об открытии дифференциального и интегрального исчисления и о споре между Ньютоном и Лейбницем о приоритете в этом открытии.— *Ред.*

развивается, материальный облик рассеивается; понятие постепенно из сферы воображения переходит в область ума, и идея становится чисто интеллектуальной. Тогда умозрительная философия начинает напоминать того, кто смотрит с вершины гор, теряющихся в облаках: предметы, расположенные в долинах, от него ускользают. Ему остается лишь созерцать свои мысли и сознавать высоту, на которую он поднялся и куда не всякий за ним может последовать и дышать там.

XLI

Не имеет ли природа достаточное количество собственных покровов без того, чтобы удваивать их покровом тайн? Не довольно ли у искусства своих трудностей? Откройте книгу Франклина*, перелистайте книги химиков, и вы увидите, что экспериментальное искусство требует большого воображения, пронизательности, запасов знания и точек зрения; читайте их внимательно, ведь если возможно узнать, сколькими способами можно производить опыт, то вы узнаете это из чтения подобных книг. Если, не обладая талантом, вы нуждаетесь в техническом средстве, дающем вам направление, имейте перед глазами таблицу свойств материи, открытых до настоящего времени; найдите среди этих свойств те, которые соответствуют веществу, подвергаемому вами опытному исследованию; убедитесь, что эти свойства налицо, стремитесь затем узнать количественную сторону; эта количественная сторона почти всегда измеряется инструментом там, где возможно единообразное приложение аналогичной части к веществу в непрерывном порядке и без остатка, пока не будет исчерпано все свойство. Что же касается существования, то его можно будет засвидетельствовать только при помощи средств, которым нельзя научиться. Но если даже и не научишься, как нужно делать исследования, то, во всяком случае, это уже кое-что—знать то, чего ищешь. Впрочем, те, которые будут вынуждены признаться в своей бесполезности,—потому ли, что они хорошо поняли невозможность что бы то ни было открыть, потому ли, что они испытывают тайную зависть к открытиям других, невольно огорчаются, удостоверившись в этом, и пускаются на разные уловки, которые они с удовольствием применяют, чтобы приобщиться к чужой славе,—все эти люди хорошо сделают, если откажутся от науки, которой они занимаются без всякой пользы для нее и без всякой славы для самих себя.

XLII

Если в голове сложилась какая-нибудь система, подлежащая подтверждению на опыте, не следует ни упрямо ее держаться, ни быстро ее бросать. Часто думают о своих догадках, что они ложны, между

* «Опыты и наблюдения над электричеством».— *Ред*

тем не принимаются надлежащие меры, чтобы испытать их истинность. Здесь упрямство менее вредно, чем противоположная крайность при умножении опытов: если не получаешь искомого, то все же может случиться, что встретишь нечто лучшее. Никогда употребленное на исследование природы время не пропадет даром. Постоянство природы следует измерять степенью сходства. Для абсолютно цельных взглядов достаточно одной первой проверки; несколько большего внимания заслуживают взгляды правдоподобные; от взглядов же, которые обещают существенные открытия, можно отказаться лишь тогда, когда все будет исчерпано. Вряд ли в этом пункте нужны какие-нибудь предписания. Естественно, что исследования привлекают к себе в меру интереса, который они вызывают.

XLIII

Системы, о которых идет речь, опираются на неопределенные понятия, смутные предположения, на аналогии, вводящие в заблуждение, и даже, надо в этом признаться, на фикции, которые разгоряченный ум легко принимает за обоснованные взгляды; в связи со всем этим нельзя отказываться ни от одного взгляда без того, чтобы не испытать его предположением, что верны обратные мысли (inversion). В чисто рациональной философии довольно часто истина есть нечто прямо противоположное ошибке, точно так же в экспериментальной философии ожидаемое явление может быть вызвано не поставленным опытом, а прямо ему противоположным. Нужно принципиально взглянуть на оба диаметрально противоположных положения. Так, во второй группе наших догадок, после того, как экватор наэлектризованного шара оказался покрытым, а полюсы—обнаженными, нужно будет покрыть полюсы и обнажить экватор; и так как следует установить возможно большее сходство между экспериментальным шаром и естественным земным шаром, служащим образцом, то выбор вещества, которым покрываются полюсы, далеко не будет безразличным. Быть может, следовало бы прибегнуть к жидким массам. Осуществить это вполне возможно; в опыте это могло бы доставить новое неожиданное явление, отличное от того, которое хотели воспроизвести.

XLIV

Следует повторять опыты, чтобы вскрыть детали обстоятельств и установить границы. Опыты нужно переносить на различные объекты, усложнять их и комбинировать всевозможными способами. Поскольку опыты остаются раздробленными, изолированными, бессвязными, неразложимыми, самая эта неразложимость доказывает, что тут многого еще следует доискиваться. В таком случае надлежит всецело связаться с своим объектом, начать его, так сказать, тормошить, пока явления

не будут настолько связаны, что если взять одно явление, то окажутся данными и все другие. Займемся сначала разложением действий, потом мы придем к разложению причин. Разложить действия можно будет только в результате их умножения. Великое искусство по отношению к применяемым средствам для обнаружения в причине всего, что она может дать, сводится к тому, чтобы хорошо различать средства, вызывающие новые явления, от тех, которые вызывают лишь преобразование явления. Без конца заниматься этими метаморфозами значит сильно утомлять себя, не делая вперед ни шага. Всякий опыт, не распространяющий законы на новый случай или не ограничивающий его каким-нибудь исключением, не имеет никакого смысла. Самый краткий способ для установления ценности своего опыта заключается в том, чтобы сделать его основанием энтимемы* и исследовать следствие. Будет ли следствие безусловно тождественным тому, которое мы уже извлекли из другого опыта? Если так, то мы ничего не открыли; в лучшем случае мы лишь подтвердили открытие. Это столь простое правило свело бы немалое количество толстых книг по экспериментальной физике к небольшому числу страниц, а большое число небольших книг оно бы свело на-нет.

XLV

В математике, исследуя все особенности кривой линии, мы приходим к заключению, что они составляют одно и то же свойство, но выраженное в различных видах; точно так же в природе, когда экспериментальная физика больше продвинется вперед, мы установим, что все явления тяжести, упругости, притяжения, магнетизма, электричества представляют собой лишь различные виды одной и той же деятельности. Но сколько нужно уловить промежуточных явлений, чтобы установить связи между известными явлениями, которые мы относим к одной из этих причин, восполнить пустоты и доказать их тождественность! Этого еще нельзя определить. Быть может, есть центральное явление, которое бросит свет не только на то, что имеется налицо, но также и на все те явления, которые будут открыты со временем; это центральное явление объединит их и образует из них систему. Но поскольку отсутствует центр этой общей связи, явления оказываются изолированными; все явления экспериментальной физики будут только сближать их, вклиниваясь в них, но никогда их не объединяя; а когда они их объединят, они образуют непрерывный круг явлений, в котором не отличишь, какое явление первое и какое последнее. Этот необычный случай, когда экспериментальная физика в результате своих работ образовала бы лабиринт, в котором рациональная физика, заблудившись и растерявшись,

* Логическое понятие, означающее сокращенный силлогизм, в котором опущена одна из посылок в силу ее очевидности.—*Ред.*

без конца бы блуждала, есть вполне возможный случай в природе в противоположность математике. В математике синтетическим или аналитическим путем мы всегда находим промежуточные положения, которые отделяют основное свойство кривой от самой отдаленной ее особенности.

XLVI

Существуют обманчивые явления, которые с первого взгляда словно опрокидывают систему, но если их лучше изучить, они служат ее подтверждением. Эти явления—истинное наказание для философа, в особенности, когда он предчувствует, что природа ему их навязывает и что она ускользает от его догадок благодаря необычному и тайному механизму. Этот затруднительный случай будет повторяться повсюду, где явления оказываются результатом многих совместных или противодействующих причин. Если они содействуют, то количество явлений будет слишком большим в сравнении с выдвинутой гипотезой; если они будут противодействовать, это количество окажется слишком незначительным. Порою же это количество равно нулю; тогда явление сходит на-нет, и не знаешь, чему приписать это капризное молчание природы. Догадываемся ли мы об основании этого явления? Вряд ли мы здесь продвинулись бы вперед. Следует потрудиться над расчленением причин, следует отделить результат от их действий и свести очень сложные явления к явлению простому или, во всяком случае, обнаружить сложность причин, их связь или их противоположность с помощью какого-нибудь нового опыта. Это очень тонкое дело, иногда невозможное. Тогда система начинает колебаться, философы разделяются: одни продолжают за нее держаться, других увлекает опыт, который, повидимому, противоречит системе; споры продолжаются, пока пронизательность или случай не устранил противоречия; случаи постоянно меняются, и они плодотворнее пронизательности; в результате взгляды, почти отвергнутые, реабилитируются.

XLVII

Следует предоставить опыту свободно развиваться; раскрывать опыт лишь с той стороны, которая подтверждает, и скрывать противоречащую сторону,—это значит держать опыт в плену. Неудобство не в том, что имеешь взгляды, а в том, что ими ослепляешься, предпринимая опыт. Тщательным бываешь лишь в том случае, когда результат противоречит системе. Тогда не упускаешь из виду ничего из того, что может изменить облик явления или язык природы. В обратном случае наблюдатель снисходителен; он небрежно относится к обстоятельствам дела; он почти не думает выставлять свои возражения по отношению к природе; он верит ей с первого слова;

он не подозревает, что могут быть двусмысленности, и он заслуживает следующего замечания: «твоя профессия—допрашивать природу, а ты заставляешь ее говорить неправду или ты боишься ее собственных объяснений».

XLVIII

Если идти по плохой дороге, то чем быстрее идешь, тем легче сбиваешься; а как вернуться обратно, пройдя громадное пространство? Истощившиеся силы не позволяют этого. Тщеславие бессознательно сопротивляется; слепая привязанность к определенным принципам придает всему окружающему престиж, извращающий предметы. Уже не видишь их такими, каковы они в действительности, но такими, какими они должны были бы быть. Вместо того чтобы преобразовать понятия согласно реальности, ты, повидимому, ставишь себе целью видоизменять бытие согласно понятиям. Между всеми философами всего больше эта страсть свойственна доктринерам. Как только доктринер в своей системе возглавил четвероногого человека, он рассматривает его в природе, лишь как четвероное животное. Напрасно высший разум, которым он одарен, громко протестует против этого наименования его *животным*, напрасно его организация возражает против определения его *четвероногим*, напрасно природа обращает его взоры к небу: предубеждение системы пригибает его тело к земле. Согласно этому предубеждению, разум есть лишь более совершенный инстинкт; предубеждение это серьезно настаивает, что, когда человек намеревается превратить свои руки в ноги, он не может этого сделать только потому, что он потерял привычку.

XLIX

Поскольку диалектика некоторых доктринеров слишком своеобразна, следует дать ее образчик. Согласно Линнею, человек не есть ни камень, ни растение; следовательно, он животное. У него не одна нога; значит это не червь. Он не насекомое, раз у него нет усиков. У него нет плавников, следовательно, он не рыба. Не птица, так как у него нет оперения. Что же такое человек? У него рот четвероногого животного. У него четыре ноги; две передних служат ему для хватания, две задних—для ходьбы; следовательно, это четвероное животное. «Правда,—продолжает доктринер,—следуя моим естественнонаучным принципам, я никогда не мог отличить человека от обезьяны; ведь существуют обезьяны, у которых меньше шерсти, чем у некоторых людей; эти обезьяны ходят на двух ногах и пользуются своими ногами и своими руками, подобно людям. Что же касается речи, то это не есть для меня решающий признак; согласно своему методу, я допускаю

признаки, которые зависят только от числа, от фигуры, от пропорции и положения». Следовательно, ваш метод плох,—возражает логика. «Следовательно, человек есть животное с четырьмя ногами»,—заявляет натуралист.

L

Чтобы поколебать гипотезу, иногда достаточно бывает представить ей полный простор. Применим это средство к гипотезе эрлангенского доктора*,—его произведение, полное оригинальных и новых мыслей, заставит наших философов поломать голову. Предмет его исследования—наиболее всеобъемлющий из всех проблем, выдвигаемых человеческим умом; это—универсальная система природы. Автор начинает с краткого очерка взглядов своих предшественников и с указания недостаточности их исходных точек для объяснения всеобщего развития явлений. Одни из них исходили только из *протяженности* и *движения*, другие сочли нужным присоединить к протяженности *непроницаемость*, *подвижность* и *инерцию*. Наблюдения над небесными телами, или, если обобщить, физика больших тел, показали необходимость предположения силы, благодаря которой по определенному закону все части стремятся или тяготеют друг к другу; в связи с этим предположили существование силы *притяжения*, находящейся в прямо пропорциональном отношении к массе и обратно пропорциональном—к квадрату расстояния. Самые простые химические процессы или элементарная физика малых тел заставили обратиться к *притяжению*, которое следует другим законам; а невозможность объяснить образование растения или животного при помощи притяжения, инерции, подвижности, непроницаемости, движения, материи или протяженности заставила философа Баумана предположить существование еще других свойств природы. Он отверг *пластическую природу*, с помощью которой, не прибегая к материи и к разуму, хотели объяснить чудеса природы; он отверг *подчиненные разумные субстанции*, действующие на материю непонятным способом; он отверг *мысль об одновременности творения и образования субстанций*,—последние, будто бы, заключенные друг в друга, постепенно раскрываются, развиваясь из этого первого чуда; он отверг *мысль о преднамеренности их зарождения*, представляющей не что иное, как неразрывную цепь чудес, ежеминутно повторяющихся. Он пришел к выводу, что эти слабые философские системы не возникли бы вовсе, если бы у нас не было необоснованной боязни приписывать хорошо изученные модификации существу, сущность которого нам неизвестна; быть может, именно поэтому и вопреки нашему предубеждению эта сущность вполне совместима с данными модификациями. Но что представляет собою это существо? Каковы его модификации? Назову ли я его? Разумеется, отвечает доктор Бауман. Это существо—

* Подразумевается Мопертюи (он же—д-р Бауман).—*Ред*

материальное существо; его модификации—*желание, отвращение, память, ум*—словом, все свойства, которые мы приписываем животным, которые древними мыслителями разумелись под названием *чувственной души* и существование которых допускает доктор Бауман в соответствии с формой и массой. как в мельчайшей частице материи, так и в самом крупном животном. Если бы, говорит он, было неосторожным приписывать материальным молекулам ту или иную степень сознания, то это было бы одинаково неосторожным предположением и в отношении слона или обезьяны, и в отношении песчинки. Здесь наш философ из эрлангенской академии всеми силами старается избежать какого бы то ни было подозрения в атеизме; и ясно, что он поддерживает свою гипотезу с известным энтузиазмом только потому, что она ему кажется достаточной для объяснения самых трудных явлений, без того, чтобы притти к материалистическим выводам. Нужно прочесть его книгу, чтобы научиться примирять самые смелые философские идеи с глубочайшим уважением к религии. Бог сотворил мир,—так утверждает доктор Бауман,—это уже наше дело, если это только возможно, открыть законы, которыми он пожелал сохранить мир, и средства, которые он определил для воспроизведения индивидов. Здесь нам открыт широкий простор; мы можем выставить наши точки зрения; главные же мысли доктора сводятся к следующему.

Семя, извлеченное из части, подобной той, которую оно должно образовать в чувствующем и мыслящем животном, имеет известное воспоминание о своем первоначальном состоянии; этим объясняется сохранение вида и сходства с родителями.

Может случиться, что семенная жидкость или обладает слишком большим количеством известных элементов, или же их ей недостает. По оплошности эти элементы могут оказаться не в состоянии соединиться, или же возникают странные соединения слишком большого количества элементов. Этим объясняется или невозможность зарождения, или возникновение уродливых порождений.

Некоторые элементы с необычайной легкостью соединяются неизменно одинаковым образом; если они различны, то этим объясняется образование бесконечно разнообразных микроскопических животных; если они схожи, то образуются полипы, которых можно сравнить с роем бесконечно малых пчел; пчелы эти, при отчетливом воспоминании хотя бы об одном положении, слепляются и остаются в таком состоянии в соответствии с тем положением, которое им наиболее свойственно.

Впечатление наличного положения может поколебать или погасить в памяти прошлое впечатление, так что образуется безразличие относительно положения, тогда получится бесплодие,—этим объясняется бесплодие мулов.

Ничто не препятствует элементарным частицам, наделенным умом и чувством, бесконечно уклоняться от того порядка, который составляет вид. Этим объясняется бесконечное количество видов животных, происшедших от одного первичного животного; отсюда бесконечное

число существ, возникших от одного первичного существа, этим доказывается, что в природе был один акт творения.

Но по мере накопления и образования новых сочетаний будет ли каждый элемент терять свою небольшую долю чувства и восприятия? Ни в какой мере,—говорит доктор Бауман,—эти свойства от него неотторжимы. К чему же это приведет? А вот к чему. Из восприятий этих объединившихся и сочетавшихся элементов возникнет единое восприятие в соответствии с массой и расположением; и вот эта-то система восприятий, в которой каждый элемент теряет память *о себе* и будет содействовать образованию сознания *всего*, образует душу животного. «Все восприятия элементов объединяются и, по-видимому, срастаются в одно восприятие, более сильное и более совершенное. Это последующее восприятие, каким-то образом сложившееся, так относится к входящим в его состав восприятиям, как органическое тело к своим элементам. Поскольку каждый элемент после своего соединения с другими слил свое восприятие с восприятием других и утратил свое *самосознание*, постольку не остается никакого воспоминания о первоначальном положении элементов, и вообще наше происхождение остается скрытым»*.

Здесь нам приходится очень удивляться либо тому, что автор не заметил невероятных выводов из своей гипотезы, либо тому, что он, обратив внимание на эти выводы, не бросил гипотезы. Теперь нам нужно приложить наш метод к рассмотрению его принципов. В таком случае я его спрошу: образует ли вселенная или общая совокупность всех чувствующих и мыслящих молекул нечто целое или нет? Если же он мне ответит, что она не образует целого, он одним словом подорвет бытие бога, допуская беспорядок в природе; и он разрушит основу философии, разорвав цепь, соединяющую все существа. Если он признает, что вселенная есть нечто целое, в котором элементы не меньше упорядочены, чем их частицы, и что эти частицы, реально отличные или различаемые только умом, упорядочены в элементе, а элементы—в животном, то придется признать, что в результате этого всеобщего сцепления мир, похожий на большое животное, будет обладать душой; а если мир будет бесконечным, то эта душа мира—не буду настаивать, что *будет, но может быть* бесконечной системой восприятий, и мир может оказаться богом. Сколько бы он ни протестовал против этих выводов, они от этого не потеряют своей истинности, и каким бы светом эти возвышенные идеи ни освещали глубины природы, от этого эти идеи не будут менее ужасными. Достаточно было обобщить их, чтобы заметить это. Обобщающий акт для гипотез метафизика играет такую же роль, как наблюдения и повторные опыты—для догадок физика. Верны ли эти догадки? Чем больше делают опытов, тем больше оправдываются

* См. этот отрывок в положении 52, стр. 78, также на предшествующих и последующих страницах очень тонкие и весьма правдоподобные приложения тех же принципов к другим явлениям.

догадки. Правильны ли гипотезы? Чем шире распространять выводы, тем большее количество истин они захватывают, тем большую достоверность и силу они приобретают. Наоборот: если догадки и гипотезы слабы и необоснованы, то можно отыскать либо какой-нибудь факт, либо открыть истину, в результате которых догадки рухнут. Если хотите, гипотеза доктора Баумана может разъяснить самую непонятную тайну природы—возникновение животных или, в более общем смысле,—образование всех органических тел. Камнем преткновения будет всеобщая связь явлений и бытие бога. Мы можем отвергнуть идеи эрлангенского доктора; мы недоучли бы запутанности явлений, которые он решил объяснить, недоучли бы плодотворности его гипотезы, неожиданных выводов, которые можно было бы из нее сделать, достоинства новых догадок в области проблем, которыми выдающиеся люди занимались во все века, недоучли бы трудности успешных опровержений его гипотез, если бы мы не взглянули на них, как на результат глубоких размышлений, как на смелое предприятие построить универсальную систему природы и как на замысел крупного философа.

LI

О ПЕРВИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Если бы доктор Бауман ввел свою систему в надлежащее русло и приложил бы свои идеи лишь к образованию животных, не распространяя их на природу души,—мне кажется, что я доказал бы, возражая ему, возможность применения их относительно бытия бога,—он бы не вверг себя в наиболее обnoxious вид материализма, приписывая органическим молекулам желание, отвращение, чувство и мысль. Следовало бы удовлетвориться предположением чувствительности, в тысячу раз меньшей, чем та чувствительность, которой всемогущий наделил животных, наиболее близких к мертвой материи. В результате этой глухой чувствительности и разницы в структуре для всякой органической молекулы имелось бы только одно самое удобное положение, которое она непрерывно искала бы, автоматически беспокоясь, как это случается с животными, когда они ворочаются во сне почти при полном бездействии их способностей,—покуда они не найдут положения, наиболее подходящего для спокойного сна. Было бы достаточно одного этого принципа, чтобы весьма просто и без всяких опасных выводов объяснить явления, им выставленные, и те бесчисленные чудеса, которые повергают в такое недоумение всех наших наблюдателей насекомых. Ему бы вообще следовало определить животное, как *систему различных органических молекул, которые вступают в разнообразные соединения, пока каждая из них не найдет наиболее подходящего положения для своей фигуры и для своего спокойного состояния; и это происходит у них под воздействием чувства, похожего на тупое и смутное осязание, данное молекулам тем, кто создал всю материю вообще.*

LII

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ И ИЗМЕРЕНИИ

Мы уже убедились, что, поскольку чувства составляют источник всех наших знаний, весьма важно уяснить, до каких пределов мы можем рассчитывать на их свидетельства; прибавим, что не менее существенно исследование помощников наших чувств, или инструментов. Это сфера нового приложения опыта; это новый источник длительных, мучительных и трудных наблюдений. Кажется, имеется средство сократить этот труд, оно заключалось бы в том, чтобы не считаться с сомнениями рациональной философии (ведь рациональная философия имеет свои сомнения) и хорошо усвоить по отношению ко всем количественным данным, до какой степени следует довести точность измерений. Сколько потрачено умения, труда и времени на измерения, которые можно было с такой пользой употребить на открытия!

LIII

Физику нужна исключительная осмотрительность, как в изобретении, так и в усовершенствовании инструментов; нужно всячески избегать аналогий, никогда не заключать от большего к меньшему, и от меньшего к большему; нужно исследовать все физические свойства употребляемых веществ. Физик никогда не достигнет успеха, если он к выставленным нами требованиям отнесется пренебрежительно; даже когда он примет все меры, сколько раз будет случаться, что небольшое препятствие, им не предвиденное или им не учтенное, окажется достаточным, чтобы загородить от него природу и заставить его бросить свой труд, когда он казался ему уже осуществленным.

LIV

О ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ

Ум не может все понять, воображение не может всего предвидеть, чувство бессильно, чтобы все подметить, а память,—чтобы все запомнить; великие люди рождаются так редко, прогресс в науках так часто задерживается вследствие переворотов; целые века исследований тратятся на то, чтобы восстановить знание прошлых времен,— в связи со всеми этими обстоятельствами было бы преступлением перед родом человеческим без разбора наблюдать все, Выдающиеся своим талантом люди, расходуя свое время, должны уважать самих себя и потомство. Что бы о нас подумало потомство, если бы мы ему смогли вручить только полную энтомологию, только грандиозную историю микроскопических животных? Для великих гениев существуют великие объекты, а для мелких умов—мелкие. Последним стоит заняться и этим, чтобы не бездельничать.

LV

О ПРЕПЯТСТВИЯХ

Недостаточно хотеть какой-нибудь вещи, одновременно приходится мириться со всем, что почти неразрывно связано с желаемой вещью; кто решил отдаться занятиям философией, тот должен быть готов не только к физическим препятствиям, свойственным природе его объекта, но и к множеству моральных препятствий, которые ему представляются, подобно тому, как представлялись прежним философам. Когда он будет испытывать препятствия, когда его не будут понимать, будут клеветать на него, компрометировать, разрывать на части, он должен будет сказать самому себе: «Разве только в мой век, разве только для меня существуют люди, преисполненные невежества и злобы, души, сжигаемые завистью, головы, сбитые с толку суеверием?» Если у него будет возникать потребность пожаловаться на своих сограждан, то пусть он скажет так: «Я жалуюсь на своих сограждан, но если бы можно было задавать им вопросы и спросить каждого из них, предпочел ли бы он быть автором в «Церковных ведомостях» («Nouvelles Ecclésiastiques») или Монтескье, автором «Американских писем» или Бюффоном, нашелся ли бы хоть один мало-мальски разумный человек, который стал бы колебаться в выборе? Итак, я убежден, что наступит время, и я получу единственное одобрение, которое для меня имеет значение, если мне удастся его заслужить».

А вы, пользующиеся званием философов и остроумных людей, не стыдящиеся походить на тех навязчивых насекомых, которые в продолжение своего кратковременного существования мешают людям в их занятиях и в их отдыхе,—какова ваша цель? Чего вы ждете от вашей ярости? Когда вы ввергнете в отчаяние всех сохранившихся славных писателей нашей нации, всех выдающихся гениев, что вы дадите ей взамен этого, каковы те удивительные произведения, которыми вы возместите для рода человеческого утрату того, что он мог бы получить?.. Вопреки вам среди нас и наших внуков будут в почете имена Дюкло, Даламберов, Руссо, имена Вольтеров, Мопертюи и Монтескье, имена Бюффионов и Добентонов. А если найдется кто-нибудь в будущем, кто будет помнить ваши имена, то он скажет: вот кто некогда преследовал выдающиеся умы своего времени; если у нас есть предисловие к «Энциклопедии», есть «История века Людовика XIV», есть «Дух законов» и есть «История природы», то только потому, что, к счастью, не во власти этих людей было лишить нас названных произведений*.

* Авторы перечисленных работ: Даламбер (предисловие к «Энциклопедии»), Вольтер («История века Людовика XIV»), Монтескье («Дух законов»), Бюффон («История природы»).—Ред.

LVI

О ПРИЧИНАХ

1. Если полагаться только на пустые догадки философии и на слабый ответ нашего разума, можно было бы поверить, что у цепи причин не было начала и что цепь действий не будет иметь конца. Предположите, что какая-нибудь молекула переместилась, перемещение это зависит не от нее самой; соответствующая причина восходит к следующей причине; эта последняя причина—к своей и так далее; таким образом, нельзя будет найти *естественных* пределов для причин в истекшем времени. Представьте себе, что молекула переместилась; это повлечет за собой соответствующее действие; это действие—новое действие, и так далее; и нельзя будет найти *естественных* пределов для действий во все последующие времена. Разум, потрясенный этим бесконечным рядом самых незначительных причин и самых незаметных следствий, отказывается от этого предположения и от некоторых других такого же рода только благодаря тому предвзвешиванию, что ничего не происходит вне пределов наших чувств и что всё кончается там, где мы больше не можем наблюдать. Но важнейшее отличие наблюдателя природы от ее истолкователя заключается в том, что последний начинает свои исследования там, где чувства и инструменты покидают первого. Он строит догадки о том, что еще должно быть, на основании того, что есть; из ряда обстоятельств он делает абстрактные и общие заключения, которые для него обладают всею достоверностью чувственных и специальных истин; он доходит до усвоения самой сущности порядка, он усматривает, что *голое* и *простое* сосуществование чувственного и мыслящего существа с какой-нибудь связью причин и действий недостаточно для того, чтобы вынести безапелляционный приговор, он здесь останавливается. Если бы он сделал лишний шаг, он вышел бы за пределы природы.

О КОНЕЧНЫХ ПРИЧИНАХ

2. Кто мы такие, чтобы объяснять цели природы? Неужели мы не замечаем, что мы восхваляем мудрость природы всегда за счет ее могущества и что мы из ее средств берем больше, чем приписываем ее целям? Это плохой способ объяснения природы, даже в естественной теологии. Это значит—примешивать человеческие догадки в дело божие; это значит—связывать самую существенную из теологических истин с судьбой гипотезы. Но достаточно самого обычного явления, чтобы показать, насколько исследование этих причин идет вразрез с подлинной наукой. Я могу себе представить, что физик в ответ на вопрос о природе молока скажет, что это пища, которая начинает заготавливаться у самки, когда она зачала, что природа ее предназначает для питания имеющегося родиться животного; определение это объ-

ясняет ли мне что-нибудь в вопросе образования молока? Как мне распенить выставленное назначение этой жидкости, как мне отнестись к другим физиологическим соображениям по этому вопросу, если я знаю, что встречались мужчины, у которых из груди просачивалось молоко, что соединение желудочных и грудных артерий* подтверждает вздутие груди под влиянием молока, чему подвержены иногда и девушки при приближении регул, что любая девушка может стать кормилицей, если она будет давать сосать грудь; я непосредственно наблюдал самку такой маленькой породы, что нельзя было найти подходящего самца, у нее никогда не было случки, она никогда не была беременна, а между тем соски у нее вздувались от молока, так что пришлось прибегнуть к обычным средствам, чтобы доставить ей облегчение. Как смешно слушать анатомов, когда они серьезно объясняют стыдливостью природы прикрытие, которое она набросила на некоторые части нашего тела, где нет ничего нескромного, требующего прикрытия. Употребление, предполагаемое другими анатомами, оказывает несколько меньше чести стыдливости природы, но не доставляет большей чести прозорливости анатомов. Физик, назначение которого просвещать, а не наставлять, должен будет оставить вопрос *зачем* и заняться только изучением того, *как* нечто происходит. Вопрос *как* извлекается из наблюдения над существами; вопрос *зачем* зависит от нашего ума; это вопрос наших систем; он находится в зависимости от прогресса наших знаний. Сколько бессмысленных идей, сколько ложных предположений, фантастических понятий в этих гимнах, которые складывались в честь творца некоторыми смелыми защитниками учения о конечных причинах! Вместо того чтобы разделять восторги пророка и восклицать ночью при виде бесчисленных звезд, которыми освещены небеса: «Небеса славословят бога» (Псалмы Давида, XVIII, 1), они отдаются суевериям своих догадок. Вместо того чтобы чтить всемогущего в самих творениях природы, они пали ниц перед призраками своего воображения. Если кто-нибудь под влиянием предрассудка сомневается в основательности моего упрека, я приглашаю его сравнить трактат, написанный Галеном, о назначении частей человеческого тела, с физиологией Бургава, а физиологию Бургава—с физиологией Галлера; я приглашаю потомство сравнить систематические и навеянные временем взгляды, высказанные в этом последнем произведении, с тем, чем будет физиология в будущие века. Человек своими узкими точками зрения думает составить славу предвечному, а предвечный, внимая человеку с высоты своего престола, зная его намерения, не протестует против его нелепых похвал, посмеиваясь над его суетностью.

* Это анатомическое открытие принадлежит г. Бертэн; в наши дни не было более блестящего открытия.

LVII

О НЕКОТОРЫХ ПРЕДРАССУДКАХ

Нет ничего ни в явлениях природы, ни в обстоятельствах жизни, что бы не могло оказаться западней для нашей опрометчивости. Так я склонен обозначить большую часть всеобщих аксиом, в которых готовы видеть здравый смысл народов. Говорят: *нет ничего нового под луной*, и это верно для тех, кто обращает внимание на грубую видимость. Но какую цену имеет эта мысль для философа, ежедневно стремящегося уловить самые незаметные отличия? Как расценит эту мысль тот, кто уверял, что на целом дереве не найдется двух листков, окрашенных в одинаковый для наших чувств зеленый цвет? * Что подумает об этом тот, кто, размышляя о большом числе даже известных причин, необходимо предполагаемых для объяснения определенного оттенка цвета, настаивал бы на абсолютной разнородности всего существующего, не считая, что он преувеличивает взгляд Лейбница? Так как точки пространства, в котором расположены тела, весьма различны, притом имеется бесчисленное количество причин, то не мог ли бы он предположить, что, пожалуй, никогда не было и, повидимому, не будет в природе двух травинки, окрашенных *абсолютно* в один и тот же зеленый цвет? Если существа последовательно меняются, переходя через самые незаметные оттенки, то неизменно текущее время должно будет в конце концов установить самое большое различие между формами, существовавшими в очень отдаленные времена, формами, существующими теперь, и теми, которые будут существовать в будущем; положение: *nil sub sole novum* ** есть лишь предрассудок, опирающийся на слабость наших органов, на несовершенство наших орудий и краткость нашей жизни. В вопросах нравственности часто провозглашается: *quot capita, tot sensus* ***; верна противоположная мысль: *голов много, взгляды же— вещь редкая*. В области литературы есть принцип: *о вкусах не спорят*; если под этим разумеется предписание не спорить с человеком о том, каков его вкус, то это глупость; если же под этим подразумевается, что нельзя отличить хорошего и дурного вкуса, то это ложь. Философ должен будет подвергнуть строгому исследованию все эти аксиомы ходячей мудрости.

* Имеется в виду Лейбниц.—*Ред.*

** *Лат.*—нет ничего нового под солнцем.—*Ред.*

*** *Лат.*—сколько голов, столько умов.—*Ред.*

LVIII

В О П Р О С Ы

Есть только один способ, чтобы быть однородным. Имеется бесчисленное количество возможных способов, чтобы быть разнородным. Мне представляется невозможным, чтобы все существа природы были созданы из безусловно однородной материи; это так же немыслимо, как представить себе, что они все одноцветны. Мне кажется естественным предположить, что различие явлений не может быть результатом чего-нибудь разнородного. Итак, я буду называть *элементами* различные разнородные вещества, необходимые для общего возникновения явлений природы; *природой* же я буду называть общий реальный результат или общие последовательные результаты сочетания элементов. Элементы по существу должны отличаться друг от друга; без этого все могло бы возникнуть из однородности, потому что все могло бы вернуться к ней. Существует, существовало или будет существовать естественное или искусственное сочетание, в котором элемент есть, был или будет доведен до крайней степени деления. В этом состоянии предельного деления молекула, содержащаяся в элементе, оказывается неделимой в смысле абсолютной неделимости, так как дальнейшее деление этой молекулы, выходя за пределы законов природы и того, что доступно искусству, может быть только умственной операцией. Поскольку возможное в природе или достигнутое искусственным путем крайнее состояние деления в связи с разнородностью материи, повидимому, не всюду одинаково, то из этого следует, что имеются молекулы, по существу отличные по своей массе и все же сами по себе абсолютно неделимые. Сколько существует веществ абсолютно разнородных или элементарных,—мы этого не знаем; мы не знаем также, каковы существенные отличия веществ, рассматриваемых нами, как абсолютно разнородные или элементарные вещества; равно мы не знаем, до какого предела доходит деление элементарного вещества, либо в искусственных образованиях, либо в созданиях природы, и так далее, и так далее, и так далее. Искусственное сочетание я присоединил к сочетанию естественному, ведь среди множества неизвестных нам фактов, которых мы никогда и не узнаем, имеется один до сих пор для нас скрытый, а именно: не доводит ли, не довела ли или не доведет ли какая-нибудь искусственная операция деления элементарной материи дальше того, чем оно производилось, производится или будет производиться в сочетании природы, предоставленной самой себе. На первом из последующих вопросов выяснится, почему я в некоторые свои тезисы ввел понятие настоящего, прошлого и будущего и зачем я включил идею последовательности в определение, данное мною природе.

1. Если явления не связаны друг с другом, то нет философии. Все явления оказались бы связанными, если бы даже состояние какого-то не было устойчивым. Но если бы состояние существа было

подвержено постоянной смене, если бы природа находилась в состоянии становления, несмотря на цепь, связывающую явления, то не было бы никакой философии. Вся наша естественная наука становится такой же преходящей, как и слова; то, что мы принимаем за историю природы, есть лишь очень неполная история одного мгновения. Итак, я спрашиваю, всегда ли были и всегда ли будут металлы такими, каковы они сейчас; растения были ли и будут ли всегда такими, каковы они теперь; были ли и всегда ли будут также животные такими, каковы они в настоящее время, и так далее? После глубокого размышления над некоторыми явлениями возникает сомнение, для вас, скептиков, простительное, заключающееся не в вопросе о том, был ли мир создан, но в вопросе о том, таков ли он, каким он был и каким он будет?

2. В животном и растительном царстве индивид, так сказать, возникает, растет, развивается, приходит в упадок и гибнет; не то же ли происходит с целыми видами? Если бы вера не учила нас, что животные вышли из рук творца в таком виде, какими мы их видим, если бы позволительно было малейшее сомнение в вопросе их возникновения и конца, то предоставленный своим догадкам философ не мог ли бы предположить, что от века мир животных обладал своими особенностями, рассеянными и смешанными в массе веществ; что с этими элементами случилось то, что они соединились, раз это было возможно, что эмбрион, сформировавшийся из этих элементов, прошел через бесконечное число органических ступеней и этапов развития, что у него последовательно были движения, ощущения, понятия, мысли, размышления, сознание, чувства, страсти, знаки; жесты, звуки, членораздельные звуки, язык, законы, науки, искусства; что между каждой из этих стадий протекали тысячелетия, что, может быть, существуют другие пути развития и другие стадии роста, которых мы не знаем, что была или предстоит остановка, что он удаляется или что он удалится от этого состояния вследствие вечного разрушения, во время которого его способности покинут его, как они некогда в него внедрились, что когда-нибудь он совсем исчезнет из природы или, вернее, что он будет продолжать в ней свое существование, но в совершенно другой форме и с совсем другими способностями, чем наблюдаемые в нем в данный момент времени? Религия не дает нам уклоняться и сберегает наши силы. Если бы она не бросила нам света на происхождение мира или на общую систему вселенной, сколько бы различных гипотез пришлось нам выдвинуть, чтобы отгадать тайну природы? Поскольку эти гипотезы все одинаково ложны, они бы нам казались все одинаково правдоподобными. Вопрос, почему *ничто существует*,—самый трудный вопрос из всех предлагаемых философией; на него отвечает только откровение.

3. Взглянем на животных и на необработанную землю, которую они топчут ногами; обратим свое внимание на органические молекулы и на жидкость, в которой они двигаются; посмотрим на насекомых, наблюдаемых через микроскоп, и на вещество, которое их порождает и

их окружает,—будет ясно, что в целом материя разделяется на материю мертвую и живую. Но как это возможно, чтобы материя была не однородной, целиком живой, либо мертвой; живая материя—всегда ли она жива? А мертвая материя—всегда ли она и действительно ли она мертвая? Не умирает ли живая материя? Не начинает ли когда-нибудь жить мертвая материя?

4. Нет ли какого-нибудь осязательного отличия между мертвой и живой природой, кроме органического признака и реальной или видимой самопроизвольности движения?

5. Не есть ли то, что мы называем живой материей, просто самодвижущаяся материя? А то, что мы называем мертвой материей, не есть ли это такая материя, которая приводится в движение лишь другой материей?

6. Если живая материя есть материя самодвижущаяся, то как она может перестать двигаться, не умирая?

7. Если существует сама по себе живая или мертвая материя, то достаточно ли этих двух принципов для общего образования всех форм и всех явлений?

8. В математике реальная величина, присоединенная к мнимой величине, составляет мнимое целое, а в природе, если присоединить живую молекулу к молекуле мертвой природы, целое будет ли живым или мертвым?

9. Если составное целое может быть живым или мертвым, когда и почему оно будет живым, когда и почему оно будет мертвым?

10. Мертвое или живое,—оно существует в известной форме; какова бы ни была эта форма, что лежит в его основании?

11. Образцы—являются ли они основой форм? Что такое образец? Есть ли это реальное существо, предшествующее форме? Или это только мыслимый предел энергии живой молекулы, связанной с мертвым или живым веществом; граница, определенная отношением всяческих энергий к всевозможным видам сопротивления? Если это реальное и ранее существовавшее существо, то как оно образовалось?

12. Самостоятельно ли изменяется энергия живой молекулы, или же она меняется лишь по количеству, качеству и согласно формам мертвой или живой материи, с которой она связана?

13. Существует ли живая материя, специфически отличная от другой живой материи, или всякая живая материя по существу едина и свойственна всему? Тот же вопрос я ставлю и относительно мертвой материи.

14. Сочетается ли живая материя с другой живой материей? Как это сочетание происходит? Каков результат этого сочетания? Тот же вопрос я ставлю и относительно мертвой материи.

15. Если бы мы предположили, что всякая материя может быть только живой или только мертвой, то могло ли бы что-нибудь существовать кроме мертвой или живой материи? Не могли ли бы живые молекулы восстанавливать жизнь после ее утери, чтобы вновь ее потерять; и так далее, до бесконечности.

Когда я обращаю свои взоры на созданное руками человеческими, когда я со всех сторон вижу воздвигнутые города, вижу употребление элементов, наблюдаю определенные языки, цивилизованные народы, сооруженные порты, смотрю, как пересекаются моря, узнаю, что земля и небо измерены,—мне мир представляется очень древним. Когда же я наблюдаю, как люди сомневаются в самых основах медицины и сельского хозяйства, как они сомневаются в самых обычных свойствах веществ, сомневаются в болезнях, которым они подвергнуты, не знают, как обдѣлывать дерево, не знают формы плуга, мне кажется, что жизнь на земле началась только вчера. И если бы люди были мудры, они бы, наконец, отдались исследованиям, касающимся их благосостояния, и стали бы отвечать на мои праздные вопросы не раньше, чем через тысячу лет, или даже, имея все время в виду то ничтожное место, которое они занимают в пространстве, и ничтожную продолжительность своей жизни, они бы и не сообразовали никогда ответить на мои вопросы.

МОЛИТВА

Я начал с природы, которая была названа людьми твоим творением, кончу же я мыслью о тебе, чье имя на земле—бог.

О боже! Я не знаю, существуешь ли ты; но я буду отдаваться своим мыслям, как если бы ты видел мою душу, я буду действовать так, как будто бы я находился перед тобой.

Если я когда-нибудь согрешал против своего разума или твоего закона, то я буду менее удовлетворен своей прошлой жизнью, но все же я буду спокоен насчет моей будущей судьбы, потому что ты забыл мою вину, как только я ее осознал.

Я ни о чем тебя не прошу в этом мире, ведь течение событий само по себе необходимо, если тебя нет; а если ты существуешь, то оно необходимо по установленным тобою законам.

На том свете я жду от тебя награды, если существует тот свет; но вместе с тем, все, что я делаю на этом свете, я делаю для себя.

Если я следую благому пути, то это делается без усилий; если я покидаю злое, то без мысли о тебе.

Я бы не мог помешать себе любить истину и добродетель и ненавидеть ложь и порок, если бы даже я знал, что тебя не существует, или если бы я верил, что ты существуешь и оскорбляешься этим.

Вот каков я в настоящем своем виде, необходимо организованная часть вечной и необходимой материи, а может быть, и твое создание.

Но если я хорош и добр, какое дело ближним до того, происходит ли это вследствие счастливой организации, вследствие свободного действия моей воли или при помощи благодати?

* * *

И всякий раз, молодой человек, когда ты будешь исповедывать этот символ веры нашей философии, прибавляй также и следующее:

Только честному человеку подобает быть атеистом.

Злой человек, отрицающий бытие бога, есть судья в своем собственном деле: это человек, который боится и который знает, что он должен бояться мстителя за дурные поступки, им совершенные.

Наоборот, добродетельный человек, которому приятно льстить себя надеждой будущих наград за свои добродетели, действует вопреки собственным интересам.

Один действует в свою пользу, другой—против самого себя. Первый никогда не может быть уверен в истинных мотивах, определяющих способ его философствования. Второй не может сомневаться в том, что очевидные факты заставляют его принять мнение, резко противоречащее его сладчайшим и наиболее лестным надеждам, которыми он мог бы убаюкивать себя.

Либо бог разрешил, либо всеобщий механизм, называемый судьбою, захотел, чтобы мы в продолжение жизни были предоставлены всякого рода случайностям; если ты мудр и лучший отец, чем я, ты с молодых лет убедишь своего сына, что он хозяин своей жизни, чтобы он не жаловался на тебя, даровавшего ему жизнь.

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ

(1770)

Не знаю, в каком смысле философы полагали, будто материя безразлична к движению и покою. Хорошо известно, что тела тяготеют друг к другу; это значит, что все частицы тела взаимно притягиваются; это значит, что в этом мире все либо перемещается, либо оказывает сопротивление, или же одновременно перемещается и оказывает сопротивление.

Повидимому, это предположение философов напоминает положение математиков, допускающих точки, не имеющие никакого измерения; линии—без ширины и глубины; поверхности—без толщины; или, быть может, у них идет речь об относительном покое одной массы в отношении другой. Все находится в относительном покое на корабле, который буря бросает из стороны в сторону. Ничто не пребывает в абсолютном покое, даже соединившиеся воедино молекулы, будь то молекулы корабля или тел, в нем находящихся.

Если в каком-нибудь теле признается такое же стремление к покою, как к движению, то это, повидимому, под влиянием взгляда на материю, как на нечто однородное; это происходит благодаря абстракции от всех существенных свойств; на материю смотрят, как на нечто неизменное в тот почти неделимый момент, покуда ее рассматривают; на состояние покоя смотрят, как на относительный покой одного агрегата по его связи с другим; забывают, что в то же время, как рассуждают о безразличии тела к движению или покою, глыба мрамора стремится разложиться; мысленно уничтожается и общее движение, одушевляющее все тела, и их своеобразное воздействие друг на друга, разрушающее их все; это безразличие, само по себе мнимое, но мгновенное, не извращает законов движения.

Тело, по мнению некоторых философов, само по себе бездейтельно и бессильно; это ужасная ошибка, идущая вразрез со всякой здоровой физикой, со всякой здоровой химией: тело преисполнено деятельности и силы и само по себе, и по природе своих основных свойств,—рассматриваем ли мы его в молекулах или в массе.

К этому добавляют: *чтобы представить себе движение вне существующей материи, следует вообразить силу, на нее воздействующую*. Это не так: молекула, наделенная свойством, присущим ее природе, есть сама по себе деятельная сила. Она воздействует на другую молекулу, в свою очередь воздействующую на первую. Все эти неправильные умозаключения опираются на ложное представление об однородности материи. Если вы так хорошо себе представляете материю в состоянии покоя, можете ли вы себе представить огонь в покоящемся состоянии? В природе все полно разнообразной деятельностью, подобно этой груде молекул, называемой вами *огнем*. В этой груде, которую вы называете огнем, у всякой молекулы своя природа, свое действие.

Таково истинное различие между покоем и движением. Дело в том, что абсолютный покой есть абстрактное понятие, которое в природе не существует, и что движение есть такое же реальное свойство, как длина, ширина, глубина. Мне нет дела до того, что у вас в голове. Меня не касается то обстоятельство, смотрите ли вы на материю, как на однородную или неоднородную. Какое мне дело до того, что, абстрагируясь от ее качеств и считаясь только с ее бытием, вы ее берете в состоянии покоя? Какое мне дело до того, что в связи с этим вы ищете причину, приводящую ее в движение? Делайте с математикой и с метафизикой все, что вам угодно; но я—физик и химик; я беру тела такими, каковы они в природе, а не в моей голове; для меня они существующие, разнообразные тела, наделенные свойствами и деятельностью, они действуют в природе, как в лаборатории, где искра не сосуществует рядом с тремя соединенными молекулами селитры, угля и серы, без того, чтобы произошел неизбежный взрыв.

Тяжесть вовсе не есть *стремление к покою*; это стремление к пространственному движению.

Говорят еще так: *необходимо действие, необходима сила, чтобы материя двигалась*. Да,—или внешняя молекуле сила, или свойственная ей, существенная, внутренняя сила, составляющая своеобразную природу молекулы огня, воды, селитры, щелочи, серы; какова бы ни была эта природа, из нее следует сила, действие, выходящее за ее пределы, и воздействие других молекул на нее.

Сила, воздействующая на молекулы, истощается; внутренняя сила молекулы неизощима. Она неизменна, вечно. Эти две силы могут вызвать два вида *сопротивления*: первый вид—напряжение, которое может прекратиться; другой—непрерывное *сопротивление*. Следовательно, нелепо или бессмысленно говорить, будто материя имеет реальную противоположность в движении.

Количество силы в природе неизменно; но сумма сопротивлений и сумма передвижений изменяются. Чем больше сумма сопротивлений, тем меньше сумма передвижений, и, наоборот, чем больше сумма передвижений, тем меньше сумма сопротивлений. Благодаря пожару города сразу возникает грандиозное количество передвижений.

Атом приводит в движение мир; это совершенно верно, как и то, что атом движим миром; так как у атома имеется своя собственная сила, она не может быть без действия.

Если ты физик, никогда не говори: *тело, как тело*; ведь это уже не дело физики,—это значит составлять абстракции, которые ни к чему не приводят.

Не следует смешивать действие с массой; может быть большая масса и небольшое действие, а может иметься небольшая масса и большое действие. Молекула воздуха взрывает стальную глыбу, достаточно четырех крупинок пороха, чтобы раздробить скалу.

Да, разумеется, если сравнивать однородный агрегат с другим агрегатом из того же однородного вещества, если идет речь о действии и противодействии этих двух агрегатов, то относительные величины их энергии прямо пропорциональны массам. Но когда мы имеем дело с разнородными агрегатами, с разнородными молекулами, то действуют другие законы. Имеется столько же различных законов, сколько существует различий в силах, внутренних и свойственных каждой элементарной молекуле, определяющей состав тела.

Тело сопротивляется горизонтальному движению. Что это значит? Хорошо известно, что существует общая сила, свойственная всем молекулам обитаемого нами земного шара, сила, которая давит в известном, перпендикулярном или почти перпендикулярном направлении к поверхности шара. Но эта главная и всеобщая сила испытывает противодействие со стороны сотни тысяч других. Стеклообразная трубка, будучи разогрета, заставляет развеваться листочки золота; ураган наполняет воздух пылью; жара вызывает испарение воды; испаряющаяся вода увлекает с собою молекулы соли; в то время как масса меди давит на землю, на медь начинает действовать воздух, заставляя окисляться ее внешнюю поверхность; таким образом начинается распадение тела. То, что я говорю о массах, следует отнести и к молекулам.

На всякую молекулу следует смотреть, как на средоточие трех родов действий: действия тяжести, или тяготения, действия внутренней силы, свойственной ее природе, как молекулы воды, огня, воздуха, серы, действия всех других молекул на нее. Эти действия могут соединяться или разъединяться, и если они соединяются, то действие молекулы—самое сильное из всех возможных для нее. Чтобы составить себе представление об этом наивозможно сильнейшем действии, пришлось бы, так сказать, нагромоздить кучу нелепейших предположений, поставить молекулу в совершенно метафизическое положение.

В каком смысле можно сказать, что тело тем больше сопротивляется движению, чем больше его масса? Смысл здесь не тот, будто, чем больше масса, тем слабее* его давление на препятствие; каждый носильщик знает, что это не так; это правильно только

* Здесь по смыслу должно быть: сильнее.—Ред.

относительно направления, противоположного его давлению; в этом направлении, действительно, оно тем больше сопротивляется движению, чем больше его масса. В направлении действия тяжести точно так же верно, что тяжесть, сила или стремление к движению возрастает пропорционально массе. Что же все это значит? Ровню ничего.

Я не больше удивляюсь падению тел, чем тому, что пламя направляется вверх; я не удивляюсь тому, что вода действует во всех направлениях и давит в зависимости от высоты и основания, так что с небольшим количеством жидкости я могу разбить самые крепкие сосуды; я не удивляюсь, что пар, расширившись, растворяет самые твердые тела в папиновом котле и поднимает самые тяжелые тела в паровых машинах. Но я останавливаю свой взор на общей массе тел, я вижу все в действии и в противодействии, я вижу, как все разрушается под видом одной формы и восстанавливается под видом другой; я наблюдаю перегонки, разложения, всевозможные соединения, явления, несовместимые с однородностью материи; отсюда я заключаю, что материя разнородна, что существует бесконечное разнообразие элементов в природе, что у каждого из этих элементов благодаря его разнообразию есть своя самобытная, внутренняя, неизменная, вечная, неразрушимая сила и что все эти внутренне присутствующие телу силы действуют, выходя за его пределы; таким образом создается движение или, вернее, всеобщее брожение во вселенной.

Что делают все те философы, ошибки и ложные выводы которых я здесь опровергаю? Они привязываются к одной какой-нибудь исключительной силе, быть может, общей всем молекулам материи; я говорю *«быть может»*, потому что я несколько бы не был удивлен, если бы в природе встретилась такая молекула, которая, присоединившись к другой, сделала бы эту смесь более легкой. Ежедневно подвергают возгонке одно инертное тело при помощи другого инертного тела, и когда исследователи, признавая из всех сил вселенной только силу тяжести, заключают отсюда о безразличии материи к покою или движению или, вернее, указывают на стремление материи к покою, то им кажется, что они решили вопрос, между тем они его даже не коснулись.

Если смотреть на тело, как на более или менее сопротивляющееся, а не как на нечто тяжелое или стремящееся к центру тяжести, то этим ему уже приписывается сила, приписывается самобытное и внутреннее действие; но имеются и другие силы, из которых одни действуют во всех направлениях, другие же в определенных направлениях.

Невозможно предположение чего-либо, что существует вне материальной вселенной; никогда не следует делать подобных предположений, потому что из этого нельзя сделать никаких выводов.

Все, что говорится о невозможности ускорения движения или скорости, наносит удар гипотезе однородной материи, но это не имеет отношения к тем, кто выводит движение материи из ее разнородности; предположение однородной материи приводит к ряду других нелепостей.

Если воздерживаться от решения вопросов головным способом, а рассматривать вещи во вселенной, можно будет, исходя из многообразия явлений, убедиться в разнообразии элементарных веществ; можно будет убедиться в многообразии сил, в многообразии действий и противодействий, в необходимости движения, а если допустить все эти истины, мы не будем больше говорить: я вижу материю существующей, я первоначально ее вижу в состоянии покоя,—ведь мы почувствуем, что это абстракция, из которой нельзя сделать никакого вывода. Бытие не вызывает ни покоя, ни движения; но бытие не есть единственное свойство тела.

Все физики, предполагающие, что материя безразлична по отношению к движению и покою, не имеют отчетливого представления о сопротивлении. Чтобы физики могли сделать какой-нибудь вывод из сопротивления, нужно было бы, чтобы это свойство проявлялось безразлично повсюду и чтобы его энергия была той же в любом направлении. В таком случае это было бы внутренней силой, существующей в любой молекуле, но такое сопротивление различно в соответствии с направлением, по которому тело могут толкать; оно больше в вертикальном, чем в горизонтальном направлении.

Отличие тяжести от силы инерции в том, что тяжесть не оказывает одинакового сопротивления во всех направлениях, между тем как сила инерции оказывает сопротивление во всех направлениях.

И почему бы сила инерции не могла свестись к тому, чтобы удерживать тело в его состоянии покоя и в состоянии движения,—исключительно благодаря понятию сопротивления, пропорционального количеству материи. Понятие чистого сопротивления одинаково приложимо к покою и движению; к покою,—когда тело находится в движении, к движению,—когда тело покоится. Без этого сопротивления перед движением не было бы толчка и не было бы остановки после толчка, ведь тело было бы ничто.

В опыте с шаром, висящем на нитке, тяжесть ликвидируется. Шар тянет нитку настолько, насколько нитка тянет шар. Таким образом, сопротивление тела зависит исключительно от силы инерции.

Если бы нитка тянула сильнее, чем шар своим весом, то шар поднялся бы. Если бы шар тянул своим весом больше, чем тянет нитка, он бы спустился, и т. д. и т. д.

РАЗГОВОР ДАЛАМБЕРА и ДИДРО

*

СОН ДАЛАМБЕРА

*

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

*

РАЗГОВОР ДАЛАМБЕРА И ДИДРО

(1769)

Даламбер. Я признаю, что трудно допустить существо, которое находится где-то и не соответствует ни одной точке пространства; существо непротяженное, которое, однако, занимает пространство и в полном своем составе пребывает в каждой части этого пространства; которое по существу отличается от материи и вместе с тем, с ней связано; которое за ней следует и приводит ее в движение, само, однако, оставаясь неподвижным; которое на нее воздействует и подвержено всем ее сменам; существо, о котором я не имею ни малейшего представления и обладающее столь противоречивой природой. Но тех, кто отрицает его, ждут новые затруднения: ведь если вы на его место ставите чувствительность, как общее и существенное свойство материи, то из этого следует, что и камень чувствует.

Дидро. А почему нет?

Даламбер. Этому трудно поверить.

Дидро. Тому, кто его режет, точит, дробит и не слышит его крика.

Даламбер. Мне было бы очень интересно, если бы вы мне сказали, в чем, по-вашему, заключается разница между человеком и статуей, между мрамором и телом.

Дидро. Разница небольшая. Мрамор делается из тела, тело — из мрамора.

Даламбер. Но это не то же самое.

Дидро. Точно так же, как то, что вы называете живой силой, не есть мертвая сила.

Даламбер. Я вас не понимаю.

Дидро. Я объяснюсь. Перемещение тела из одного места в другое не есть движение, а только результат. Движение имеется одинаково и в движущемся теле и в теле неподвижном.

Даламбер. Это совсем новый взгляд на вещи.

Дидро. От этого он не оказывается ложным. Устраните препятствия, которые мешают пространственному перемещению неподвижного тела, и оно передвинется. Внезапно разрядив воздух,

создайте безвоздушное пространство вокруг ствола этого громадного дуба, и содержащаяся в нем вода, внезапно расширившись, разорвет его на сотни тысяч частей. То же самое можно сказать о вашем теле.

Даламбер. Пусть так. Но какая связь между движением и чувствительностью? Неужели вы признаете пассивную и активную чувствительность, подобно живой и мертвой силе? Живая сила обнаруживается в передвижении, мертвая сила проявляется в давлении. Так и активная чувствительность характеризуется известными действиями, которые мы замечаем у животного и, пожалуй, у растений, а в пассивной чувствительности мы убеждаемся при переходе к состоянию активной чувствительности.

Дидро. Прекрасно. Теперь вы раскрыли эту связь.

Даламбер. Таким образом, у статуи лишь пассивная чувствительность; человек же, животное, быть может, даже растение одарены активной чувствительностью.

Дидро. Несомненно такова разница между глыбой мрамора и телесной тканью, но вы хорошо понимаете, что дело не сводится к одному этому.

Даламбер. Конечно. Каково бы ни было сходство между внешней формой человека и формой статуи, нет никакой связи в их внутренней организации. Резец самого ловкого скульптора не может создать малейшего кожного покрова. Но при помощи очень простого процесса можно создать переход от мертвой силы к живой силе; этот опыт повторится перед нашими глазами сотни раз ежедневно, между тем как я не очень вижу, каким образом тело из состояния пассивной чувствительности может перейти в состояние чувствительности активной.

Дидро. Вы просто не хотите этого заметить. Это тоже весьма обычное явление.

Даламбер. Скажите, пожалуйста, каково же это столь обычное явление?

Дидро. Я вам его укажу, раз вы хотите, чтобы вам стало стыдно. Это явление происходит всякий раз, когда вы едите.

Даламбер. Всякий раз, как я ем?

Дидро. Разумеется; ведь в то время, как вы едите, что вы делаете? Вы устраняете препятствия, мешающие активной чувствительности пищи. Вы ассимилируете ее с самим собой; вы из нее создаете тело, вы ее одухотворяете, вы делаете ее чувствительной; и то, что вы производите с пищей, то я сделаю с мрамором, когда мне это вздумается.

Даламбер. Каким же это образом?

Дидро. Каким образом? Я сделаю его съедобным.

Даламбер. Сделать мрамор съедобным,—это мне не кажется легким.

Дидро. Это мое дело указать вам, как это происходит. Я беру статуэтку, которую вы видите, кладу ее в ступку и сильными ударами песта...

Даламбер. Полегче, пожалуйста: это шедевр Фальконэ. Если бы еще это было скульптурой Гюэ или кого-нибудь другого...

Дидро. Фальконэ это безразлично; за статую заплачено, а Фальконэ мало прислушивается к тому, что говорят теперь, и вовсе не интересуется тем, что будут говорить о нем в будущем.

Даламбер. Дальше, начинайте толочь.

Дидро. Когда глыба мрамора превращена в незаметный наощупь порошок, я примешиваю этот порошок к перегною или чернозему, хорошо смешиваю все это, поливая образовавшееся месиво, даю ему гнить в продолжение года, двух лет, целого века; время для меня ничего не значит. Когда все это превратится в приблизительно одинаковое вещество, в перегной, знаете, что я сделаю?

Даламбер. Я уверен, что вы не едите перегноя?

Дидро. Нет, но есть средство соединения, усвоения между перегноем и мною; *latus*—как сказал бы химик.

Даламбер. А этот *latus*, что это—растение?

Дидро. Прекрасно. Я сею горох, бобы, капусту и другие овощи. Овощи питаются землей, а я питаюсь овощами.

Даламбер. Верно это или нет, но мне нравится этот переход от мрамора к перегною, от перегноя к растительному царству, а от растительного царства—к животному царству, к телу.

Дидро. Итак, я из тела или из души, как говорит моя дочка, делаю активно чувствительную материю; и если я не разрешаю выставленной вами проблемы, я во всяком случае близко к ней подхожу; ведь вы признаете, что между куском мрамора и чувствующим существом большая разница, чем между чувствующим существом и существом мыслящим.

Даламбер. Согласен; при всем том чувствующее существо еще не есть существо мыслящее.

Дидро. Прежде чем сделать дальнейший шаг, позвольте рассказать вам историю одного из величайших математиков Европы. Что собою раньше представляло это удивительное создание? Ничего.

Даламбер. Как ничего? Из ничего ничего и не бывает.

Дидро. Вы слишком буквально понимаете слова. Я хочу сказать, что еще до того, как его мать, прекраснейшая и преступная канонисса Тансэн, достигла зрелого возраста, еще до того, как военный Латуш достиг возраста юноши, молекулы, долженствовавшие сформировать первоначальные зачатки моего математика, были рассеяны в молодых и хрупких организмах того и другого, просачиваясь вместе с лимфой, циркулировали с кровью, пока, наконец, они не попали в местилище, предназначенное для их соединения, в половые яички и железы его отца и матери. Но вот редкостное яйцо сформировалось; по фалопиевым трубам оно, по общему мнению, было введено в матку; вот оно прикрепилось к ней длинным стеблем, вот, постепенно увеличиваясь, оно приближается к состоянию зародыща, вот подходит момент его выхода из мрачной темницы, вот он родился и брошен на ступеньки храма св. Иоанна Круглого, от которого

он получил свое имя; вот он взят из воспитательного дома, вот он у груди доброй стекольщицы г-жи Руссо, вскормлен, сделался сильным телом и духом, вот он литератор, механик, математик. Как это произошло? При помощи еды и других чисто механических процессов. Вот в нескольких словах общая формула: ешьте, переваривайте, перегоняйте *in vasi licito et fiat homo secundum artem**. И тот, кто стал бы излагать в академии этапы развития при формировании человека или животного, ссылаясь бы только на материальные силы, а результат в последовательном порядке проявился бы в виде пассивного существа, чувствующего существа, мыслящего существа, в виде существа, разрешающего проблему предварения равенств, существа высочайшего, поразительного, существа стареющего, приходящего в упадок, умирающего, разложившегося и вернувшегося в плодотворную землю.

Даламбер. Следовательно, вы не верите в предсуществующие зародыши? **

Дидро. Нет.

Даламбер. А! Мне это очень приятно!

Дидро. Это противоречит опыту и разуму: опыту, который тщетно искал бы эти зародыши в яйце и у большей части животных до известного возраста; противоречит разуму, который нас учит, что делимость материи имеет в природе свой предел, хотя для мысли такого предела нет; поэтому ни с чем несообразно представление, будто вполне сформировавшийся слон содержится в атоме, а в атоме этого слона другой сформировавшийся слон, и так до бесконечности.

Даламбер. Но возникновение первых животных необъяснимо без этих предсуществующих семян.

Дидро. Если вас смущает вопрос о том, что первоначальнее—яйцо или курица, то, значит, вы предполагаете, что животные с самого начала были таковы, какими они являются сейчас. Какое безумие! Мы не знаем, ни чем они были, ни во что они обратятся. Незаметный червячок, который возится в грязи, быть может, достигнет состояния крупного животного, а громадное животное, поражающее нас своей величиной, быть может, станет со временем червячком, являясь, пожалуй, своеобразным мгновенным произведением нашей планеты.

Даламбер. Что вы такое говорите?

Дидро. Я бы вам сказал... но это нас отвлечет в сторону от нашего первоначального рассуждения.

Даламбер. Ну, и что же из этого? Мы или вернемся к нему, или нет.

* — в соответствующем сосуде, и пусть получится человек по правилам искусства.—*Ред.*

** Согласно представлению о «предсуществующих зародышах», зародыш представляет собою в миниатюрных размерах вполне сформировавшийся организм.—*Ред.*

Дидро. Позвольте мне перенестись на несколько тысячелетий вперед?

Даламбер. Пожалуйста. Почему же нет? Время для природы не имеет значения.

Дидро. Итак, позвольте ли вы мне загасить наше солнце?

Даламбер. С тем большей охотой, что ведь не оно первое потухнет.

Дидро. Если солнце потухнет, что произойдет? Погибнут растения, животные, земля станет одинокой и немой. Зажгите вновь это светило, и тотчас же вы восстановите необходимую причину бесконечного числа новых поколений, по отношению к которым я не решусь утверждать, что теперешние наши растения и животные возникнут вновь или нет, когда пройдут века.

Даламбер. Но почему, соединившись, те же самые рассеянные элементы не могут привести к тому же результату?

Дидро. Ведь все подчинено законам природы, и тот, кто предполагает новое явление или вызывает его из прошлого, воссоздает новый мир.

Даламбер. Этого глубокий мыслитель не стал бы отрицать, но, возвращаясь к человеку, поскольку ход природы его вызвал, вспомните, что вы остановились на переходе существа чувствующего к существу мыслящему.

Дидро. Я помню.

Даламбер. Искренно вам скажу, что вы меня премного обяжете, разрешив этот вопрос. Мне хотелось бы поскорее его выяснить.

Дидро. Если я не до конца все выясню, какое это будет иметь значение для ряда непровержимых фактов?

Даламбер. Никакого. Нам только пришлось бы на этом остановиться.

Дидро. А чтобы идти вперед, разве позволительно измыслить какого-то деятеля, противоречивого по своим свойствам, измыслить слово, лишенное смысла,—нечто непонятное?

Даламбер. Нет.

Дидро. Могли ли бы вы мне определить, в чем заключается бытие чувствующего существа в отношении к самому себе?

Даламбер. В том, что оно сознает самого себя, начиная с первого момента сознания до настоящего времени.

Дидро. А на что опирается это сознание?

Даламбер. На память о своих действиях.

Дидро. А что было бы без этой памяти?

Даламбер. Без этой памяти человек не обладал бы самим собой, так как, испытывая свое бытие только в непосредственном восприятии, он не имел бы никакой истории своей жизни. Для него жизнь была бы лишь прерывной последовательностью ощущений, ничем не связанных.

Дидро. Превосходно. А что такое память? Каково ее происхождение?

Даламбер. Она связана с известной организацией, возрастающей, слабеющей и иногда полностью погибающей.

Дидро. Таким образом, существо чувствующее и обладающее этой организацией, пригодной для памяти, связывает получаемые впечатления, созидает этой связью историю, составляющую историю его жизни, и доходит до самосознания; тогда оно может отрицать, утверждать, умозаключать, мыслить.

Даламбер. Все это так. Для меня остается лишь одно затруднение.

Дидро. Вы ошибаетесь. Их остается гораздо больше.

Даламбер. Но одно затруднение—главное; а именно, мне кажется, что одновременно мы можем думать только об одном каком-нибудь предмете, между тем, не говоря уже о бесконечной цепи рассуждений, охватывающей тысячи понятий, чтобы образовать простое суждение, мы сказали бы, что нужно иметь по меньшей мере два элемента: *объект*, который кажется неизменно пребывающим перед взором ума, в то время как ум занят *свойством*, им утверждаемым или отрицаемым.

Дидро. Я думаю, что это так. Это в иных случаях позволяло мне сравнивать нервные волокна наших органов с чувствительными, вибрирующими струнами. Чувствительная, вибрирующая струна приходит в колебание и звучит еще долго спустя после удара. Вот это-то дрожание, этот своеобразный и необходимый резонанс не позволяет объекту исчезать в то время, как ум занят соответствующим свойством. Но у дрожащих струн еще одна особенность, заключающаяся в том, что струна заставляет дрожать соседние; таким образом, одно представление вызывает другое; эти оба представления—третье; все три представления—четвертое, и так далее, без того, чтобы можно было определить границу идей, которые возникают и связываются у философа, погруженного в думы или занятого размышлениями в тиши и темноте. Этому инструменту свойственны удивительные скачки, и порой возникшее представление вызывает созвучное представление, отделенное от первого непостижимым расстоянием. Если мы можем наблюдать это явление у звучащих струн, инертных и друг от друга отделенных, то это явление непременно встретится среди животных и связанных точек, среди непрерывных и чувствительных нервных волокон.

Даламбер. Если это и неверно, то во всяком случае очень остроумно. Но пришлось бы предположить, что вы незаметно впадаете в затруднение, которого хотели избежать.

Дидро. Какое же?

Даламбер. Вы против различения двух субстанций?

Дидро. Я этого не скрываю.

Даламбер. Если присмотреться поближе, вы из разума философа создаете существо, отличное от инструмента, создаете своеобразного музыканта, прислушивающегося к звучащим струнам и высказывающегося по поводу их консонанса или диссонанса.

Дидро. Возможно, что я дал повод к этому возражению, которое,

быть может, вы бы мне сделали, если бы вы учли разницу между инструментом в лице философа и между инструментом, представляющим собою фортепиано; инструмент-философ одарен чувствительностью, он одновременно и музыкант и инструмент. Будучи чувствительным, он обладает мгновенным сознанием вызываемого звука; как животное существо, он обладает памятью. Эта органическая способность, связывая в нем звуки, созидает и сохраняет мелодию. Предположите, что фортепиано обладает способностью ощущения и памятью, и скажите, разве бы оно не стало тогда само повторять тех арий, которые вы исполняли бы на его клавишах? Мы—инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства—клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют; вот, по моему мнению, все, что происходит в фортепиано, организованном подобно вам и мне. Пусть дано впечатление, причина которого находится внутри или вне инструмента, возникает ощущение, вызываемое этим впечатлением, ощущение длительное: ведь нельзя себе представить, чтобы оно вызывалось и исчезало бы во мгновение ока; за ним следует другое впечатление, причина которого также находится внутри или вне такого животного существа; тогда возникает второе ощущение и голоса, обозначающие ощущения при помощи естественных или условных звуков.

Даламбер. Понимаю. Таким образом, если бы это ощущающее, одушевленное фортепиано было наделено способностью питания и воспроизведения, оно бы жило и порождало самостоятельно или с своей самкой маленькие, одаренные жизнью и резонирующие фортепиано.

Дидро. Без сомнения. Что же другое, по вашему мнению, представляет зяблик, соловей, музыкант, человек? Какое другое отличие установите вы между чижигом и ручным органчиком? Но возьмите яйцо. Вот что ниспровергает все учения теологии и все храмы на земле. Что такое это яйцо? Масса неощущающая, пока в него не введен зародыш, а когда в него введен зародыш, то что это такое? Масса неощущающая, ибо этот зародыш в свою очередь есть лишь инертная и грубая жидкость. Каким образом эта масса переходит к другой организации, к способности ощущать, к жизни? Посредством теплоты. А что производит теплоту? Движение. А каковы будут последовательные результаты движений? Не спешите ответить мне, присядьте и будем в отдельности наблюдать последовательно этап за этапом. Сначала это будет колеблющаяся точка, потом ниточка, которая растягивается и окрашивается, далее—формирующееся тело; появляется клюв, концы крыльев, глаза, лапки; желтое вещество, которое разматывается и производит внутренности, наконец,—это животное. Это животное двигается, волнуется, кричит. Я слышу его крики через скорлупу, оно покрывается пухом, оно начинает видеть. От тяжести голова его качается; оно непрестанно направляет свой клюв против внутренней стенки своей темницы. Вот она проломлена; животное выходит, оно двигается, летает, раздражается,

убегает, приближается, жалуется, страдает, любит, желает, наслаждается; оно обладает всеми вашими эмоциями, проделывает ваши действия. Станете ли вы утверждать вместе с Декартом, что это—простая машина подражания? Но над вами расхохотутся малые дети, а философы ответят вам, что, если это машина, то вы—такая же машина. Если вы признаете, что между этими животными и вами разница только в организации, то вы обнаружите здравый смысл и рассудительность, вы будете правы; но отсюда будет вытекать заключение против вас, именно, что из материи инертной, организованной известным образом, под воздействием другой инертной материи, затем теплоты и движения, получается способность ощущения, жизни, памяти, сознания, эмоций, мышления. Остается только одно из двух: представить себе в инертной массе яйца какой-то «скрытый элемент», который обнаруживает свое присутствие в определенной стадии развития, или же предположить, что этот незаметный элемент неизвестным образом проникает в яйцо через скорлупу в определенный момент развития. Но что это за элемент? Занимает ли он пространство или нет? Как он проникает туда или ускользает, не двигаясь? Где он находился? Что он там делал в другом месте? Был ли он создан в тот момент, когда он понадобился? Существовал ли он? Ждал ли он своего жилища? Если он был однородным, то он был чем-то материальным. Если он был разнородным, то непонятна ни его пассивность до его развития, ни его энергия в развившемся животном. Выслушайте самих себя, и вы себя пожалеете; вы поймете, что, не допуская простого предположения, которое объясняет все, именно, что способность ощущения есть всеобщее свойство материи или продукт ее организованности,—вы изменяете здравому смыслу и ввергаете себя в пропасть, полную тайн, противоречий и абсурда.

Даламбер. Предположение! Легко сказать. Но что, если это качество по существу несовместимо с материей?

Дидро. А юткуда вы знаете, что способность ощущения по существу несовместима с материей, раз вы не знаете сущности вещей вообще, ни сущности материи, ни сущности ощущения? Разве вы лучше понимаете природу движения, его существование в каком-либо теле, его передачу от одного тела к другому?

Даламбер. Не зная природы ни ощущения, ни материи, я вижу, что способность ощущать есть качество простое, единое, неделимое и несовместимое с субъектом или субстратом (*suprôt*), который делим.

Дидро. Метафизико-теологическая галиматья! Как? Неужели вы не видите, что все качества материи, все ее доступные нашему ощущению формы по существу своему неделимы? Не может быть большей или меньшей степени непроницаемости. Может быть половина круглого тела, но не может быть половины круглости; может быть больше или меньше движения, но движение, как таковое, не может быть больше или меньше, не может существовать полголовы, трети

головы, четверти головы или уха, или пальца, так же, как не может быть половины мысли, трети или четверти мысли. Если во вселенной нет молекулы, похожей на другую, а в молекуле не может быть точки, похожей на другую точку, признайте, что самый атом наделен качеством, наделен неделимой формой, признайте, что деление несовместимо с сущностью форм, потому что она их уничтожает. Будьте физиком и согласитесь признать производный характер данного следствия, когда вы видите, как оно производится, хотя вы и не можете объяснить связи причины со следствием. Будьте логичны и не подставляйте под ту причину, которая существует и которая все объясняет, какой-то другой причины, которую нельзя постичь, связь которой со следствием еще меньше можно понять и которая порождает бесконечное количество трудностей, не решая ни одной из них.

Даламбер. Ну, а если я буду исходить от этой причины?

Дидро. Во вселенной есть только одна субстанция, и в человеке, и в животном. Ручной органчик из дерева, человек из мяса. Чирик из мяса, музыкант—из мяса, иначе организованного; но и тот, и другой—одинакового происхождения, одинаковой формации, имеют одни и те же функции, одну и ту же цель.

Даламбер. А каким образом устанавливается соответствие звуков между вашими двумя фортепиано?

Дидро. Животное—чувствительный инструмент, абсолютно похожий на другой,—при одинаковой конструкции; если снабдить его теми же струнами, ударять по ним одинаковым образом радостью, страданием, голодом, жаждой, болью, восторгом, ужасом, то невозможно предположить, чтобы на полюсе и на экваторе он издавал бы различные звуки. Также во всех мертвых и живых языках вы находите приблизительно одинаковые междометия; происхождение условных звуков следует объяснять потребностями и средством по происхождению. Инструмент, обладающий способностью ощущения, или животное убедилось на опыте, что за таким-то звуком следуют такие-то последствия вне его, что другие чувствующие инструменты, подобные ему, или другие животные приближаются или удаляются, требуют или предлагают, наносят рану или ласкают, и все эти следствия сопоставляются в его памяти и в памяти других животных с определенными звуками; заметьте, что в сношениях между людьми нет ничего, кроме звуков и действий. А чтобы оценить всю силу моей системы, заметьте еще, что перед ней стоит та же непреодолимая трудность, которую выдвинул Беркли против существования тел. Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем.

Даламбер. По этому поводу можно сказать многое.

Дидро. Это верно.

Даламбер. Например, если следовать вашей системе, то не совсем ясно, как мы составляем силлогизм и как мы делаем выводы.

Дидро. Дело в том, что мы их вовсе не делаем; они все извлекаются из природы. Мы только изъясняем связанные явления, связь которых или необходима или случайна; эти явления нам известны из опыта; они необходимы в математике, физике и в других точных науках; они случайны в этике, в политике и в других неточных науках.

Даламбер. Что же, связь явлений менее необходима в одном случае, чем в другом?

Дидро. Нет. Но причина слишком изменчива, и эти изменения слишком мимолетны, чтобы мы могли безошибочно рассчитывать на определенное действие. Уверенность, с которой мы ожидаем гнева вспыльчивого человека на несправедливость, неравносильна уверенности, что тело, толкающее меньшее тело, заставит его двигаться.

Даламбер. А что такое аналогия?

Дидро. В самых сложных случаях аналогия есть простое тройное правило, осуществляемое в чувствительном инструменте. Если определенное явление в природе сопровождается другим известным явлением природы, то каково четвертое явление, сопровождающее третье, данное природой или представленное в подражание природе? Если копье обычного воина длиною в десять футов, каково будет копье Аякса? Если я могу бросить камень в четыре фунта, то Диомед будет в состоянии свернуть каменную глыбу. Длина шагов богов и прыжки их коней будут находиться в воображаемом соотношении роста богов к человеку. Аналогия—это четвертая струна, согласованная и пропорциональная трем другим струнам; животное ожидает этот резонанс, и в нем он всегда имеется, но не всегда бывает в природе. Поэту это неважно, для него резонанс всегда имеет силу. Иначе обстоит дело с философом; ему необходимо вслед за появлением резонанса спросить у природы, а она часто доставляет ему явление, совершенно отличное от предполагаемого им, тогда он замечает, что аналогия ввела его в заблуждение.

Даламбер. До свиданья, мой друг, добрый вечер и покойной ночи.

Дидро. Вы шутите; но вы увидите во сне этот разговор, и, если он у вас не запечатлеется, то тем хуже для вас,—вы будете принуждены обратиться к весьма нелепым гипотезам.

Даламбер. Ошибаетесь: как я лягу скептиком, так я и встану скептиком.

Дидро. Скептиком! Разве можно быть скептиком?

Даламбер. Вот так так. Ведь не будете же вы меня уверять, что я не скептик? Кто это знает лучше меня?

Дидро. Подождите минутку.

Даламбер. Спешите, потому что мне пора спать.

Дидро. Я буду краток. Думаете ли вы, что есть хоть один спорный вопрос, по отношению к которому у человека оказываются одинаково веские доводы за и против.

Даламбер. Нет: иначе он был бы буридановым ослом*.

Дидро. В таком случае скептиков не существует; ведь за исключением математических вопросов, не допускающих ничего недостоверного, во всех других вопросах есть всегда то, что говорит за, и то, что говорит против. Следовательно, полного равновесия никогда не может быть, и невозможно, чтобы не перевешивала та сторона, которая нам кажется более правдоподобной.

Даламбер. А у меня по утрам правдоподобие справа, а после обеда—слева.

Дидро. Значит, вы по утрам настроены догматически положительно, а после обеда—догматически отрицательно.

Даламбер. А по вечерам, когда я вспоминаю эту быструю смену моих суждений, я ни во что не верю—ни в свое утреннее, ни в свое послеобеденное мнение.

Дидро. То есть это значит, что вы не помните, на какой стороне из двух мнений, между которыми вы колебались, оказался перевес; что этот перевес вам кажется слишком незначительным, чтобы остановиться на определенном мнении, и что вы приходите к решению не заниматься больше такими гадательными вопросами, предоставить их обсуждать другим и больше не спорить.

Даламбер. Возможно.

Дидро. Но, если бы вас кто-нибудь отвел в сторонку и дружески спросил, какому мнению вы по чистой совести, откровенно отдали бы предпочтение, разве вам трудно было бы ответить, разве вы захотели бы подражать положению буриданова осла?

Даламбер. Я не думаю.

Дидро. Так вот, мой друг, если бы вы хорошо обдумали, то вы бы пришли к выводу, что обычно наше подлинное мнение не то, в котором мы никогда не сомневались, а то, к которому мы обычно склонялись.

Даламбер. Я думаю, вы правы.

Дидро. Так думаю и я. Прощайте, друг мой, и *memento, quia pulvis es, et in pulverem reverteris***.

Даламбер. Это печальная истина.

Дидро. И неизбежная. Даруйте человеку, не скажу, бессмертие, но только двойную жизнь, и вы увидите, что получится.

Даламбер. А чего вы ждете? Но это меня не касается, пусть будет, что будет. Мне пора спать, прощайте.

* Буриданов осел погибает от голода, находясь между двумя совершенно одинаковыми вязанками сена.—*Ред.*

** *Лат.*—помни, что ты прах и в прах возвратишься.—*Ред.*

СОН ДАЛАМБЕРА

(1769)

СОБЕСЕДНИКИ: ДАЛАМБЕР, МАДЕМУАЗЕЛЬ
ДЕ ЛЕСПИНАС, ДОКТОР БОРДЕ

Борде. Ну, что нового? Он болен?

М-ль де Леспинас. Боюсь, что да; эта ночь для него была одной из самых беспокойных.

Борде. Он проснулся?

М-ль де Леспинас. Нет еще.

Борде (подойдя к постели Даламбера, пощупав его пульс и потрогав его кожу). Ничего.

М-ль де Леспинас. Вы думаете?

Борде. Ручаюсь. Пульс хорош... Немного слаб... Кожа влажная... Дыхание незатрудненное.

М-ль де Леспинас. Ему ничего не нужно?

Борде. Нет.

М-ль де Леспинас. Тем лучше. Ведь он ненавидит лекарства.

Борде. И я также. Что он ел за ужином?

М-ль де Леспинас. Он от всего отказался. Я не знаю, где он провел вечер, но вернулся он озабоченный.

Борде. Это небольшое лихорадочное состояние, которое пройдет без последствий.

М-ль де Леспинас. Вернувшись, он надел халат, свой ночной колпак, бросился в свое кресло, в котором и уснул.

Борде. Спать можно везде, но лучше было бы спать в постели.

М-ль де Леспинас. Он рассердился на Антуана, который ему это сказал. Целые полчаса пришлось мучить его просьбами, чтобы заставить его лечь.

Борде. Это со мной случается ежедневно, хотя я себя чувствую хорошо.

М-ль де Леспинас. Когда он лег, вместо того чтобы заснуть, как обычно,—ведь он спит, как ребенок,—он начал ворочаться с боку на бок, двигать руками, сбрасывать одеяло и громко разговаривать.

Борде. О чем он говорил? О математике?

М-ль де Леспинас. Нет. Это было чем-то вроде бреда. Вначале это был какой-то сумбур о вибрирующих струнах и чувствительных

нервах. Мне это показалось настолько нелепым, что, решив не оставлять его на ночь одного и не зная, что предпринять, я придвинула маленький столик к его постели и принялась записывать все, что я могла уловить из его бреда.

Борде. Прекрасная мысль, вас достойная. А можно посмотреть эти записи?

М-ль де Леспинас. Сколько угодно, но ручаюсь своей жизнью, что вы ничего не поймете.

Борде. Может быть.

М-ль де Леспинас. Слушайте. «Живая точка... Нет, неверно. Сначала ничего, а затем живая точка... К этой живой точке присоединяется другая, затем еще одна; и в результате последовательных присоединений возникает особое существо; ведь я представляю собою нечто единое, в этом я не могу сомневаться... (Говорю это он стал себя ощупывать.) Но как составилось это единство? («А, друг мой,—сказала я ему,—какое вам до этого дело? Спите...») Он замолчал. После минуты молчания он заговорил вновь, словно к кому-то обращаясь:) Вот что, философ, я вижу этот агрегат, сочетание небольших живых существ, но животное!.. Нечто целое! Животное в виде системы с сознанием своего единства, нет, этого я не вижу, не вижу я этого...» Доктор, понимаете вы что-нибудь?

Борде. Превосходно.

М-ль де Леспинас. Рада за вас... «Мое затруднение может быть происходит от неправильного представления».

Борде. Это ваши слова?

М-ль де Леспинас. Нет, это слова спящего.

Я продолжаю... Он прибавил, обращаясь к самому себе: «Друг мой Даламбер, будьте осторожны, вы видите простую смежность там, где есть непрерывность. Да, он настолько хитер, чтобы сказать мне это. А как образовалась эта непрерывность? Она не вызовет у него затруднения... Как капля ртути сливается с другой каплей ртути, так чувствительная и живая молекула растворяется в чувствительной живой молекуле... Сначала имелись две капли, а после соединения образовалась одна... До ассимиляции были две молекулы, после ассимиляции—всего одна. Чувствительность становится общим свойством всей массы... Почему нет?.. Мысленно я отличаю в длинном нерве животного сколько угодно частей, но нить эта будет непрерывной, единой... Да, единой... Соприкосновение двух однородных молекул, совершенно однородных, составляет непрерывность... И это случай объединения, сцепления, сочетания, тождества наиболее полного, какое можно только себе представить... Да, философ, это в том случае, если эти молекулы просты и представляют собою элементы; но если это агрегаты, если это нечто составное?.. Сочетание также состоит, в результате—тождество, непрерывность... И затем обычные—действие и противодействие... Ясно, что присоединение друг к другу двух живых молекул есть нечто совсем другое по сравнению со смежностью двух инертных масс. Дальше, дальше... Пожалуй, можно

было бы к вам придрататься; но я этим не занимаюсь; я не занимаюсь хулой... Впрочем, продолжим. Нить чистейшего золота,—я помню это сравнение, которое он мне привел...—однородная сеть, между ее молекулами внедряются другие и составляют, повидимому, другую однородную сеть; ткань чувствующей материи, ассимилирующее соприкосновение; здесь это активная, там—это пассивная чувствительность, она сообщается подобно движению, без учета, как он прекрасно выразился, того, что должна быть разница между соприкосновением двух чувствительных молекул и соприкосновением двух таких молекул, которые чувствительностью не обладают; и эта разница, в чем она заключается?.. Обычное действие и противодействие, а эти действие и противодействие—особого рода... Итак, все сводится к тому, чтобы вызвать особого рода единство, существующее только в животном... Клянусь, если это не сама истина, то очень к истине приближается...» Вы смеетесь, доктор. Как вы думаете, есть ли в этом смысл?

Борде. Большой.

М-ль де Леспинас. Значит, он не сумасшедший?

Борде. Ни в какой мере.

М-ль де Леспинас. После такого вступления он начал кричать: «Мадемуазель де Леспинас! Мадемуазель де Леспинас!—Что вам угодно?—Видели ли вы когда-нибудь рой пчел, вылетающий из своего улья?.. Мир или всеобщая масса материи,—это улей... Не замечали ли вы, как пчелы на конце ветки дерева образуют длинную гроздь из маленьких крылатых животных, тесно связанных друг с другом своими лапками?.. Эта гроздь—существо, индивид, некое животное... Но эти гроздья должны были бы быть похожими друг на друга... Да, если предположить только одну однородную материю... Вы видели такие гроздья?—Да, я видела их.—Вы их видели?—Да, мой друг, я вам говорю, что видела.—Если одна из пчел каким-нибудь образом ужалит другую пчелу, с которой она сцепилась, знаете ли вы, что произойдет? Скажите.—Я ничего не знаю.—Все же скажите... Значит, вы не знаете? А философ, он знает. Если вы его когда-нибудь увидите, а вы его либо увидите, либо нет, он вам, как он мне обещал, скажет, что эта пчела ужалит следующую, что во всей грозди возбудится столько чувства, сколько есть в ней маленьких животных, что все придет в возбуждение, будет двигаться, изменит расположение и форму; что поднимется шум, писк, и тот, кто никогда не видел, как образуется подобная гроздь, принужден будет принять ее за животное, состоящее из пятисот или шестисот голов и тысячи или тысячи двухсот крыльев»... Что вы скажете, доктор?

Борде. А вот что,—знаете, это прекрасный сон, и вы очень хорошо сделали, что его записали.

М-ль де Леспинас. У вас также бывают сны?

Борде. Бывают, и так редко, что я, пожалуй, готов вам рассказать продолжение этого сновидения.

М-ль де Леспинас. Пари, что вы этого не сможете.

Борде. Вы держите со мной пари?

М-ль де Леспинас. Да.

Борде. А если я расскажу?

М-ль де Леспинас. Если вы расскажете, я обещаю вам... Я обещаю вам считать вас за самого большого безумца в мире.

Борде. Смотрите на вашу запись и слушайте меня: человек, который бы принял эту гроздь за животное, ошибся бы; но, мадемуазель, предположим, что он продолжал к вам обращаться. Хотите, чтобы он рассуждал более разумно? Желаете ли вы, чтобы эта гроздь пчел превратилась в одно единственное животное? Размягчите лапки, которыми они держатся, из их смежности создайте непрерывность, между этим новым и предшествующим состоянием грозди несомненно есть заметная разница, а в чем другом может заключаться эта разница, как не в том, что сейчас это нечто целое, единое животное, а что раньше это было лишь сборищем животных?.. Все наши органы...

М-ль де Леспинас. Все наши органы?

Борде. Для того, кто изучил медицину и сделал несколько наблюдений...

М-ль де Леспинас. Дальше.

Борде. Дальше? Будут не чем иным, как различными животными, между которыми закон непрерывности поддерживает согласованность, единство и тождество.

М-ль де Леспинас. Я в смущении; это как раз то самое, и почти дословно. Теперь я могу засвидетельствовать перед всем миром, что нет никакой разницы между бодрствующим врачом и грезящим философом.

Борде. Вы в этом сомневались? И это все?

М-ль де Леспинас. О нет, вы не догадались. После этой вашей или своей болтовни он мне сказал: «Мадемуазель.—Что, друг мой?—Приблизьтесь... ближе... ближе... Я хочу вам предложить одну вещь.—Что такое?—Держите эту гроздь, вот она. Вы ее крепко держите. Сделаем эксперимент.—Какой?—Возьмите ваши ножницы. Они хорошо режут?—Превосходно.—Приблизьтесь тихонько, совсем тихонько, и разъедините мне этих пчел, но, смотрите, не разрежьте пополам их тела, режьте как раз в том месте, где они соединены лапками. Не бойтесь, вы их немножко пораните, но вы их не убьете... Очень хорошо... Вы ловки, как фея... Видите, как они летят, каждая в свою сторону? Они улетают в одиночку, по две, по три. Сколько их! Если вы меня хорошо поняли... вы меня хорошо поняли?..—Очень хорошо...—Предположите теперь... предположите...» Честное слово, доктор, я так мало понимаю то, что записывала, он так тихо говорил, в этом месте моих записок так напачкано, что я не могу читать.

Борде. Я дополню, если вы хотите.

М-ль де Леспинас. Если можете.

Борде. Это более, чем легко. Предположите, что эти пчелы так малы, так малы, что их тело неизменно ускользало бы от грубого разреза ваших ножниц; вы можете делить сколько угодно, но вы не

умертвите ни одной пчелы, и это целое, образовавшееся из мельчайших пчел, сведется к настоящему полипу, который можно разрушить лишь тем, что вы его раздавите. Различие между гроздью непрерывных пчел и гроздью пчел, между собою соприкасающихся, соответствует различию между обычными животными, вроде нас, рыб, и червями, змеями и полипообразными животными; в эту теорию еще можно внести некоторые изменения... (*Здесь м-ль де Леспинас порывисто поднимается и берется за шнур звонка.*) Тише, тише, мадемуазель, вы его разбудите, а он нуждается в отдыхе.

М-ль де Леспинас. Я не подумала, так я потрясена. (*Входящему слуге.*) Кто из вас был у доктора?

Слуга. Я, мадемуазель.

М-ль де Леспинас. Давно?

Слуга. Не прошло и часа, как я вернулся.

М-ль де Леспинас. Вы ничего не относили?

Слуга. Ничего.

М-ль де Леспинас. Никакой записки?

Слуга. Никакой.

М-ль де Леспинас. Прекрасно. Идите. Я не могу притти в себя. Вы знаете, доктор, я заподозрила, что кто-нибудь из них вам передал мое писание.

Борде. Уверяю вас, что ничего такого не было.

М-ль де Леспинас. Теперь, когда я убедилась в вашем таланте, вы сможете мне оказывать большую помощь в обществе. Его бред на этом не остановился.

Борде. Тем лучше.

М-ль де Леспинас. В вас это не вызывает досады?

Борде. Никакой.

М-ль де Леспинас. Он продолжал:—«Так вот, философ, вы представляете себе всевозможных полипов, даже человекообразных?.. Но природа вам их не доставляет».

Борде. Он не знал об этих двух девочках, сросшихся головой, плечами, спиной, ягодицами и бедрами; они в таком склеенном виде прожили до двадцати двух лет; одна умерла за другой несколько минут спустя. Что он сказал дальше?

М-ль де Леспинас. Ерунду, которую можно слышать в сумасшедших домах; он сказал: «Это прошло или вернется. И потом, кто знает порядок вещей на других планетах?»

Борде. Быть может, не следует идти так далеко.

М-ль де Леспинас. «На Юпитере или на Сатурне человекообразные полипы! При этом самцы разрешаются самцами, а самки—самками, это забавно... (*Здесь он стал так хохотать, что испугал меня.*) Вот человек, который разрешается в бесконечном числе атомообразных людей, причем их можно взять в бумажку, как яйца насекомых, и они вырывают скорлупу, некоторое время они остаются куколками, затем они пробивают свою скорлупу и вылетают бабочками; и вот образуется человеческое общество, целая провинция, населенная остат-

ками одного человека; очень забавно представить себе все это... (И он снова стал смеяться.) Если человек где-то разрешается в бесконечное число микроскопических людей, смерть не будет такой отвратительной, гибель человека так легко возмещается, что она не вызывает сожаления».

Борде. Это неожиданное предположение оказывается почти подлинной историей всех существующих и имеющих быть видов животных. Если человек не разрешается бесчисленным множеством людей, он во всяком случае разрешается в бесчисленное количество инфузорий,—невозможно предусмотреть метаморфозу и будущую и окончательную формацию этих инфузорий. Почему знать, не рассадник ли это второго поколения существ, отделенного от теперешнего непостижимым промежутком веков и последовательных развитий.

М-ль де Леспинас. Что вы там бормочете, доктор?

Борде. Ничего, ничего, я тоже бредил. Продолжайте читать, мадемуазель.

М-ль де Леспинас. Он прибавил: «Рассмотрев все это, я все же предпочитаю наш способ размножения... Раз вы, философ, знаете, что происходит здесь или в других местах, скажите мне,—соответствующим разложением разных частей не определяется ли своеобразие типов людей? Мозг, сердце, грудь, ноги, руки, половые органы... О! Как это упрощает нравственность!.. Вот родится человек, вот возникает женщина... (Позвольте, доктор, мне это опустить...) Теплая комната, украшенная маленькими баночками, а на каждой баночке этикетка: воины, должностные лица, философы, поэты, баночка с придворными, баночка с девицами легкого поведения, баночка с королями».

Борде. Это очень весело и нелепо. Вот что называется бредить, но эта картина вызывает во мне мысль о довольно любопытных явлениях.

М-ль де Леспинас. Потом он мне начал бормотать о каких-то зернах, о частях мяса, намокших в воде, о различных породах животных, которые последовательно рождались и исчезали. В правой руке он как будто держал микроскоп, а в левой словно отверстие вазы. Он смотрел в вазу через микроскоп и говорил: «Вольтер может смеяться, сколько ему угодно, но Ангильяр* прав; я верю своим глазам; я их вижу, сколько их, как они спешат туда и сюда, как они мечутся!..» Он сравнивал со вселенной вазу, в которой он видел столько мгновенных поколений. В капле воды он созерцал историю вселенной. Это представление ему казалось величественным, он считал его вполне совместимым с добросовестной философией, изучающей большие тела на малых. Он говорил: «В капле воды Нидгэма все происходит и кончается во мгновение ока. В мире то же явление продолжается немного дольше; но что такое наше время по сравнению с бесконечностью веков? Это нечто меньшее, чем взятая мною

* Английский физик *Нидгэм*, с которым ожесточенно полемизировал Вольтер; прозвище «Ангильяр» было дано ему последним.—*Ред.*

кончиком иглы капля в сопоставлении с безграничным пространством, меня окружающим. Бесконечное число микроскопических существ в атоме, находящемся в состоянии брожения, и такой же бесконечный ряд микроскопических животных в другом атоме, который называется Землею. Кому известны породы животных, нам предшествовавших? Кому известны породы животных, которые воследуют? Все меняется, все проходит, остается только целое. Вселенная непрестанно вновь начинается и кончается; каждое мгновение она зарождается и умирает. Никогда не было другой вселенной и никогда другой не будет.

В этом громадном океане материи нет ни одной молекулы, похожей на другую, нет ни одной молекулы, которая оставалась бы одинаковой хотя бы одно мгновение: *rerum novus nascitur ordo**—вот вечный девиз вселенной...» Затем, вздохнув, он добавил: «О суета наших мыслей! О тщетность нашей славы и наших трудов! О скудость! О ничтожество наших взглядов! Нет ничего прочного кроме пищи, еды, жизни, любви, сна... Мадемуазель де Леспинас, где вы?»—Вот я.—Тут лицо его побагровело. Я хотела пощупать его пульс, но не знаю, куда он спрятал свою руку. Повидимому, у него начались конвульсии. Рот его приоткрылся, дыхание стало сдавленным; он глубоко вздохнул, затем последовал более слабый вздох, вслед за ним опять глубокий, он повернул голову на своей подушке и заснул. Я внимательно за ним следила; не знаю почему, я чувствовала себя взволнованной; сердце у меня билось, но не от страха. Через несколько мгновений я заметила легкую улыбку на его губах, он прошептал: «На планете, где люди размножались бы подобно рыбам, где мужская икра смешивалась бы с женской... Я бы не так жалел... Не нужно упускать ничего, что может доставить пользу. Мадемуазель, если бы можно было это собрать, влить в флакон и с раннего утра послать Нидгэму...» Доктор, не назовете ли вы все это нелепостью?

Борде. Вам в глаза,—разумеется.

М-ль де Леспинас. В глаза ли мне, за глаза—безразлично; вы не отдаете себе отчета в ваших словах. Я надеялась, что конец ночи будет спокойным.

Борде. После бреда это обыкновенно и происходит.

М-ль де Леспинас. И вовсе нет; к двум часам утра он опять вернулся к своей капле воды, которую он называл ми... кро...

Борде. Микрокосмос.

М-ль де Леспинас. Вот именно. Он восхищался мудростью античных философов, он говорил или заставлял говорить своего философа,—не знаю, что это было: «Если бы Эпикур, уверяя, что земля содержит семена всего и что порода животных возникает из этого брожения, предложил в малом виде показать то, что творится во вселенной с начала времен, что бы ему ответили?.. Между тем эта картина пред вашим взором, и вы из нее ничего не извлекаете... Кто знает, кончилось ли брожение и исчерпался ли его результат? Кто знает,

* *Лат.* —родится новый порядок вещей.—*Ред.*

на каком этапе развития этой животной породы мы находимся? Кто знает, не образ ли это исчезающего вида—это двуногое деформированное существо, четырех футов высоты, которое еще называется человеком около полюса и которое может потерять это название при несколько большей деформации? Кто знает, не находятся ли в том же положении все виды животных? Кто знает, не сводится ли все к одному пассивному и неподвижному осадку? Кто знает, сколько времени будет продолжаться это пассивное состояние? Кто знает, какая новая раса может вновь возникнуть из такой большой груды чувствующих и живых точек? Почему не единое животное? Что представлял собою слон при своем возникновении? Быть может, он был тем громадным животным, каким он сейчас нам является, быть может, это был атом, ибо и то и другое одинаково возможно; и то и другое предполагает только движение и различные свойства материи. Что же, слон,—эта громадная организованная масса,—есть внезапный результат брожения! А почему нет? Это громадное четвероногое в сравнении с тем, из чего оно произошло, не больше, чем червяк в сопоставлении с произведшей его молекулой муки. Но червяк есть только червяк... То есть незначительный размер, не позволяющий его наблюдать, уже не вызывает нашего удивления... Чудо—это жизнь, чувствительность, но это уже не чудо... После того как я наблюдал, как пассивная материя принимает состояние, способное к ощущению, уже ничто не должно вызывать моего удивления... Какая разница между умевающимся в моей руке небольшим количеством элементов, находящихся в состоянии брожения, и этим грандиозным резервуаром различных элементов, раскинувшихся в недрах земли, на поверхности, в глубине морей и в воздушных пространствах!.. Однако при одинаковых причинах, почему действия различны, почему же мы больше не видим быка, который пронзает землю своим рогом, опираясь об нее ногами и усиленно стараясь освободить свое грузное тело?.. Дайте окончиться теперешней породе наших животных; дайте подействовать огромному неподвижному осадку нескольких миллионов веков. Быть может, чтобы видам животных возродиться, нужно в десять раз больше времени, чем продолжительность их века. Подождите, не спешите с вашим заключением относительно великой работы природы. У вас два великих явления: переход от инертного состояния к состоянию чувствительности и самопроизвольное зарождение; довольно с вас этого: сделайте надлежащие выводы, и вы будете гарантированы от ошибочного заключения однодневного существа, наблюдая за порядком вещей, где нет ни великого, ни малого, ни безусловно вечного, ни преходящего...» Доктор, что это за ошибочное заключение однодневного существа?

Борде. Это ошибка преходящего существа, верящего в бессмертие вещей.

М-ль де Леспинас. Не роза ли это Фонтенеля, говорившего, что на памяти розы не умирал ни один садовник?

Борде. Верно; это изящно и глубоко.

М-ль де Леспинас. Почему ваши философы не выражаются с таким же изяществом, как Фонтенель? Мы тогда бы послушали их.

Борде. По совести сказать, я не знаю, подходит ли этот легкомысленный тон к серьезным предметам.

М-ль де Леспинас. Что вы называете серьезным предметом?

Борде. Всеобщую чувствительность, возникновение чувствующего существа, его единство, происхождение животных, продолжительность их жизни и все вопросы, с этим связанные.

М-ль де Леспинас. Я называю все это безумием, я готова допустить, что это может сниться во сне, но бодрствующий, здравомыслящий человек никогда не будет заниматься такими пустяками.

Борде. А почему, скажите мне, пожалуйста?

М-ль де Леспинас. Дело в том, что одни из этих вопросов так ясны, что бесполезно разыскивать их основания, а другие так темны, что в них решительно ничего не поймешь; и все эти вопросы самые бесполезные.

Борде. Думаете ли вы, мадемуазель, что совершенно безразлично, отрицается или допускается высший разум?

М-ль де Леспинас. Нет.

Борде. Думаете ли вы, что можно решить вопрос о высшем разуме, не зная, чего держаться в вопросах о вечности материи и ее свойств, о различии двух субстанций, о человеческой природе и возникновении животных?

М-ль де Леспинас. Нет.

Борде. Следовательно, эти вопросы не такие праздные, как вы говорили.

М-ль де Леспинас. Но что мне до их значительности, если я не могу их уяснить?

Борде. А как вы в них разберетесь, если вы их не исследуете? Нельзя ли мне спросить у вас о тех вопросах, которые вам кажутся столь ясными, что исследование их вам представляется излишним?

М-ль де Леспинас. Таков, например, вопрос о моем единстве, о моем «я». Право, мне кажется, чтобы знать, что я—я, что я всегда была собой и что я никогда не буду чем-нибудь иным, нет нужды столько пустословить.

Борде. Несомненно, факт ясен, но основание факта совсем не ясно, в особенности в гипотезе тех, кто допускает только одну субстанцию и кто вообще объясняет возникновение человека или животного через последовательное присоединение многих чувствительных молекул. До присоединения у всякой чувствительной молекулы было свое «я», но каким образом она потеряла «я» и как из всех этих потерь образовалось сознание целого?

М-ль де Леспинас. Мне кажется, что достаточно одного прикосновения. Вот опыт, который я повторяла сотни раз... но подождите... Мне нужно посмотреть, что происходит за этой занавеской... Он спит... Когда я прикладываю руку к своему бедру, то первоначально я хо-

рошо чувствую, что моя рука не бедро, но некоторое время спустя, когда все станет одинаково теплым, я не различаю одного от другого; границы обеих частей смешиваются, и получается что-то единое.

Борде. Да, пока вам не уколят то или другое,—тогда чувство разницы возвращается. Следовательно, в вас есть нечто, хорошо знающее, что укололи вашу руку или бедро, и это нечто не есть ваша нога, это даже не ваша уколотая рука; ваша рука испытывает боль, но это нечто другое, что знает и не испытывает боли.

М-ль де Леспинас. Мне кажется, что это моя голова.

Борде. Ваша голова в целом?

М-ль де Леспинас. Но, видите ли, доктор, я объяснюсь с помощью сравнения. Для женщины и для поэтов почти всякий довод сводится к сравнению. Представьте себе паука...

Даламбер. Кто там?.. Это вы, мадемуазель де Леспинас?

М-ль де Леспинас. Тише, тише... (*М-ль де Леспинас и доктор некоторое время хранят молчание, затем м-ль де Леспинас произносит шопотом:*) Повидному, он снова заснул...

Борде. Нет. Как будто мне что-то слышалось.

М-ль де Леспинас. Вы правы. Неужели у него возобновляется бред?

Даламбер. Почему я таков? Были причины, почему я таков... Здесь—да, а в другом месте? На полюсе? А у экватора? А на Сатурне?.. Если расстояние в несколько тысяч лье меняет мою породу, неужели расстояние в несколько тысяч земных диаметров никак не отзовется?.. И если все находится в непрестанном изменении, как это явствует из зрелища вселенной, то что произведут здесь и в других местах продолжительность и смена нескольких миллионов веков? Кто знает, что представляет собою мыслящее и чувствующее существо на Сатурне?.. Есть ли мысль и чувство на Сатурне?.. Почему нет?.. Не будет ли мыслящее и чувствующее существо на Сатурне располагать большим количеством чувств, чем располагаю я? Если это так, о!—как он несчастен, этот житель Сатурна!.. Чем больше чувств, тем больше нужды.

Борде. Он прав; органы вызывают нужду, и в свою очередь нужда созидает органы.

М-ль де Леспинас. Вы тоже бредите, доктор?

Борде. А почему бы нет? Я видел, как из двух недоразвившихся частей постепенно образовались две руки.

М-ль де Леспинас. Вы говорите неправду.

Борде. Это правда; но за недостатком двух отсутствующих рук я увидел, как лопатки удлинялись, стали двигаться, как клешни, и превратились в зачаточные органы.

М-ль де Леспинас. Что за чепуха!

Борде. Это факт. Предположите длинный ряд безруких поколений, предположите непрерывные усилия, и вы увидите, что обе части этих клешней начнут удлиняться, все больше и больше распространяться; скрещиваясь на спине, они вновь вырастают спереди, быть может,

присоединяя пальцы на конечностях, и превращаются в руки и кисти. Первоначальная формация меняется или совершенствуется под влиянием необходимости и обычных функций. Мы так мало двигаемся, мы так мало занимаемся физическим трудом и мы столько думаем, что я не теряю надежды в конечное превращение человека в сплошную голову.

М-ль де Леспинас. В голову! В голову! Это маловато. Я думаю, безудержное волокитство... Вы вызываете во мне смешные мысли.
Борде. Тише.

Даламбер. Итак, я таков, потому что это было необходимо. Измените все окружающее, и вы неизбежно измените и меня. Но все окружающее непрестанно меняется... Человек—лишь обыкновенное явление, урод—редкое; то и другое одинаково естественно, одинаково необходимо, одинаково в порядке вещей и одинаково универсально... И что в этом удивительного?.. Все существа превращаются одно в другое, поэтому и все виды.. Все беспрестанно меняется... Любое животное есть более или менее человек; всякий минерал есть более или менее растение, всякое растение есть более или менее животное. В природе нет ничего определенного... Лента отца Кастеля... * Да, отец Кастель, это ваша лента, и только это. Всякая вещь есть более или менее нечто определенное, более или менее земля, более или менее вода, более или менее воздух, более или менее огонь, более или менее то или другое царство... Итак, нет ничего, что не составляло бы сущность какого-нибудь определенного индивида... Несомненно нет, ведь не может быть никакого свойства, которое не было бы причастно чему-либо существующему... ведь мы приписываем этому, а не другому существу известное свойство, именно благодаря более или менее тесной связи этого свойства с ним... А вы толкуете об индивидах, несчастные философы! Бросьте ваших индивидов, отвечайте мне. Существует ли в природе атом, безусловно похожий на другой атом?.. Нет... Не признаете ли вы, что все в природе связано и что невозможно, чтобы в цепи были пробелы? Что же вы хотите сказать вашими индивидами? Их нет, нет, их нет... Есть только один великий индивид, это—целое. В этом целом, как в механизме, как в каком-нибудь животном, имеется часть, которую вы называете такой или иной; но, называя индивидом известную часть целого, вы исходите из такого же ложного взгляда, как если бы назвали индивидом крыло птицы или перо крыла... И вы говорите о сущностях, несчастные философы! Бросьте ваши сущности, окиньте взором общую массу или, если у вас слишком скудное воображение для того, чтобы обнять ее, обратите ваш взор на первое возникновение и на последний конец... О, Архит, измеривший земной шар, что ты собою представляешь? Горсть

* Речь идет об изобретении иезуита Кастеля: лента, на которую были нанесены различные цвета, постепенно переходившие друг в друга. Такие же неуловимые переходы существуют, по мнению Даламбера, и в природе: от одного органического вида к другому, от неорганической материи к органической.—*Ред.*

пепла... Что такое существо?.. Совокупность ряда стремлений... Могу ли я быть чем-нибудь иным, кроме стремления? Я иду к известному концу... А виды?.. Виды—только стремления к общему, им свойственному пределу... А жизнь?.. Жизнь—ряд действий и противодействий... Будучи живым, я действую и противодействую в массе. Умерши, я действую и противодействую в молекулах... Итак, я не умираю?.. Разумеется, нет. В этом смысле я не умираю, ни я, ни что бы то ни было... Родиться, жить и исчезать—значит менять формы... А какая разница—эта ли форма или какая другая? У всякой формы свое счастье и свое несчастье. От слона до тли... и от тли до чувствительной и живой молекулы, источника всего,—во всей природе нет ни одной точки, которая бы не страдала и которая бы не наслаждалась.

М-ль де Леспинас. Больше он ничего не говорит.

Борде. Нет, он не плохо попутешествовал. Это довольно содержательная философия, изложенная в настоящий момент в виде системы; она, я думаю, будет оправдываться по мере прогресса человеческих знаний.

М-ль де Леспинас. На чем же мы остановились?

Борде. Честное слово, не помню; он навел меня на столько мыслей, куда я слушал!

М-ль де Леспинас. Подождите, подождите... я остановилась на пауке.

Борде. Да, да.

М-ль де Леспинас. Придвиньтесь, доктор. Представьте себе паука в центре паутины. Оборвите одну нить паутины, и вы увидите, как паук расторопно прибежит. Так вот! Представьте себе, что нити, извлекаемые насекомым из своих внутренностей и втягиваемые им обратно, составили бы чувствительную часть его самого.

Борде. Я вас понимаю. Вы себе представляете где-то в самой себе, в каком-то уголке своей головы, например в том, который называется мозговой оболочкой, одну или несколько точек, связанных с чувствами, возбужденными в длинных нитях.

М-ль де Леспинас. Вот именно.

Борде. Ваша мысль мне кажется в высшей степени правильной; но не замечаете ли вы, что она приблизительно совпадает с мыслью о грозди пчел?

М-ль де Леспинас. А верно; я говорила прозой, сама того не подозревая.

Борде. И очень хорошей прозой, как вы увидите. Кто знает человека только в том виде, каким он нам является при рождении, тот не имеет о нем ни малейшего понятия. Его голова, его ноги, его руки, все его члены, все его сосуды, все его органы, его нос, глаза, уши, его сердце, легкие, его кишки, его мускулы, его кости, его нервы, его оболочки, в сущности говоря,—не что иное, как грубые проявления формирующейся ткани, которая растет, распространяется и распускает множество невидимых нитей.

М-ль де Леспинас. Возьмем мою паутину; исходный пункт всех этих нитей—мой паук.

Борде. Прекрасно.

М-ль де Леспинас. Где эти нити? Где находится паук?

Борде. Нити повсюду. На поверхности вашего тела нет ни одной точки без их отростков. Паук гнездится в части вашей головы, которую я вам называл,—в мозговой оболочке; к ней почти нельзя прикоснуться, не вызвав оцепенения во всем механизме.

М-ль де Леспинас. Но если атом вызывает колебание одной из нитей паука, то он приходит в беспокойство, начинает тревожиться, убегает или прибегает. В центре он осведомлен обо всем происходящем вокруг,—в любом месте огромного помещения, которое он украсил паутиной. Почему же я не знаю, что происходит в моем помещении или во вселенной? Ведь я—клубок чувствительных точек, ведь все отзывается во мне, и я впечатлеваюсь во всем?

Борде. Дело в том, что впечатления делаются слабее пропорционально расстоянию, откуда они исходят.

М-ль де Леспинас. Если даже тихонько постучать о край длинной балки, то я слышу этот удар, когда мое ухо приложено к другому концу бревна. Если бы это бревно одним концом находилось на земле, а другим на Сириусе, то действительно было бы то же. Если все связано, если все друг к другу прилегает, другими словами, если бревно действительно существует, почему я не слышу всего происходящего в огромном пространстве, меня окружающем, в особенности, когда я внимательно прислушиваюсь?

Борде. А кто вам внушил мысль, что вы так или иначе не слышите? Но расстояние такое отдаленное, впечатление такое слабое, путь его так запутан; вы окружены и оглушены шумом такой силы и разнообразия, к тому же между Сатурном и вами тела только соприкасаются, не образуя непрерывности.

М-ль де Леспинас. Это очень печально.

Борде. Это верно, ведь иначе вы были бы богом; благодаря вашему тождеству со всеми природными существами вы знали бы обо всем происходящем; благодаря вашей памяти вы знали бы о всем происшедшем.

М-ль де Леспинас. А что произойдет в будущем?

Борде. О будущем вы строили бы правдоподобные догадки, возможно ошибочные. Можно было бы сравнить с тем, как вы старались бы догадаться, что произойдет у вас внутри, что произойдет с конечностями вашей ноги или руки.

М-ль де Леспинас. А кто вам сказал, что в этом мире нет также мозговых оболочек или что в каком-нибудь уголке пространства не притаился большой или маленький паук, нити которого протянуты ко всему?

Борде. Никто. Еще менее известно, не существовал ли или не будет ли существовать подобный паук.

М-ль де Леспинас. Каким образом этот, своего рода, бог...

Борде. Единственно познаваемый...

М-ль де Леспинас. Мог бы когда-нибудь существовать или возникнуть и исчезнуть?

Борде. Несомненно. Но так как он был бы материей во вселенной, был бы частью вселенной, был бы подвержен изменениям, то он бы старел и умирал.

М-ль де Леспинас. Еще другая удивительная мысль приходит мне в голову.

Борде. Можете не говорить, я ее знаю.

М-ль де Леспинас. Итак, в чем она заключается?

Борде. Вы думаете, что ум связан с весьма деятельными частями материи, и допускаете возможность всякого рода фантастических чудес. Другие думали подобно вам.

М-ль де Леспинас. Вы догадались, но уважение мое к вам не увеличилось. Должно быть у вас удивительная склонность к бредовым идеям.

Борде. Согласен. Но что страшного в этой мысли? Это было бы эпидемией добрых и злых гениев, природные деятели нарушали бы самые прочные законы природы. Общее физическое устройство нашего тела стало бы сложнее, но чудес никаких бы не было.

М-ль де Леспинас. Верно. Нужно быть очень осмотрительным к тому, что утверждается или отрицается.

Борде. Послушайте,—тот, кто бы вам рассказал о подобного рода обстоятельстве, показался бы большим лжецом. Но оставим все эти воображаемые существа, не исключая и вашего паука с бесконечной паутиной, и вернемся к вашему случаю и условиям его возникновения.

М-ль де Леспинас. Согласна.

Даламбер. Мадемуазель, у вас кто-то есть. Кто с вами разговаривает?

М-ль де Леспинас. Это доктор.

Даламбер. Здравствуйте, доктор; что вы здесь делаете так рано?

Борде. Потом узнаете, спите.

Даламбер. Право, я высался. Кажется, у меня не было ни одной ночи такой беспокойной, как эта. Вы не уйдете, пока я не встану?

Борде. Нет. Готов побиться об заклад, мадемуазель, что вы воображали, будто всегда были женщиной в том виде, каковы вы сейчас, хотя в возрасте двенадцати лет вы были вдвое меньше ростом, в возрасте четырех лет еще наполовину меньше, в качестве зародыша—маленькой женщиной, в яичнике вашей матери вовсе маленькой женщиной, так что только последовательный рост, вам свойственный, составил всю разницу по сравнению с тем, чем вы были при вашем возникновении, и благодаря ему вы таковы, каковы вы сейчас.

М-ль де Леспинас. Согласна.

Борде. Между тем нет ничего более ошибочного, чем эта мысль. Сперва вы были ничем. В начале вы были незаметной точкой, со-

стоящей из еще меньших молекул, рассеянных в крови, в лимфе вашего отца или матери. Эта точка сделалась отдельной нитью, затем пучком волокон. До этой стадии нет ни малейшего следа того приятного облика, который вы имеете; ваши глаза, ваши прекрасные глаза, так же мало походили на глаза, как кончик клубня анемоны походит на анемону. Каждый отросток пучка волокон превратился в специальный орган лишь благодаря питанию и своей структуре; исключение составляют только органы, в которых эти отростки волокон преобразуются и которые их порождают. Пучок есть исключительно чувствительная система. Если бы он продолжал существовать в этом виде, он воспринимал бы все впечатления, относящиеся к чистому чувству; таковы холод, тепло, мягкость, твердость. Эти последовательные восприятия, отличные друг от друга и различающиеся каждое по своей силе, быть может, вызвали бы память, сознание самого себя, весьма ограниченный ум. Но эта чистая и простая чувствительность, это осязание дифференцируется благодаря органам, возникающим из этих отростков; отросток, из которого возникает ухо, порождает особого рода осязание, называемое нами шумом или звуком; второй отросток, из которого образуется небо, порождает другой вид осязания, называемый нами вкусом; третий, из которого образуется нос и слизистая оболочка, порождает третий вид осязания, называемый нами запахом; четвертый отросток, из которого образуется глаз, порождает четвертый вид осязания, называемый нами цветом.

М-ль де Леспинас. Но если я хорошо поняла вас, ведь те, кто отрицает существование шестого чувства, этого подлинного гермафродита, действуют безрассудно. Кто им сказал, что природа не может породить пучка с своеобразным отростком, из которого бы возник неизвестный нам орган?

Борде. Или с двумя отростками, соответствующими обоим полам. Вы правы; с вами приятно беседовать. Вы не только схватываете то, что вам говорят, вы делаете еще выводы, изумительно правильные.

М-ль де Леспинас. Вы подбадриваете меня, доктор.

Борде. Нет, честное слово, я вам говорю то, что думаю.

М-ль де Леспинас. Для меня ясно употребление некоторых отростков пучка, но что происходит с другими?

Борде. А вы полагаете, что другая на вашем месте задумалась бы над этим вопросом?

М-ль де Леспинас. Разумеется.

Борде. Вы не тщеславны; остальные отростки образуют различные виды осязания в количественном соответствии с органами и частями тела.

М-ль де Леспинас. А как они называются? Я никогда о них не слышала.

Борде. Они не имеют названия.

М-ль де Леспинас. А почему?

Борде. Дело в том, что между ощущениями, возбужденными через посредство этих отростков, нет такой разницы, как между ощущениями, вызванными другими органами.

М-ль де Леспинас. Вы совершенно серьезно думаете, что у ноги, у руки, у бедра, у живота, у желудка, у груди, у легкого, у сердца имеются свои особые ощущения?

Борде. Я так думаю. Если бы я решился, я бы вас спросил, нет ли среди этих ощущений, не имеющих специального названия...

М-ль де Леспинас. Я вас понимаю. Нет. То чувство, которое вы имеете в виду, единственное в своем роде, и это жаль. Но какое у вас основание считать, что эти чувства, скорее неприятные, чем приятные, которыми вам хочется нас наделить, столь многообразны?

Борде. Основание? Оно заключается в том, что мы их в большинстве случаев различаем. Если бы не существовало этого бесконечного разнообразия осязания, мы, испытывая удовольствие или страдание, не знали бы, куда их отнести. Пришлось бы прибегать к зрению. Это уже не относилось бы к области ощущений, а входило в компетенцию опыта и наблюдения.

М-ль де Леспинас. Если бы я сказала, что у меня болит палец, и если бы меня спросили, почему я уверена, что болит именно мой палец, мне следовало бы ответить не то, что я это чувствую, но что я чувствую боль и вижу, что болит мой палец.

Борде. Правильно. Позвольте вас обнять.

М-ль де Леспинас. Охотно.

Даламбер. Доктор, вы обнимаете мадемуазель, это на вас очень похоже.

Борде. Я долго размышлял, и мне показалось, что направление и место встряски недостаточны для вынесения столь быстрого приговора о происхождении пучка.

М-ль де Леспинас. Я тут ничего не знаю.

Борде. Ваше колебание мне симпатично. У нас так принято считать естественные свойства за приобретенные привычки почти одинакового с нами возраста.

М-ль де Леспинас. И наоборот.

Борде. Как бы то ни было, но вы видите, что в вопросе о первоначальном образовании животного неосновательно исходить в своих взглядах и наблюдениях из уже сформировавшегося животного, следует обратиться к его первому, зачаточному состоянию. Здесь вам уместно отвлечься от своей теперешней организации и вернуться к тому времени, когда вы были только мягким, волокнистым, бесформенным, червеобразным веществом, более похожим на клубень и на корень растения, нежели на животное.

М-ль де Леспинас. Если бы было принято ходить совершенно голым по улицам, не я первая, не я последняя подчинялась бы этому. Поэтому делайте со мной, что хотите, лишь бы мне чему-либо

научиться. Вы мне говорили, что всякий отросток пучка образует особый орган, а какое доказательство, что это так?

Борде. Сделайте мысленно то, что порою делается природой. Изуродуйте у пучка один из его отростков, например отросток, образующий его глаза; как вы думаете, что произойдет?

М-ль де Леспинас. Быть может, у животного не будет больше глаз?

Борде. Или будет только один глаз в середине лба.

М-ль де Леспинас. Это будет циклоп.

Борде. Циклоп.

М-ль де Леспинас. Значит, циклоп вполне мог бы быть и существом не мифическим.

Борде. Он настолько не мифическое существо, что я вам его покажу, если вы этого захотите.

М-ль де Леспинас. А кто знает причину этого разнообразия?

Борде. Тот, кто производил вскрытие этого урода и нашел в нем только один зрительный нерв. Прodelайте мысленно то, что иногда происходит в природе. Уничтожьте другой отросток пучка, отросток, из которого образуется нос, и животное будет без носа. Уничтожьте отросток, из которого образуется ухо, и животное будет безухим или будет иметь только одно ухо, и при вскрытии анатом не найдет ни обонятельных, ни слуховых нервов, или найдет только один из них. Продолжайте дальше уничтожать отростки, и животное окажется без головы, без ног, без рук; его жизнь станет короче, но оно будет жить.

М-ль де Леспинас. И тому имеются примеры?

Борде. Разумеется. Это еще не все. Удвойте некоторые отростки пучка, и у животного будут две головы, четыре глаза, четыре уха, три яйца, три ноги, четыре руки, шесть пальцев на каждой руке. Перепутайте отростки пучка, и органы сдвинутся: голова поместится в середине груди, легкие окажутся с левой, сердце—с правой стороны. Склейте два отростка, и органы сольются: руки прирастут к телу, бедра, ноги и ступни срастутся, и вы будете иметь всякого рода фантастические существа.

М-ль де Леспинас. Но мне кажется, что такой сложный механизм, как животное, должен был бы гораздо чаще запутываться в процессе своего формирования, чем мой шелк на мотовилке,—ведь этот механизм порождается из одной точки, из пришедшей в возбуждение жидкости, быть может, из двух жидкостей, случайно смешанных,—в такой момент люди не помнят себя; ведь этот механизм совершенствуется в бесконечных рядах последовательного развития; ведь правильное или неправильное формирование этого механизма зависит от бесконечного числа волокон, между собою не связанных, тонких и гибких, зависит от своего рода мотка, где малейший отросток может быть оборван, прорван, смещен, упущен без губельных последствий для целого.

Борде. Формирование также испытывает гораздо больше препятствий, чем обычно думают. Слишком редко производятся вскрытия, и представление о формировании сильно расходится с действительностью.

М-ль де Леспинас. Нет ли других замечательных примеров этих природных деформаций помимо горбатых и хромых, нельзя ли было бы в этой порче усмотреть какой-нибудь наследственный порок?

Борде. Таких примеров бесчисленное количество. Совсем недавно в парижском госпитале умер от воспаления легких плотник, по имени Жан Батист Масе, уроженец Труа, двадцати пяти лет; его внутренние грудные и брюшные органы оказались перемещенными: сердце—с правой стороны, приблизительно в том же месте, как у вас—в левой; печень—слева; желудок, селезенка, поджелудочная железа—в верхней правой подреберной полости; воротная вена оказалась входящей в печень с левой стороны, между тем как обычно она входит справа; такое же перемещение вдоль кишечника; почки, приросшие друг к другу на поясных позвонках, походили по своей форме на лошадиную подкову. И после этого нам будут толковать о конечных причинах!

М-ль де Леспинас. Это удивительно.

Борде. А если бы Жан Батист Масе был женат и имел детей...

М-ль де Леспинас. Ну, доктор, что касается его детей...

Борде. Они будут развиваться по общему закону; но кое-кто из детей их детей по истечении сотни лет воспроизведет удивительную формацию своего предка,—ведь эти неправильности появляются скачками.

М-ль де Леспинас. От чего зависят эти скачки?

Борде. Почем знать? Ведь чтобы родить ребенка, нужна пара, как вам известно. Быть может один из производителей возмещает недостатки другого, и дефектное сплетение возрождается только в то мгновение, когда преобладающим оказывается потомок уродливого поколения и определяет закон формации сплетения. Пучок волокон устанавливает коренную и первоначальную разницу всех видов животных. От разнообразий пучка известного вида животных зависят все уродливые уклонения данного вида.

(После долгого молчания м-ль де Леспинас очнулась и прервала раздумье доктора следующим вопросом.)

М-ль де Леспинас. Мне приходит в голову безумная мысль.

Борде. Какая?

М-ль де Леспинас. Быть может, мужчина представляет собою уродливую женщину, или женщина—уродливого мужчину.

Борде. Эта мысль пришла бы вам в голову гораздо скорее, если бы вы знали, что у женщины имеются все части мужчины и что вся разница сводится к тому, что у мужчины мешочек висит снаружи, а у женщины он обращен вовнутрь; если бы знали, что женский зародыш до неузнаваемости похож на мужской, что вводящая в заблуждение часть женского зародыша опадает по мере того,

как расширяется внутренний мешочек, что она никогда не опадает настолько, чтобы потерять свою первоначальную форму, что в уменьшенном виде она сохраняет эту форму, что она способна к восприятию тех же движений, что она есть побудительная причина страсти, что она имеет свою головку, что она имеет свою крайнюю плоть, что на ее конечности имеется точка, которая, повидному, была отверстием заросшего мочевого канала; что у мужчины между задним проходом и мошонкой есть так называемая промежность, а от мошонки до конца члена тянется шов, представляющий собою воспроизведение щели женских половых частей в заметанном виде; что женщина с исключительно большим клитором имеет бороду, что у евнухов нет бороды, а их бедра развиваются, ляшки расширяются, колени округляются и что, теряя половые признаки одного пола, они словно возвращаются к особенностям строения другого пола. Арабы, оказавшиеся осклопленными вследствие вошедшего в привычку искусства верховой езды, теряют бороду, начинают говорить тонким голосом, одеваются по-женски, садятся среди женщин на арбах, мочатся, приседая на корточки, и перенимают женские нравы и привычки... Но мы сильно уклонились от нашей темы. Вернемся к нашему пучку одушевленных и живых волокон.

Даламбер. Вы как будто говорите сальности мадемуазель де Леспинас.

Борде. В научных разговорах приходится пользоваться техническими терминами.

Даламбер. Вы правы. Тогда от них отпадают дополнительные ассоциации, придающие им непристойный смысл. Продолжайте, доктор. Итак, вы сказали, что матка есть не что иное, как мошонка, перенесенная снаружи внутрь, при этом движении яички были выкинуты из мешочка, их заключавшего, и распределены вправо и влево в полости тела, что клитор—уменьшенный мужской член, что этот мужской член у женщины все уменьшается, по мере того как матка, или перенесенная внутрь мошонка, расширяется и что...

М-ль де Леспинас. Да, да, молчите, и не вмешивайтесь в наши дела.

Борде. Вы видите, мадемуазель, что в вопросе о наших ощущениях в целом, представляющих собою не что иное, как дифференцированное осязание, не следует рассматривать последовательных форм, которые возникают у сплетения, а надо иметь в виду только само сплетение.

М-ль де Леспинас. Каждое волокно чувствительного сплетения можно при его длине поранить или пощекотать в разных местах. То там, то здесь появляется приятное чувство или боль,—в том или другом месте длинных лап моего паука, ибо я вновь возвращаюсь мыслями к моему пауку; дело в том, что этот паук—общее начало всех лап, и он отнесит к тому или иному месту боль или удовольствие, их не испытывая.

Борде. Эта постоянная, неизменная связь всех впечатлений с общей причиной определяет единство животного.

М-ль де Леспинас. Память всех этих последовательных впечатлений и составляет для каждого животного историю его жизни и его «я».

Борде. А память и сравнение, неизбежно вызываемые всеми впечатлениями, пробуждают мысль и рассуждение.

М-ль де Леспинас. А где происходит это сравнение?

Борде. У начала сплетения.

М-ль де Леспинас. А это сплетение?

Борде. А у этого сплетения при его возникновении нет никакого присущего ему чувства, оно не видит, не слышит, оно не испытывает страданий. Оно рождается, питается; оно выделяется из мягкого, бесчувственного, пассивного вещества, которое служит ему изголовьем, на нем оно восседает, внимает, судит и выносит свой приговор.

М-ль де Леспинас. Оно не испытывает страданий?

Борде. Нет. Самое легкое впечатление прерывает эту аудиенцию, и животное впадает в состояние смерти. Прекратите доступ впечатлению, и оно возвращается к своим функциям; животное оживает.

М-ль де Леспинас. Откуда вы все это знаете? Разве можно было произвольно возродить и умерщвлять человека?

Борде. Да.

М-ль де Леспинас. А как это делается?

Борде. Я вам сейчас скажу,—это любопытный факт. Лапейрони, которого вы могли знать лично, был вызван к одному больному, получившему тяжелый удар в голову. Больной в этом месте чувствовал пульсирование. Хирург не сомневался, что в мозгу образовался нарыв и что нельзя терять ни минуты. Он бреет голову больному и трепанирует череп. Острие инструмента попадает как раз в центр нарыва; там был гной; он удаляет гной; он очищает нарыв спринцовкой. Когда он сделал инъекцию в нарыв, больной закрыл глаза, члены стали бездеятельными, неподвижными, без малейшего признака жизни. Когда хирург выкачал инъекцию и освободил ближайший слой мозга от тяжести и от давления впрыснутой жидкости, больной открыл глаза, стал двигаться, заговорил, стал чувствовать, возродился и вернулся к жизни.

М-ль де Леспинас. Это оригинально. И больной выздоравливает?

Борде. Выздоровливает. А когда он выздоровел, он начал размышлять, думать, рассуждать, к нему вернулось то же сознание, тот же смысл, та же сообразительность, хотя была изъята значительная часть его мозга.

М-ль де Леспинас. Этот судья—удивительное существо.

Борде. Сам он иногда ошибается; он подвержен предубеждениям привычки: боль продолжает чувствоваться, когда член удален. При желании можно обмануться: скрестите ваши пальцы один на другой, прикоснитесь к небольшому шарик, и ваше судящее начало скажет, что тут два шарика.

М-ль де Леспинас. Так действуют все судьи в мире. Необходим опыт, без него судья может смешать ощущение льда и ощущение огня.

Борде. Он также делает кое-что другое. Иногда он индивиду доставляет почти безграничный размер, иногда же он сосредоточивается почти что в одной точке.

М-ль де Леспинас. Я вас не понимаю.

Борде. Чем определяется ваше реальное пространство, подлинная сфера вашей чувствительности?

М-ль де Леспинас. Моим зрением и осязанием.

Борде. Так происходит днем; а ночью, в темноте, особенно когда вы размышляете о чем-нибудь отвлеченном, даже днем, когда ваш ум поглощен чем-нибудь?

М-ль де Леспинас. Тогда нет ничего; я существую словно в какой-нибудь точке; я почти перестаю быть материей, я чувствую только свою мысль; для меня нет ни места, ни движения, ни тела, ни расстояния: вселенная для меня не существует, и я не существую для нее.

Борде. Вот последний предел сконцентрированности вашего существования, но его идеальное расширение может быть безгранично. Когда преодолен подлинный предел вашей чувствительности, благодаря ли тому, что вы сосредоточились, уплотнились в самой себе, благодаря ли тому, что вы распространились вовне,—то уже неизвестно, что может случиться.

М-ль де Леспинас. Доктор, вы правы. Во сне мне неоднократно казалось...

Борде. То же самое бывает у больных при приступах подагры.

М-ль де Леспинас. Будто я приобрела грандиозные размеры.

Борде. Будто их ноги касались полого постели.

М-ль де Леспинас. Будто мои ноги и руки до бесконечности удлиняются, будто остальная часть моего тела принимает соответствующие размеры; кажется, что в сравнении со мной мифический Энкелад был просто пигмеем, что Амфитрита Овидия, длинные руки которой широко опоясывали землю, просто карлица по сравнению со мной, что я взбираюсь по небу и что я обхватываю оба полушария.

Борде. Прекрасно. А я знавал женщину, с которой это явление происходило в обратную сторону.

М-ль де Леспинас. Вот как! Она постепенно уменьшалась и сосредоточивалась в самой себе?

Борде. До такой степени, что она себя чувствовала с иголку: она продолжала видеть, слышать, рассуждать, судить, она приходила в ужас от приближения малейших объектов; она не смела двинуться со своего места.

М-ль де Леспинас. Вот удивительный сон, досадный сон, очень неприятный сон.

Борде. Это совсем не был сон; это произошло при прекращении менструаций.

М-ль де Леспинас. И долго она оставалась в виде такой незаметной, крошечной женщины?

Борде. В продолжение одного, двух часов, после чего она постепенно возвращалась к своему нормальному размеру.

М-ль де Леспинас. Какова причина этих странных ощущений?

Борде. Отростки пучка в своем естественном и спокойном состоянии имеют известное напряжение, тонус, естественную энергию, определяющую реальные или воображаемые размеры тела. Я говорю: реальные или воображаемые, поскольку при изменчивости этого напряжения, этого тонуса, этой энергии наше тело не всегда имеет тот же самый размер.

М-ль де Леспинас. Таким образом, находясь под тем или иным физическим или моральным воздействием, мы воображаем себя большими, чем мы есть в действительности?

Борде. Холод нас сжимает, жара нас расширяет, и соответствующий индивид может в продолжение всей своей жизни воображать себя меньшим или большим, чем он в действительности. Когда массу пучка охватывает сильнейшее возбуждение, когда все отростки приходят в состояние эрекции и бесчисленное множество их конечностей выходит за пределы своих обычных границ, тогда голова, ноги, другие члены, все точки поверхности тела вырастают до громадных размеров, и индивид чувствует себя гигантом. Обратное явление происходит, когда конечностями отростков овладевает бесчувственность, апатия, пассивность, причем постепенно они доходят до начала пучка.

М-ль де Леспинас. Я понимаю, что это расширение не может быть измерено, я понимаю также, что эта бесчувственность, апатия, эта пассивность конечностей отростков, это онемение, после известного развития, может застыть, остановиться...

Борде. Как это случилось с Лакондамино: тогда индивид чувствует как бы гири на своих ногах.

М-ль де Леспинас. Он находится вне пределов своей чувствительности, и, если бы он во всех смыслах был бы объят этой апатией, он бы представлялся нам маленьким живым человечком под видом мертвого.

Борде. Сделайте отсюда вывод, что животное, которое при своем возникновении представляло собою лишь точку, еще не знает, является ли оно чем-нибудь большим в действительности. Но вернемся...

М-ль де Леспинас. Куда?

Борде. Куда? К трепанации Лапейрони... Мне думается, это как раз то, о чем вы меня спрашиваете: пример человека, который попеременно жил и умирал... Но есть еще лучший пример.

М-ль де Леспинас. Что это может быть?

Борде. Реализованный миф о Касторе и Поллуксе; это—два ребенка, причем жизнь одного тотчас сопровождалась смертью другого, а жизнь другого тотчас влекла за собою смерть первого.

М-ль де Леспинас. О! Хорошая сказка. И долго это продолжалось?

Борде. Продолжительность этой жизни была два дня. Этот срок они распределили равными долями и в несколько приемов, так что на долю каждого пал один день жизни и один день смерти.

М-ль де Леспинас. Боюсь, доктор, что вы несколько злоупотребляете моей доверчивостью. Берегитесь, если вы меня однажды обманете, я вам больше не буду верить.

Борде. Читаете ли вы иногда «Gazette de France»?

М-ль де Леспинас. Никогда, хотя это превосходное издание двух остроумнейших людей.

Борде. Попросите, чтобы вам дали номер от 4 сентября текущего года, и вы увидите, что в Рабастене, находящемся в округе Альби, родились две девочки со сросшимися спинами, связанные поясничными позвонками, ягодицами и подвздошной областью. Если одна держалась в прямом направлении, то голова другой приходилась вниз. Лежа они могли переглядываться; их бедра были согнуты между их туловищами; их ноги приподняты; посередине круговой линии, связывавшей их в подвздошной области, можно было различить их пол, а между правым бедром одной, соответствовавшим левому бедру сестры, в полости находился маленький задний проход, по которому выходили испражнения новорожденного.

М-ль де Леспинас. Вот удивительная порода!

Борде. Они принимали молоко с ложки; как я сказал, они прожили двенадцать часов, причем одна впадала в обморочное состояние, когда другая выходила из этого состояния; вторая была мертвой, когда первая жила. Первое обморочное состояние одной девочки и первоначальная жизнь другой продолжались четыре часа; последующие обмороки и возвращение к жизни были не столь продолжительны; умерли они одновременно. Заметили также, что их пупки попеременно втягивались и выпячивались; втягивался пупок у впадавшей в обморок и выпячивался у возвращавшейся к жизни.

М-ль де Леспинас. А что вы скажете об этих попеременных сменах жизни и смерти?

Борде. Быть может, ничего особенного; но так как на все смотришь сквозь очки своего организма и поскольку я не хочу делать исключения из правила, я скажу, что здесь наблюдалось то же явление, как у Лапейрони с трепанированным черепом, причем явление это распадалось на два связанных существа. Сплетения этих двух детей были так прочно связаны, что они находились во взаимном воздействии; когда начало пучка одного ребенка оказывалось преобладающим, оно увлекало сплетение другого, впадавшего тотчас в обморок; обратное получалось, если преобладало сплетение второго в общем организме. У Лапейрони с трепанированным черепом давление происходило сверху вниз, благодаря тяжести жидкости; у обоих близнецов из Рабастена тяжесть давила снизу вверх, благодаря тяге известного числа волокон сплетения: это—догадка, опирающаяся на факт последовательных втягиваний и выпячиваний пупков у возвращавшейся к жизни девочки и у умиравшей.

М-ль де Леспинас. И вот две души оказались связанными.

Борде. У этого животного оказалась двойная чувствительность и двойное сознание.

М-ль де Леспинас. Причем одновременно происходило пользование только одним сознанием. Но кто знает, что бы получилось, если бы это животное пожило некоторое время?

Борде. Какое соответствие между этими двумя мозгами могла бы установить эта самая сильная привычка из всех возможных,—опыт, в своих наблюдениях над всеми моментами их жизни.

М-ль де Леспинас. Двойная чувствительность, двойная память, двойное воображение, двойное внимание, одна половина существа наблюдает, читает, рассуждает, между тем как другая половина отдыхает; эта вторая половина принимает на себя те же функции, когда ее спутница утомлена; двойная жизнь раздвоенного существа!

Борде. Возможно ли это? Тогда природа, постепенно вовлекая все возможное, образует какое-то странное целое.

М-ль де Леспинас. В сравнении с этим существом какими бы мы оказались бедными!

Борде. Почему? Уже в простом уме столько колебаний, столько противоречий, столько безумства, что трудно себе представить, чем бы все это оказалось в двойном уме... Однако половина одиннадцатого, и я даже отсюда слышу, как меня зовет больной.

М-ль де Леспинас. Разве было бы опасно, если бы вы его не осмотрели?

Борде. Быть может, менее опасно, чем при осмотре. Если природа без меня не озаботится, нам будет очень трудно сделать это вдвоем, и уже наверное без природы я не достигну необходимого.

М-ль де Леспинас. Так оставайтесь.

Даламбер. Еще одно слово, доктор, и я вас отпущу к вашему пациенту. Сквозь все эти превратности, испытанные мною за мою жизнь, каким образом, не имея, быть может, ни одной молекулы, которая была во мне при рождении, я остался самим собой для других и для самого себя?

Борде. Во сне вы нам это разъяснили.

Даламбер. Разве я бредил?

М-ль де Леспинас. Всю ночь, и это так напоминало иступление, что я утром позвала доктора.

Даламбер. И все это из-за лапок паука, которые двигались сами собою, заставляли паука насторожиться и вызывали животное на разговор. Что же оно говорило?

Борде. Что оно, благодаря памяти, было самим собой для других и для себя, а от себя добавлю: благодаря медленному течению перенесенных превратностей. Если бы вы мгновенно перешли от юношеского возраста к старческому, вы были бы выброшены в этот мир, как в первое мгновение вашего рождения; вы бы не были самими собой ни для других, ни для себя, и другие для вас не существовали бы в том виде, каковы они сами по себе. Все связи уничтожились бы, вся история вашей жизни для меня и вся история моей жизни для вас смешалась бы. Как могли бы вы заключить, что этот человек, опирающийся на палку, с потухшим взглядом, с трудом идущий, еще менее

на себя похожий внутри, чем по внешности, есть тот самый, что накануне ходил так легко, передвигал довольно большие тяжести, мог отдаваться самым глубоким размышлениям, самым приятным и страстным занятиям? Вы бы не поняли ваших собственных работ, вы не узнали бы самих себя, вы бы никого не узнали, и вас бы никто не узнал; вся картина мира изменилась бы. Подумайте, что между вами в момент рождения и между вами в молодых годах была бы меньшая разница, чем разница между вами юношей и вами, внезапно ставшим стариком. Обратите внимание на то, что, хотя ваше рождение было связано с вашей юностью целым рядом непрерывных ощущений, три первых года вашей жизни никогда не были историей вашей жизни. Чем бы для вас оказались ваши юношеские годы, если бы они не были связаны с эпохой вашей старости? У дряхлого Даламбера не было бы ни малейшего воспоминания о молодом Даламбере.

М-ль де Леспинас. В грозди пчел не оказалось бы ни одной пчелы, которая бы имела время, чтобы освоиться с духом всего тела.

Даламбер. Что такое вы там говорите?

М-ль де Леспинас. Я говорю, что монастырский дух сохраняется, потому что монастырь возобновляется постепенно, и, когда в него поступает новый монах, он находит там сотню старых, которые заставляют его думать и чувствовать в своем духе. Пчела улетает, ее в грозди заменяет другая, которая скоро осваивается.

Даламбер. Ну, вы несете вздор с вашими монахами, пчелами, вашей гроздью и вашим монастырем.

Борде. Совсем не такой вздор, как вы думаете. Если у животного одно сознание, то воли имеется бесчисленное множество; у каждого органа своя воля.

Даламбер. Как вы сказали?

Борде. Я сказал, что желудок стремится к пище, а нёбо ее не хочет; отличие нёба и желудка от животного в целом в том, что животное знает, чего оно хочет, а что желудок и нёбо стремятся к чему-то, не зная этого. Желудок или нёбо относятся друг к другу так, как человек и животное. Пчелы утрачивают свое сознание, удерживая свои стремления или желания. Волокно есть простое животное, человек—сложное животное. Но оставим эту тему до другого раза. Достаточно гораздо менее значительного события, чем старость, чтобы лишить человека самосознания. Умиравший приобщается святым таинств с глубоким чувством благоговения; он раскаивается в своих грехах, он просит прощения у своей жены, он обнимает своих детей; он созывает своих друзей, он заговаривает со своим врачом, он отдает приказания своим слугам, он высказывает свою последнюю волю, он делает распоряжения по своим делам, и все это, находясь в самом здравом уме, с полным присутствием духа. Он выздоравливает, силы к нему возвращаются, и у него нет ни малейшего представления о том, что он сказал или сделал во время своей болезни. Этот порою весьма значительный промежуток исчез из его жизни. Есть примеры

того, что люди продолжают разговор или действие, прерванные внезапным приступом болезни.

Даламбер. Я помню, как во время публичного диспута один педант из коллежа, гордый своими знаниями, был, что называется, посажен в калошу презираемым им капуцином. Его посадили в калошу! И кто? Капуцин! И в каком вопросе? В вопросе предвидения будущего! В науке средневековья, в которую он был погружен всю жизнь! И при каких обстоятельствах? Перед многочисленным собранием, перед его учениками. И вот, престиж его пал. Его голова так сильно занята этими вопросами, что он впадает в летаргический сон, лишающий его всех ранее приобретенных знаний.

М-ль де Леспинас. Но это было счастьем для него.

Даламбер. Клянусь, вы правы. Здравый смысл у него остался, но он все забыл. Его вновь выучили говорить и читать, он умер, когда уже начал очень порядочно разбирать буквы. Этот человек вовсе не был неспособным; его даже до некоторой степени считали красноречивым.

М-ль де Леспинас. Раз доктор послушал ваш рассказ, нужно, чтобы он выслушал и мой. Один молодой человек, восемнадцати—двадцати лет, имя его я не помню...

Борде. Это некий господин Шулленбург из Винтертура; ему было всего пятнадцать, шестнадцать лет.

М-ль де Леспинас. Этот молодой человек упал, и при падении произошло сильное сотрясение головы.

Борде. Что вы называете сильным сотрясением? Он упал с крыши сарая; он разбил себе голову, и был шесть недель без сознания.

М-ль де Леспинас. Как бы то ни было, но знаете ли вы последствия этого случая? Они такие же, как у вашего педанта: он забыл все, что знал, он вернулся к своим младенческим годам: он впал во второе детство, и оно продолжалось довольно долго; он сделался мнительным и малодушным; он стал играть в игрушки. Если он что плохо делал и его начинали бранить, он прятался в угол; он просился за маленькой и за большой нуждой; его научили читать и писать, но я забыла вам сказать, что пришлось учить его ходить. Он вновь стал человеком, и ловким человеком, и оставил после себя труд по естественной истории.

Борде. Это атлас насекомых с гравюрами г. Зюлье, составленный по системе Линнея. Этот факт известен; это произошло в Швейцарии, в Цюрихском кантоне; имеется целый ряд подобных случаев. Достаточно изменить начало пучка, и вы вносите изменение в животное; кажется, будто оно целиком входит в пучок,—то оно царит над его разветвлениями, то они царят над ним.

М-ль де Леспинас. Животное либо подчинено деспотизму, либо находится в анархическом состоянии.

Борде. Подчинено деспотизму—это хорошо сказано. Начало пучка повелевает, а все остальное повинуется. Животное—хозяин себя самого, *mentis compositus*.

М-ль де Леспинас. В анархическом состоянии,—когда все волокна сплетения восстали против своего господина и когда больше нет высшего авторитета.

Борде. Прекрасно. В сильных припадках страсти, при бреде, при угрозах гибели, когда хозяин направляет все силы своих подданных к одной точке, самое слабое животное проявляет невероятную мощь.

М-ль де Леспинас. Во время истерических припадков, своего рода анархических состояниях, для нас весьма характерных.

Борде. Это картина слабости власти, когда всякий присваивает себе авторитет хозяина. Я знаю только одно средство излечения; средство это трудное, но надежное; оно заключается в том, что начало чувствительного сплетения, эта часть, которая созидает наше «я», возбуждается под влиянием сильного мотива, чтобы восстановить свой авторитет.

М-ль де Леспинас. А что тогда происходит?

Борде. Либо авторитет восстанавливается, либо животное гибнет. Если бы я располагал временем, я бы рассказал вам об этом два любопытных случая.

М-ль де Леспинас. Но, доктор, ведь час вашего визита прошел, и ваш больной вас уже не ожидает.

Борде. Сюда нужно приходить, когда нечего делать, потому что невозможно уйти.

М-ль де Леспинас. Вот порыв откровенной иронии! А в чем заключаются ваши случаи?

Борде. На сегодня вам хватит следующего. После родов у одной женщины случился припадок—истерическое состояние было ужасным: тут были произвольные рыдания и смех, она задышалась, у нее были конвульсии, спазмы в горле, тупое молчание, пронзительные крики, самые тяжелые симптомы; продолжалось это несколько лет. Она страстно любила одного человека, и ей показалось, что ее возлюбленный, утомленный ее болезнью, стал охладевать; тогда она решила или выздороветь или погибнуть. В ней произошла настоящая гражданская война; в этой войне одерживал верх то господин, то подданные. Если случалось, что действие волокон пучка оказывалось равносильным воздействию его начала, то она падала, словно мертвая. Ее укладывали в постель, и она целыми часами лежала без движения и почти безжизненная. В иных случаях она отделялась усталостью, таким общим упадком, такою слабостью, что казалось, будто наступает последний час. Шесть месяцев длилось это состояние борьбы. Возбуждение начиналось всегда от волокон. Она чувствовала его приближение. При первом же симптоме она вскакивала, начинала бегать, отдавалась самым энергичным упражнениям; она бежала вверх, она сбегала с лестницы, она пилила дрова, вскапывала землю. Орган ее воли, начало пучка, креп; она говорила самой себе: победить или умереть. После бесконечного числа побед и поражений господин восторжествовал, подданные настолько подчинились его власти, что, хотя эта женщина взяла на себя все хозяйственные заботы и ей пришлось испытать разные болезни, уже не было речи о припадках.

М-ль де Леспинас. Это очень похвально, но мне кажется, что и я поступила бы так же.

Борде. Дело в том, что если бы вы полюбили, то вы любили бы сильно; к тому же вы отличаетесь твердостью.

М-ль де Леспинас. Верно. Человек тверд, если по привычке или органически начало пучка господствует над волокнами; наоборот, человек слаб, если оно в порабощении.

Борде. Отсюда можно сделать и другие выводы.

М-ль де Леспинас. Позвольте, а другой ваш рассказ? Выводы же вы делаете потом.

Борде. Одна молодая особа потеряла душевное равновесие. Однажды она решила отказаться от удовольствий. И вот она в одиночестве, погруженная в меланхолию и ипохондрию. Она зовет меня. Я ей посоветовал одеться в крестьянскую одежду, копать целый день землю, спать на соломе и питаться черствым хлебом. Этот режим ей не понравился. Ну, тогда попутешествуйте,—посоветовал я ей. Она проехала по Европе и во время этого путешествия восстановила свое здоровье.

М-ль де Леспинас. Это не то, что вам нужно было рассказать; все равно, вернемся к вашим выводам.

Борде. Этому конца не будет.

М-ль де Леспинас. Тем лучше. Все же скажите.

Борде. У меня нехватает смелости.

М-ль де Леспинас. Почему?

Борде. Ведь мы слету коснемся всего, но мы ничего не углубим.

М-ль де Леспинас. Ну и что же из этого? Мы не сочиняем, мы беседуем.

Борде. Например, если начало пучка призывает обратно к себе все силы, если вся система движется, так сказать, вспять,—так, думается мне, происходит с человеком, погруженным в глубокие думы, так происходит с фанатиком, видящим отверстие неба, так происходит с диким человеком, распеваящим песни среди пламени, когда он в экстазе, в вольном или невольном умоисступлении...

М-ль де Леспинас. Ну и что же?

Борде. Вот животное и оказывается бесстрастным, оно существует лишь в одной точке. Я не видел этого калмыцкого священника, о котором говорит св. Августин,—он приходил в такое исступление, что не чувствовал больше пылающих углей; я не видел на костре тех дикарей, которые с улыбкой встречают своих врагов, наносящих им оскорбления и готовящих им еще более изысканные пытки, чем те, которым они подвергаются; я не видел в цирке тех гладиаторов, которые, умирая, вспоминали бы об изяществе и уроках гимнастики; но я верю всем этим фактам, потому что я видел, и притом собственными глазами, такое же исключительное напряжение сил, какого не было у всех перечисленных лиц.

М-ль де Леспинас. Расскажите мне о них, доктор. Я совсем, как ребенок, я люблю удивительные случаи, и, когда они доставляют

честь роду человеческому, мне редко приходится оспаривать их истинность.

Борде. В Лангре, маленьком городке Шампани, проживал славный приходский священник, по имени Мони, очень вдумчивый, весь отдавший религиозной истине. С ним случилась каменная болезнь, его пришлось оперировать. В назначенный день хирург, его помощники и я приходим к нему; он нас встречает с ясным лицом, он раздевается, ложится; его хотят связать, он отказывается; он заявляет: «Только положите меня как следует»,—его кладут. Тогда он просит большое распятие, стоявшее в ногах его постели; ему дают его, он сжал его в руках и прильнул к нему устами. Его оперируют, он сохраняет неподвижность, не слышно ни слез, ни вздохов, у него вынули камень, а он этого и не почувствовал.

М-ль де Леспинас. Прекрасно. Как после этого сомневаться в том, что тот, кому разбили камнем грудь, видел отверстыя небеса?

Борде. Испытывали ли вы боль в ушах?

М-ль де Леспинас. Нет.

Борде. Тем лучше для вас. Это самая жестокая боль из всех.

М-ль де Леспинас. Даже хуже зубной боли, которую я, к сожалению, знаю?

Борде. Несравненно. Один философ из ваших друзей две недели мучился от этой боли и, наконец, сказал своей жене: «У меня нехватит энергии на весь день»... Он решил, что единственное средство заключается в том, чтобы хитростью обмануть боль. Постепенно он так углубился в один метафизический или математический вопрос, что забыл о своем ухе. Ему подали поесть, он бессознательно поел; он дождался времени сна без всяких страданий. Ужасная боль возобновилась только тогда, когда ослабла его сосредоточенность духа, но она возобновилась с невероятной силой, потому ли, что усталость вызвала эту боль, или потому, что его слабость сделала ее более невыносимой.

М-ль де Леспинас. Когда кончается это состояние, то действительно изнемогаешь от сильнейшей усталости. Вот что иногда происходит с такого рода людьми.

Борде. Это опасно. Он должен остерегаться.

М-ль де Леспинас. Я ему это непрестанно повторяю, но он с этим не считается.

Борде. Он больше не владеет собой, такова его жизнь; ему суждено погибнуть.

М-ль де Леспинас. Этот приговор пугает меня.

Борде. Что доказывает это истощение, этот упадок сил? То, что отростки пучка не остались бездейственными и что во всей системе было сильное напряжение к общему центру.

М-ль де Леспинас. Если бы это напряжение или сильное стремление оказалось продолжительным, если бы оно стало обычным?

Борде. Это судорожное подергивание начала пучка; животное находится в безумии, и почти в безнадежном безумии.

М-ль де Леспинас. А почему?

Борде. Потому что судорожное подергивание начала не есть судорожное подергивание одного из отростков. Голова может распоряжаться ногами, но не нога головой; начало может распоряжаться одним из отростков, а не отросток началом.

М-ль де Леспинас. А скажите, пожалуйста, в чем разница? В самом деле, почему бы невозможно мысли возникать во мне повсюду? Это—вопрос, который должен был бы раньше притти мне в голову.

Борде. Дело в том, что сознание находится лишь в одном месте.

М-ль де Леспинас. Легко сказать!

Борде. Сознание может быть только в одном месте, в общем центре всех ощущений—там, где находится память, там, где происходят сравнения. Каждый отросток восприимчив по отношению к определенному числу известных впечатлений, последовательных ощущений, изолированных, без наличия памяти. Начало может воспринимать все впечатления, оно их регистрирует, оно сохраняет о них память или непрерывно их ощущает, и с момента своего возникновения животное связывает себя с ними, в них всецело себя запечатлевает и ими существует.

М-ль де Леспинас. А если бы мой палец обладал памятью?..

Борде. Тогда ваш палец мыслил бы.

М-ль де Леспинас. А что такое память?

Борде. Это свойство центра, специфическое чувство начала сплетения, как зрение есть свойство глаза; и нечего удивляться, что у глаза нет памяти, так же как нет ничего удивительного в том, что ухо не видит.

М-ль де Леспинас. Доктор, вы скорее уклоняетесь от моих вопросов, чем отвечаете на них.

Борде. Я не уклоняюсь, я говорю то, что знаю, и я знал бы больше, если бы организация начала пучка мне была бы так же известна, как строение отростков, если бы я мог с такой же легкостью наблюдать ее. Но если я слаб в явлениях частных, то, наоборот, я силен в явлениях общих.

М-ль де Леспинас. А каковы эти общие явления?

Борде. Разум, суждение, воображение, безумие, идиотизм, свирепость, инстинкт.

М-ль де Леспинас. Понимаю. Все эти свойства—только следствия изначального или приобретенного привычкой отношения начала пучка к своим разветвлениям.

Борде. Прекрасно. А если принцип или ствол слишком могуч по сравнению с ветвями? Отсюда поэты, артисты, люди, одаренные воображением, малодушные люди, энтузиасты, сумасшедшие. А если он слишком слаб, тогда появляются те люди, которых мы называем зверями, дикими животными. Если же вся система вялая, дряблая, не энергичная? В таком случае появляются идиоты. Когда, наконец, вся система энергичная, согласная и хорошо организованная, тогда мы имеем хороших мыслителей, философов, мудрецов.

М-ль де Леспинас. И смотря по тому, какая тираническая ветвь преобладает, инстинкт ли в его разнообразных видах у животных, или гений, различно проявляющийся у людей,—собака оказывается наделенной обонянием, рыба—слухом, орел—зрением; Даламбер становится математиком, Вокасон—изобретателем машин, Гретри—музыкантом, Вольтер—поэтом; все это разнообразные следствия отростка пучка, более мощного по сравнению со всеми другими и по сравнению с аналогичным отростком существ данного вида.

Борде. Привычки берут верх. Так, старик продолжает любить женщин, а Вольтер все сочиняет трагедии.

(Здесь доктор погрузился в размышления, а мадемуазель де Леспинас обратилась к нему так:)

М-ль де Леспинас. Доктор, вы мечтаете?

Борде. Совершенно справедливо.

М-ль де Леспинас. Каким мыслям вы отдаетесь?

Борде. По поводу Вольтера.

М-ль де Леспинас. А именно?

Борде. Я размышляю, каким образом возникают великие люди.

М-ль де Леспинас. Ну и как же они возникают?

Борде. Каким образом чувствительность...

М-ль де Леспинас. Чувствительность?

Борде. Или крайняя подвижность некоторых волокон сплетения оказывается преобладающим свойством посредственностей.

М-ль де Леспинас. Ах! Доктор, какое святотатство!

Борде. Я этого ожидал. Но что такое чувствующее существо? Это существо, отданное в распоряжение диафрагмы. Достаточно трогательного слова, воздействующего на слух, достаточно, чтобы какое-нибудь особое явление поразило глаз, и вот сразу поднимается внутренний вихрь, все отростки пучка приходят в волнение, все тело содрогается, охватывает ужас, слезы текут, вздохи захватывают дух, голос прерывается, начало пучка само не знает, во что оно превращается; нет ни хладнокровия, ни здравого смысла, ни рассудительности, инстинкт бездействует, точка опоры потеряна.

М-ль де Леспинас. Я узнаю себя.

Борде. Если, по несчастью, великий человек оказывается наделенным такими природными склонностями, он безостановочно будет стремиться, чтобы их ослабить, чтобы взять над ними верх, взять власть над своими движениями и сохранить у начала пучка всю его силу. Тогда он сохранит свое самообладание при величайших опасностях, он сможет рассуждать трезво и здраво. От него не ускользнет ничего, что может послужить его целям, помочь его замыслам; он не будет удивляться; ему минет сорок пять лет, и он уже будет великим королем, великим министром, великим политиком, великим артистом, он может преимущественно оказаться великим творцом комедий, великим философом, великим поэтом, великим музыкантом, великим медиком; он будет царить над самим собой и в особенности надо всем окружающим. Он не будет бояться смерти, о которой так проникновенно

сказано стойким, что смерть подобна поводу, который берет сильный, чтобы вести слабого повсюду, куда он захочет; он порвет повод и в то же время сбросит с себя всякую тиранию. Существа чувствительные или безумные находятся на сцене, он же смотрит из партера; он-то и есть мудрец.

М-ль де Леспинас. Избави меня боже от общества этого мудреца!

Борде. Благодаря тому, что вы не поработали над тем, чтобы походить на него, вы попеременно будете испытывать то сильные страдания, то радости, ваша жизнь будет сопровождаться смехом и слезами, и навсегда вы останетесь ребенком.

М-ль де Леспинас. Я на это готова.

Борде. И вы надеетесь быть от этого более счастливой?

М-ль де Леспинас. Я ничего не знаю.

Борде. Мадемуазель, это столь ценное качество, не доставляющее ничего великого, в своих значительных проявлениях почти всегда сопровождается скорбью, а в слабых проявлениях—скукой; или скачешь, или находишься в опьянении. Вы безмерно отдаетесь впечатлению очаровательной музыки, вы увлекаетесь прелестью патетической сцены; ваша грудь стеснена, удовольствие погасло, и вас в продолжение всего вечера душат спазмы.

М-ль де Леспинас. А если я только при этом условии могу наслаждаться возвышенной музыкой и трогательным зрелищем?

Борде. Это заблуждение. Я тоже умею наслаждаться; я умею приходить в восторг, и я никогда не страдаю, разве только от рези в животе. Чистое удовольствие мне также свойственно, моя цензура гораздо более сурова, моя похвала более лестна и более осмысленна. Для такой впечатлительной души, как ваша, всякая трагедия будет казаться прекрасной. Ведь вы не раз краснели за чтением, вспоминая те восторги, которые вы испытывали во время спектакля, и наоборот?

М-ль де Леспинас. Это со мной случалось.

Борде. Поэтому слова: это верно, это хорошо, это прекрасно,—подобаает говорить не таким чувствительным натурам, как вы, а спокойным и холодным,—каков я. ...Упрочим начало сплетения, это наилучший удел. Понимаете ли вы, что здесь идет речь о жизни?

М-ль де Леспинас. О жизни! Доктор, это вещь серьезная.

Борде. Да, о жизни. Нет ни одного человека, у которого бы порой не появлялось отвращения к жизни. Достаточно какого-нибудь одного обстоятельства, чтобы это чувство стало произвольным и обычным; в таких случаях отростки с упорством вызывают у начала пучка гибельные потрясения, несмотря на развлечения, на разнообразие увеселений, советы друзей и собственные усилия; сколько бы несчастный ни сопротивлялся, зрелище мира для него становится все мрачнее и мрачнее; цепь мрачных мыслей преследует его, и он кончает самоубийством.

М-ль де Леспинас. Доктор, вы меня пугаете.

Даламбер. (Поднявшись, в халате и в ночном колпаке.) А что вы скажете о сне, доктор? Это славная вещь.

Борде. Сон—это состояние, когда весь пучок ослабляется и становится неподвижным или от усталости или по привычке; в этом состоянии, как во время болезни, всякое волокно сплетения возбуждается, приходит в движение, доставляет общему началу целый рой ощущений, часто разрозненных, бессвязных, мутных. В других случаях они так связаны, так последовательны, так упорядочены, что человек, проснувшись, оказывается лишенным и ума, и красноречия, и воображения; иногда эти ощущения так сильны, так ярки, что человек при пробуждении испытывает сомнение, не происходило ли это на самом деле...

М-ль де Леспинас. Итак, что же такое сон?

Борде. Это—состояние животного, когда нет никакого единства. Всякое согласие, всякое подчинение прекращается. Владыка отдан на волю своих вассалов и безудержной энергии собственной активности. При возбуждении глазного нерва начало пучка видит, оно слышит, если слуховой нерв его раздражает. Все реальное сводится к действию и противодействию между вассалами; это следствие центрального свойства, закона непрерывности и привычки. Если действие начинается от полового отростка, предназначенного природой к наслаждению любви и к продолжению рода, то последствием реакции в начале пучка будет воскресший образ любимого предмета. Если же, наоборот, этот образ первоначально воскреснет у начала пучка, то напряжение полового отростка, истечение и возбуждение полового семени составит результат реакции.

Даламбер. Таким образом, сон или усиливается или ослабляется. Этой ночью у меня был такой сон, но каким путем он шел, я не знаю.

Борде. Когда человек бодрствует, то сплетение подчиняется впечатлениям внешнего объекта. Во сне деятельность собственной чувствительности вызывает все, что происходит в человеке. Во сне внимание ничем не отвлекается; отсюда его живость,—это всегда является следствием сильного возбуждения или случайного припадка болезни. В этих случаях начало пучка может быть попеременно активным или пассивным самыми разнообразными способами; этим объясняется беспорядочность сна. Понятия иногда во сне настолько связаны, настолько отчетливы, что их можно сравнивать с понятиями животного, наблюдающего за явлениями природы. Это только отображения этих явлений в их воскресшем виде, отсюда правдоподобие сна, невозможность отличить его от бодрствующего состояния; невозможность определить большее правдоподобие одного состояния в сравнении с другим; опыт—единственное средство убедиться в ошибке.

М-ль де Леспинас. А опыт всегда надежное средство?

Борде. Нет.

М-ль де Леспинас. Если сон мне доставляет образ потерянного друга, причем этот образ такой же реальный, как если бы этот друг существовал; если он со мной беседует, а я его слышу; если я его трогаю, и он доставляет впечатление чего-то телесного в моих руках; если при моем пробуждении душа моя преисполнена нежности и скорби,

если глаза мои полны слез, если мои руки еще протянуты в том направлении, где он мне являлся, кто мне скажет, что я его не видела, не слышала и не осязала реально?

Борде. Это засвидетельствует его отсутствие. Но если невозможно отличить бодрствование от сна, кто учтет его продолжительность? Если сон спокоен, то это ускользающий промежуток между началом и концом сна; если он беспокойный, то его продолжительность порою кажется равной нескольким годам. В первом случае так или иначе сознание самого себя совершенно исчезает. Вы признаете сном такой сон, который вы никогда не видели и не увидите?

М-ль де Леспинас. Признаю. Ведь во время сна бываешь другим человеком.

Даламбер. А во втором случае не только сознаешь самого себя, но сознаешь свою волю и свою свободу. В чем же заключается эта свобода? Что собою представляет воля спящего человека?

Борде. Что она собою представляет? То же самое, что и свобода бодрствующего человека: последний импульс желания и отвращения, конечный результат того, чем был человек от рождения до настоящего момента; и я поспорю с самым проникательным умом, что тут нет ни малейшей разницы.

Даламбер. Вы так думаете?

Борде. И вы мне ставите такой вопрос, вы, посвятивший себя глубоким умозрительным изысканиям, проведший две трети своей жизни в свидениях с открытыми глазами и в произвольной деятельности? Да, произвольной, ничем не меньше, чем во сне. Во время вашего сна вы распоряжались, вы отдавали приказания, вам повиновались; вы бывали недовольны или удовлетворены, вы наталкивались на противоречия, вы встречали препятствия, вы раздражались, вы любили, вы ненавидели, вы порицали, вы уходили, вы приходили. Погруженный в свои размышления, как только утром вы открывали глаза, восстановив круг мыслей, которыми вы были заняты накануне, вы одевались, садились к своему столу, размышляли, чертили фигуры, производили вычисления, вы обедали, вы вновь принимались за ваши выкладки, несколько раз вы отходили от стола для проверки, вы говорили с другими, вы отдавали распоряжения вашей прислуге, вы ужинали, ложились спать, засыпали, и все это делалось без всякого акта воли. Вы были не больше, чем простой точкой; вы действовали, но вы не проявляли воли. Разве хотение происходит от себя? Хотение всегда вызывается каким-нибудь внутренним или внешним мотивом, каким-нибудь наличным впечатлением, каким-нибудь воспоминанием прошлого, какой-нибудь страстью, проектом будущего. После этого я вам скажу о свободе только одно слово, а именно, что последнее наше действие есть неизбежный результат одной причины. Эта причина—мы, причина эта сложная, но единственная.

М-ль де Леспинас. А результат этот необходим?

Борде. Несомненно. Попробуйте представить себе результат другого действия, предполагая то же действующее существо.

М-ль де Леспинас. Он прав; поскольку я действую известным образом, тот, кто может действовать иначе, уже не есть я. Утверждение, будто в тот момент, когда я что-нибудь делаю или говорю, я могу делать и говорить нечто другое, равносильно утверждению, что я—я и что вместе с тем я—кто-то другой. Но что такое порок и добродетель, доктор? Добродетель—это святое слово на всех языках, это священная идея всех наций!

Борде. Его следует заменить словами: принесение пользы, а противоположное слово—словами: причинение вреда. Мы родимся счастливо или несчастливо, нас влечет общий поток, не терпящий сопротивления, благодаря ему один достигает славы, а другой—позора.

М-ль де Леспинас. А чувство собственного достоинства, а честь, а укоры совести?

Борде. Пустяк, основанный на незнании и тщеславии лица, приписывающего себе заслугу или позор неизбежного момента.

М-ль де Леспинас. А награды, а кары?

Борде. Средства исправить изменчивое существо, которое называют злым, и средства подбодрить того, кого называют добрым.

М-ль де Леспинас. Но во всем этом учении нет ли чего-нибудь опасного?

Борде. А это истинное или ложное учение?

М-ль де Леспинас. Я его считаю истинным.

Борде. Значит, вы думаете, что у лжи есть свои преимущества, а у истины—свои неудобства?

М-ль де Леспинас. Думаю.

Борде. И я также, но преимущества лжи—временные, а преимущества истины—вечны; с другой стороны, прискорбные последствия истины, когда они имеются,—преходящи, подобные же последствия лжи прекращаются только вместе с нею. Присмотритесь к последствиям лжи в человеческой голове, присмотритесь также, как эти последствия проявляются в поведении человека. Если в голове ложь так или иначе перемешалась с истиной, то и голова оказывается извращенной, а где она хорошо и последовательно связана с ложью, там голова пребывает в заблуждении. Впрочем, какого поведения ожидать от головы, непоследовательной в своих выкладках или последовательной в своих ошибках?

М-ль де Леспинас. Хотя последний из этих пороков менее презирают, его, может быть, следует опасаться больше, чем первого.

Даламбер. Очень хорошо. Итак, все сводится к чувствительности, к памяти, к органическим движениям; я вполне с этим согласен. Но что сказать о воображении, об абстракциях?

Борде. Воображение...

М-ль де Леспинас. Минутку, доктор: повторим вкратце сказанное. Согласно вашим принципам, я, повидимому, сведу первого гения вселенной последовательным рядом чисто механических действий к массе неорганизованного тела; у нее останется лишь способность

воспринимать настоящее; и опять-таки эту бесформенную массу можно из состояния самой глубокой тупости, какую только можно себе представить, возвести к уровню гениального человека. Первое из этих двух явлений заключается в том, чтобы изувечить первоначальный моток, разрушив известное число отростков, а во все остальное внести беспорядок; обратный процесс—восстановление у мотка его отростков, от него отторгнутых, причем все в целом ставится в благоприятные условия развития. Пример: я лишаю Ньютона обоих слуховых отростков, и тогда отпадают все слуховые ощущения; я отнимаю обонятельные отростки, и отпадают все обонятельные ощущения; когда он лишится зрительных отростков, исчезнут зрительные ощущения; когда не будет вкусовых отростков, отпадут вкусовые ощущения; затем я уничтожаю или спутываю все остальные, и Ньютон лишается организованного мозга: памяти, суждения, желаний, отвращения, страсти, воли, самосознания; и перед нами—бесформенная масса, обладающая лишь жизнью и способностью ощущать.

Борде. Два почти тождественных свойства: жизнь присуща любому агрегату, способность ощущать—элементу.

М-ль де Леспинас. Я вновь беру эту массу и восстанавливаю в ней обонятельные отростки,—она начинает чувствовать запах; восстанавливаю слуховые отростки,—и она слышит; зрительные отростки,—и она видит; вкусовые отростки,—и она различает вкус. Я распутываю остальную часть мотка, доставляю возможность другим отросткам развиваться, и вижу, как возрождается память, сравнение, суждение, разум, желания, отвращение, страсти, естественные способности, талант, и вот мой гениальный человек возрождается, и происходит это без посредства какой бы то ни было посторонней и непонятной действующей силы.

Борде. Превосходно. Держитесь только этой точки зрения, остальное—чепуха... Но абстракции? Воображение? Воображение есть воспоминание форм и цветов. Созерцание известного происшествия, известного предмета неизбежно настраивает чувствующий орган на известный лад, а затем он настраивается уже сам по себе или под воздействием инородной причины. Тогда он исполняется звука внутри или резонирует снаружи; он в тиши восстанавливает в своей памяти полученные впечатления или громко проявляет их в соответствующих звуках.

Даламбер. Есть преувеличения в его рассказе: он не учитывает некоторых обстоятельств, прибавляет, извращает действительность или ее прикрашивает; примыкающие ощущающие инструменты воспринимают впечатления, принадлежащие резонирующему инструменту, но не воспроизводят впечатлений исчезнувшей вещи.

Борде. Это так: рассказ может иметь историческое или поэтическое значение.

Даламбер. Но как эта поэзия или ложь вводятся в рассказ?

Борде. С помощью представлений, которые вызывают одно другое; они оживают друг за другом, потому что они постоянно были свя-

заны. Если вы взяли на себя смелость сравнивать животное с фортепиано, вы мне позволите сравнивать рассказ поэта с напевом.

Даламбер. Это правильно.

Борде. В основе каждого напева лежит гамма; у гаммы есть интонации, каждая струна имеет свои гармонические призвуки, а те в свою очередь имеют собственные призвуки. Таким образом, в мелодию вводятся проходящие модуляции, напев обогащается и распространяется; дан известный мотив, а каждый музыкант его чувствует на свой лад.

М-ль де Леспинас. Зачем вы запутываете вопрос образной речью? Я бы сказала, что всякий человек, обладающий зрением, видит по-своему и различно рассказывает. Я бы сказала, что каждое представление вызывает другие представления, и в соответствии со строением своей головы и со своим характером человек или придерживается представлений, точно воспроизводящих факт, или вводит возникающие в нем образы. Между этими образами можно выбирать; я бы сказала... что обсуждение одного этого вопроса с надлежащей обстоятельностью составило бы целую книгу.

Даламбер. Вы правы, но это не мешает мне спросить у доктора, убежден ли он в том, что форма, ни на что не похожая, никогда не задается в воображении и никогда не воспроизведется в рассказе?

Борде. Я думаю. Бредовые состояния, порождаемые этой способностью, сводятся к таланту шарлатанов, составляющих из разорванных на части животных чудовище, которого в природе никто не видел.

Даламбер. А что такое абстракции?

Борде. Их на самом деле не существует; имеются лишь обычные недоговоренности, опущения, благодаря которым известное положение приобретает более общий характер, а речь становится более стремительной и удобной. Это—знаки языка, которые породили абстрактные науки. Общее свойство, присущее многим действиям, вызвало образование слов: *порок* и *добродетель*; общее свойство многих существ вызвало образование слов: *безобразия* и *красота*. Говорилось: один человек, одна лошадь, два животных, затем стали говорить: один, два три; таким образом появилась вся наука чисел. Слово *абстрактный* никак нельзя себе представить; было подмечено, что у всех тел три измерения: длина, ширина, глубина; стали заниматься каждым из этих измерений, отсюда появились математические науки. Всякая абстракция есть лишь знак без представления. Представление оказалось исключенным благодаря тому, что признак отделили от физической вещи, и наука становится истинной наукой лишь в том случае, когда признаки вновь оказываются связанными с физическими вещами. Этим объясняется необходимость, обычно ощущаемая в разговорах и в научных работах, прибегать к примерам. Когда после ряда сочетаний знаков вы просите, чтобы речь была иллюстрирована примером, вы требуете только того, чтобы говорящий придал последовательным звукам своих знаков телесность, форму, реальность, представление, применяя к знакам испытанное ощущение.

Даламбер. Вам это достаточно ясно, мадемуазель?

М-ль де Леспинас. Не вполне, но доктор разъяснит это.

Борде. Вам угодно шутить. Разумеется, кое-что нужно уточнить и многое прибавить к тому, что я сказал, но половина двенадцатого, и мне пора на консультацию на Болоте.

Даламбер. Быстрый и удобный ответ! Разве люди друг друга понимают, доктор? Бывает ли когда-нибудь человек понят?

Борде. Почти все разговоры представляют собою счетные таблицы... Я потерял свою палку... В уме нет ни одной устойчивой мысли... А моя шляпа... По одному тому, что ни один человек не бывает целиком похож на другого, мы в точности никогда друг друга не понимаем, нас никогда в точности не понимают; всегда дается больше или меньше; наш разговор всегда или выходит за пределы или не достигает чувственно данного. Постоянно заметна разница в суждениях. На самом деле этих различий в тысячу раз больше, но мы их не замечаем и, к счастью, не будем замечать... До свиданья, до свиданья!

М-ль де Леспинас. Пожалуйста, еще одно слово.

Борде. Говорите скорее.

М-ль де Леспинас. Помните ли вы о скачках, о которых вы мне говорили?

Борде. Да.

М-ль де Леспинас. Думаете ли вы, что такие скачки свойственны поколениям глупцов и умных людей?

Борде. Почему нет?

М-ль де Леспинас. Тем лучше для нашего позднейшего потомства. Быть может, появится кто-нибудь вроде Генриха IV.

Борде. Быть может, все вернется вновь.

М-ль де Леспинас. Доктор, вам бы следовало притти к нам обедать.

Борде. Я это сделаю, если будет возможность, но я не обещаю. Ведь вы меня примете, если я приду?

М-ль де Леспинас. До двух часов мы вас будем ждать.

Борде. Согласен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

(1769)

СОБЕСЕДНИКИ: МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ЛЕСПИНАС, БОРДЕ.

К двум часам доктор вернулся. Даламбер вышел, чтобы пообедать, и доктор оказался наедине с м-ль де Леспинас. Обед был подан. До третьего блюда они толковали о довольно безразличных вещах; но когда слуги удалились, м-ль де Леспинас сказала доктору:

М-ль де Леспинас. Ну, доктор, выпейте стакан малаги, и после этого вы мне ответите на вопрос, который сотни раз приходил мне в голову и который я решусь предложить лишь вам.

Борде. Малага превосходна... А ваш вопрос?

М-ль де Леспинас. Что вы думаете о смешении видов?

Борде. Честное слово, вопрос тоже хорош. Я полагаю, что люди придали большое значение акту воспроизведения и что они были правы; но я недоволен их законами, как гражданскими, так и духовными.

М-ль де Леспинас. А что вы можете сказать против них?

Борде. В них нет справедливости, они нецелесообразны и совсем не соответствуют природе вещей и общественной пользе.

М-ль де Леспинас. Постарайтесь объясниться.

Борде. Это моя задача... Но подождите... *(смотрит на свои часы)*. У меня для вас в запасе еще час; я не буду задерживаться, для нас будет довольно. Мы одни, вы не жеманница, вы не будете вообразать, будто я с недостаточным уважением - к вам отношусь, и, как бы вы ни отнеслись к моим мыслям, я надеюсь, со своей стороны, что вы не сделаете никаких выводов против чистоты моих нравов.

М-ль де Леспинас. Разумеется, но ваше начало меня беспокоит.

Борде. В таком случае переменим тему.

М-ль де Леспинас. Нет, нет; продолжайте. Один из ваших друзей, подыскивавший нам мужей,—мне и двум моим сестрам, младшей предлагал Сильфа, старшей—великого ангела благовестителя, а мне—ученика Диогена; он нас знал всех трех. Но говорите не слишком откровенно.

Борде. Это само собою разумеется, насколько это позволяют тема и моя профессия.

М-ль де Леспинас. Это вас не стеснит... Но вот ваш кофе... Пейте ваш кофе...

Борде (выпив кофе). Ваш вопрос имеет отношение к физике, к нравственности и к поэзии.

М-ль де Леспинас. К поэзии!

Борде. Несомненно. Искусство создавать людей, которых еще нет, в подражание существующим есть подлинная поэзия. На этот раз вместо Гиппократа позвольте мне процитировать Горация. Этот поэт или сочинитель где-то говорит: *Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci**. Совершенство заключается в примирении этих двух точек. Приятное и полезное действие должно занять первое место в эстетической системе; полезному мы не можем отказать во втором месте, третье место предназначается приятному, на низшее место мы отодвигаем то, что не доставляет ни удовольствия, ни пользы.

М-ль де Леспинас. Со всем, что вы высказали до сих пор, я могу согласиться, не краснея. Куда это нас приведет?

Борде. Вы увидите: сможете ли вы, мадемуазель, сказать мне, какую пользу или удовольствие целомудрие и строгое воздержание принесут лицу, их культивирующему, или обществу?

М-ль де Леспинас. Честное слово, никакой.

Борде. Следовательно, вразрез с великими похвалами, которые им воздает фанатизм, в пику гражданским законам, им покровительствующим, мы их вычеркнем из списка добродетелей, и мы признаем, что нет ничего более детского, более смешного, более абсурдного, более вредного, более позорного, что нет ничего худшего, за исключением положительного зла, как эти два редких качества...

М-ль де Леспинас. С этим можно согласиться.

Борде. Осторожнее, я вас предупреждаю, сейчас вы отступите.

М-ль де Леспинас. Я никогда не отступаю.

Борде. Ну, а то, что совершается втихомолку?

М-ль де Леспинас. Ну, и что же?

Борде. Так вот, это все-таки доставляет удовольствие человеку, и наш принцип ложен или...

М-ль де Леспинас. Ну, что вы, доктор!..

Борде. Да, мадемуазель, это так, ведь к этим проделкам можно отнестись безразлично, и они уже не так бесплодны. Здесь имеется потребность и даже, если это определяется не потребностью, все-таки это приятная вещь. Я хочу, чтобы люди были здоровыми, я хочу этого безусловно, понимаете? Ко всякому излишеству я отношусь отрицательно, но при теперешних социальных условиях любой довод может быть отведен сотней других разумных доводов, я уже не говорю о темпераменте и мрачных последствиях строгого воздер-

* — Высшая заслуга в том, чтобы соединить приятное с полезным.—*Ред.*

жания, в особенности у молодых людей: материальные затруднения, у мужчин боязнь жгучего раскаяния, у женщин боязнь бесчестия закабалют несчастное создание, погибающее от томления и тоски; бедное существо, не знающее, к кому обратиться и не решающееся действовать цинически. Катон говорил молодому человеку в ту минуту, как тот входил к куртизанке: «Смелее, сын мой!..» Сказал ли бы он то же самое и в настоящее время? Если бы он его, наоборот, застал одного на месте преступления, разве он бы не прибавил: это лучше, чем совращать жену ближнего или подвергать свою честь и здорье опасности?.. Мне приходится отказаться от нужных и восхитительных минут потому, что обстоятельства лишают меня величайшего счастья, какое только можно себе представить, счастья слиться в опьянении чувствами и душой с подругой моего сердца и воспроизвести себя в ней и с ней, потому что я не могу освятить своего действия печатью полезности. При полнокровии пускают себе кровь, а какое значение при этом имеет состав лишней жидкости, ее цвет и способ, которым от нее избавляются? Она одинаково излишня как при одном, так и при другом недомогании; если она, исторгнутая из своего вместилища и разлившаяся по всему механизму, выделяется более длинным, более мучительным и опасным путем, разве от этого ее меньше потеряют? Природа не терпит ничего бесполезного. Можно ли считать меня виноватым в том, что я ей помогаю, когда она меня призывает к помощи самыми недвусмысленными симптомами? Никогда не будем ее провоцировать, но при случае будем оказывать ей помощь. В отказе и в бездействии я вижу только глупость и неумение воспользоваться удовольствием. Ведите умеренную жизнь, скажут мне, изнуряйте себя до изнеможения. Я вас понимаю, я должен лишиться себя одного удовольствия, и затем я должен напрячь свои силы для того, чтобы отказаться от другого. Ловко придумано!

М-ль де Леспинас. Вот учение, которое было бы нехорошо проповедывать детям.

Борде. Ни другим людям. Между тем, не позволите ли вы мне сделать одно предположение? Положим, у вас благоразумная, покорная дочь, слишком благоразумная, невинная, слишком невинная; она уже в возрасте, когда начинает созревать ее темперамент. Мысли ее запутались, природа ей не оказывает содействия: вы зовете меня. Я вдруг убеждаюсь, что все пугающие вас симптомы объясняются избытком и задержкой семенной жидкости, я вас предупреждаю, что ей угрожает безумие, которое легко можно предупредить, но которое иногда невозможно вылечить; я вам указываю на средство. Что вы предпримете?

М-ль де Леспинас. По правде сказать, я думаю... Но таких случаев не бывает...

Борде. Разубедитесь. Такие случаи не редки, они были бы чаще, если бы их не предупреждала вольность наших нравов... Как бы то ни было, но разглашать эти принципы значило бы попирать вся-

кое приличие, вызывать к себе самые одиозные подозрения и учинять оскорбление обществу. Вы задумались?

М-ль де Леспинас. Да, я не решилась спросить вас, приходилось ли вам говорить так откровенно с матерями?

Борде. Разумеется.

М-ль де Леспинас. К чему же склонялись матери?

Борде. Все без исключения склонялись к лучшему, осмысленному решению... На улице я бы не поздоровался с человеком, если бы заподозрил, что он проводит на практике мою доктрину; мне достаточным основанием для этого будет, если его назовут бесчестным. Но мы беседуем здесь без свидетелей и не выводим никаких правил; и о свесей философии я скажу то же, что сказал совершенно голый Дюген молодому и стыдливому афишянину, сопротивление которого он хстел побороть: «Не бойся ничего, мой сын, я не такой злой, как этот».

М-ль де Леспинас. Доктор, я вижу, что вы договорились, и я держу пари...

Борде. Я не держу пари, вы выиграете. Да, мадемуазель, таково мое мнение.

М-ль де Леспинас. Как? Все равно оставаться ли в кругу своей породы или выходить за ее пределы?

Борде. Верно.

М-ль де Леспинас. Вы чудовище.

Борде. Не я, а природа или общество. Послушайте, мадемуазель, я не подчиняюсь власти слов, и я тем свободнее изъясняюсь, что я чист и что чистота моих нравов остается неуязвимой. И вот я вас спрошу: если есть два действия, одинаково сводящиеся к одному наслаждению, доставляющие только удовольствие без пользы, причем одно доставляет удовольствие только действующему лицу, а при другом—удовольствием делятся с другим подобным существом—самцом или самкой, поскольку здесь ни пол, ни даже использование пола не имеет никакого значения, то за которое из этих двух действий выскажется здравый смысл?

М-ль де Леспинас. Эти вопросы для меня слишком тонки.

Борде. Вот как! Вы побыли человеком в продолжение четырех минут, и вы опять беретесь за ваш капор и за ваши юбки и вновь становитесь женщиной. В добрый час, что же! С вами нужно и обращаться, как с женщиной... Пусть будет так. Большие ни слова о мадам Дюбарри... Вы видите, все оказывается в порядке. Думали, что при дворе пойдет все вверх дном. Хозяин поступил, как благо-разумный человек. *Omne tulit punctum*; он оставил при себе женщину, доставляющую ему удовольствие, и министра, для него полезного... Но вы меня не слушаете... Куда вы унеслись с вашими мыслями?

М-ль де Леспинас. Я думаю обо всех этих комбинациях, которые мне все кажутся противоестественными.

Борде. Все сущее не может быть ни против природы, ни вне ее; из этого я не исключая даже целомудрия и добровольного воз-

держания, которые были бы главными преступлениями против природы, если бы можно было грешить против природы, и главным нарушением социальных законов той страны, где действия взвешивались бы на других весах, а не на весах фанатизма и предрассудков.

М-ль де Леспинас. Я возвращаюсь к вашим проклятым силлогизмам и не нахожу здесь середины: необходимо или все отрицать, или все принять... Но вот что, доктор. Честнее и проще всего перепрыгнуть через эту трясику и вернуться к первоначальному вопросу о том, что вы думаете о смешении видов?

Борде. Для этого нечего прыгать. Мы уже это обсуждали. Ваш вопрос касается физической или моральной стороны?

М-ль де Леспинас. Физической, физической.

Борде. Тем лучше. Моральный вопрос стоял на первом месте, и вы его решили. Итак...

М-ль де Леспинас. Согласна. Разумеется, это предварительное решение, но я хотела бы..., чтобы вы отделили причину от действия; обойдем скверную причину.

Борде. Это равносильно требованию начать с конца; но раз вы хотите, я вам скажу, что из-за нашего малодушия, из-за отвращения, из-за наших законов и наших предрассудков произведено очень мало опытов; нам неизвестно, какие совокупления совершенно бесплодны; мы не знаем случаев, когда полезное сочетается с приятным; какие виды можно было бы обещать в результате многообразных и последовательных попыток; представляют ли собою фавны нечто реальное или фантастическое; не размножились ли бы сотнями разных пород мулы, и действительно ли бесплодны те породы, которые мы знаем? Но вот удивительный факт, засвидетельствованный многими образованными людьми как истинный, но на самом деле ложный: будто они на птичьем дворе эрцгерцога видели одного бесстыжего кролика, который служил петухом десяткам бесстыжих кур, к нему приспособившихся; они еще прибавляли, что им показали цыплят, покрытых шерстью и пронсшедших от этого животного. Поверьте, что над ними издевались.

М-ль де Леспинас. Но что вы подразумеваете под последовательными попытками?

Борде. Я полагаю, что смена существ идет постепенно и что можно подготовить ассимиляцию существ, а чтобы достигнуть успеха в такого рода опытах, следовало бы взяться издалека и поработать сначала над сближением животных, поставив их в одинаковые условия существования.

М-ль де Леспинас. С трудом можно заставить человека начать щипать траву.

Борде. Но нетрудно заставлять его часто пить козье молоко, а козу легко заставить питаться хлебом. Я выбрал козу по особым соображениям.

М-ль де Леспинас. А каковы эти соображения?

Борде. Вы очень спешите. Дело в том... Мы могли бы из коз

получить очень сильную, умную, неутомимую и подвижную породу, из которой мы могли бы сделать себе прекрасных слуг.

М-ль де Леспинас. Прекрасно, доктор. Мне кажется, что я на запятках экипажа ваших герцогинь вижу пять-шесть огромных, наглых козлоногих, и это меня забавляет.

Борде. При таком обороте дела мы не унижали бы наших братьев, поручая им функции, не достойные их и нас.

М-ль де Леспинас. Еще лучше.

Борде. Тогда бы мы не превращали в наших колониях человека в вьючный скот.

М-ль де Леспинас. Скорее, скорее, доктор, принимайтесь за работу и создавайте нам козлоногих.

Борде. И вы это разрешаете без зазрения совести?

М-ль де Леспинас. Но постойте... Одно возражение мне приходит в голову: ваши козлоногие были бы безудержно развратными.

Борде. Я не гарантирую, что они будут очень нравственными.

М-ль де Леспинас. Тогда положение честных женщин не будет безопасным; те все время будут размножаться, и в конце концов их придется уничтожить или покоряться им. Я этого не хочу, я этого не хочу! Нечего вам беспокоиться.

Борде (уходя). А как решить вопрос об их крещении?

М-ль де Леспинас. Получится хорошенький скандал в Сорбонне.

Борде. Не видели ли вы в королевском саду в стеклянной клетке орангутанга, похожего на св. Иоанна, когда он проповедывал в пустыне?

М-ль де Леспинас. Да, я его видела.

Борде. Однажды кардинал Полиньяк сказал ему: «Заговори, и я тебя крещу».

М-ль де Леспинас. Итак, доктор, до свиданья. Не покидайте нас навеки, как вы это делаете, и вспоминайте иногда, что я вас безумно люблю. О, если бы узнали, какие ужасы вы мне рассказали!

Борде. Я совершенно уверен, что вы будете молчать.

М-ль де Леспинас. Не ручайтесь; я слушаю только для того, чтобы иметь удовольствие в свою очередь рассказать. Но еще одно слово, и я в жизнь не вернусь к этому вопросу.

Борде. В чем дело?

М-ль де Леспинас. Откуда берутся эти ужасные привычки?

Борде. Они повсюду объясняются слабостью организации молодых людей и извращенным образом мыслей стариков; привлекательностью у афинян, недостатком женщин в Риме, страхом перед сифилисом в Париже. Прощайте, прощайте.

РЕЧЬ ФИЛОСОФА,
ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЮ

*

РЕЧЬ ФИЛОСОФА, ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЮ

(1773—1774)

Государь, если вы желаете иметь священников, то вы не можете желать иметь философов, а если вы желаете иметь философов, то вы не можете желать иметь священников. Ведь философы по самой профессии своей—друзья разума и науки, а священники—враги разума и покровители невежества, и если первые делают добро, то вторые делают зло, вы же не можете одновременно хотеть добра и зла. Вы имеете, по вашим словам, философов и священников: философов—бедных и не опасных; священников—очень богатых и очень опасных. Вы не слишком озабочены тем, чтобы сделать своих философов богатыми,—ведь богатство вредит философии,—но вы все-таки хотите их сохранить около себя; и вы сильно хотели бы сделать бедными своих священников и избавиться от них. Вы, разумеется, избавились бы от них, а вместе с ними от всей той лжи, которою они заразили ваш народ, если бы вам удалось сделать их бедными. В самом деле, ставши бедными, они впадут в унижение, а кто захочет избрать профессию, где нельзя будет ни составить себе состояние, ни добиться почета? Но как же сделать их бедными? Я расскажу вам это. Берегитесь трогать их привилегии и не старайтесь сразу же уравнивать их со всеми прочими гражданами. Это было бы неправильным и неловким шагом. Это было бы неправильно, потому что их привилегии принадлежат им так, как ваша корона принадлежит вам; потому что они владеют ими, и если вы затронете титулы их владения, то начнут затрагивать титулы вашего владения; потому что самое лучшее для вас—это чтить закон давности, выгодный для вас, по меньшей мере, так же, как и для них; потому что эти привилегии—дары ваших предков и предков ваших подданных, а нет более чистой вещи, чем дар; потому что вы взошли на трон лишь под условием оставить за каждым сословием его преимущества; потому что, если вы нарушите свою клятву по отношению к одной из корпораций своего королевства, почему бы вам не стать клятвopеступником по отношению к другим корпорациям? потому что вы вызовете тревогу у всех

сословий; потому что около вас не будет тогда ничего твердого; потому что вы потрясете основы собственности, без которой нет ни короля, ни подданных, а есть только тираны и рабы; и это показывает не только несправедливость, но и неловкость такой политики. Как же поступить вам? Вы оставите вещи в том положении, в котором они находятся. Ваше надменное духовенство предпочитает давать вам добровольные дары, чем платить налоги. Потребуйте у него добровольных даров. Так как ваше духовенство безбрачно и поэтому очень мало думает о своих преемниках, то оно не захочет платить из своего кармана, а предпочтет сделать заем у ваших подданных. Тем лучше. Не мешайте ему в этом, помогите ему сделать огромный заем у остальной части народа, а тогда поступите по справедливости и заставьте духовенство заплатить свой долг. Оно сможет уплатить его, только отчуждая часть своего имущества. Какой бы священный характер ни носило это имущество, будьте уверены, что ваши подданные не постесняются взять его, если перед ними встанет неизбежный выбор: или принять его в уплату, или разориться, потеряв свой кредит. Поступая таким образом, переходя от одного добровольного дара к другому, вы заставите их войти в долги во второй раз, третий раз, четвертый раз; вынужденные расплатиться с этими долгами, они впадут в нужду и станут столь же жалкими, насколько они бесполезны. От вас и от ваших преемников будет зависеть, чтобы в один прекрасный день народ увидел их оборванными, предлагающими со скидкой под портиками пышных храмов свои молитвы и свои жертвоприношения. Но, скажете вы мне, у меня не будет больше религии! Вы ошибаетесь, государь: у вас всегда будет религия, ведь религия—это очень живучее, ползучее, никогда не гибнущее растение. Она только меняет свою форму. Религия, которая получится в результате обнищания и унижения духовенства, будет наименее неудобной, наименее печальной, самой спокойной и самой невинной. Поступите с господствующим теперь суеверием так, как Константин поступил с язычеством. Он разорил языческих жрецов, и вскоре в глубине великолепных храмов можно было видеть только какую-нибудь старуху с вещим гусем, гадающую для черни, а у ворот храмов—каких-то несчастных, предающихся порокам и занимающихся любовными интригами; дело дошло тогда до того, что отец умер бы от стыда, если бы его сын стал жрецом. Если вы удостоите выслушать меня, то я окажусь из всех философов самым опасным для священников, так как самый опасный философ—тот, который показывает монарху, каких колоссальных сумм стоят его государству эти надменные и бесполезные бездельники; который говорит ему,—как это делаю я,—что у вас сто пятьдесят тысяч человек, получающих от вас и ваших подданных ежедневно почти сто пятьдесят тысяч экю за то, чтобы бормотать чепуху в известных зданиях и оглушать нас своими колоколами; который говорит ему, что эти люди сто раз в году в определенный час обращаются с проповедью к восемнадцати миллионам ваших подданных,

готовым верить и делать все то, что приказывают им священники во имя божие; который говорит ему, что король—ничто, полное ничто—там, где люди могут распоряжаться в его государстве во имя какого-то существа, признаваемого господином короля; который говорит ему, что эти сочинители празднеств закрывают лавки его народа во все те дни, когда они открывают свою лавочку, т. е. в течение трети года; который говорит ему, что духовенство—это обоюдоострый нож, оказывающийся, в зависимости от интересов церкви, или в руках короля, чтобы резать народ, или в руках народа, чтобы резать короля; который говорит ему, что, если бы король сумел взяться за это, то ему легче было бы дискредитировать все свое духовенство, чем опорочить какую-нибудь суконную фабрику, потому что сукно—полезная вещь и гораздо легче обойтись без обедни и проповеди, чем без башмаков; который лишает этих святых особ их мнимой святости,—как это делаю я в данный момент,—и который советует вам пожрать их без зазрения совести, когда вас будет мучить голод; который советует вам в ожидании решительных мероприятий приняться за эти бесчисленные богатые бенефиции, по мере того, как они будут делаться вакантными, и назначать туда лишь тех лиц, которые согласятся принять их за треть дохода, оставив для вас и для нужд вашего государства две другие трети на пять лет, на десять лет, навсегда, как это у нас в обычае; который убеждает вас, что, если вы могли добиться без всяких неприятных последствий сменяемости судей, то гораздо легче сделать сменяемыми священников; что, пока вы будете считать их необходимыми, вы должны держать их на жаловании, ведь получающий жалование священник—это малодушное существо, боящееся, что его прогонят и погубят таким образом; который показывает вам, что человек, получающий средства к существованию от вас, теряет мужество и не идет ни на какие грандиозные дела и авантюры: свидетелем этого—те лица, которые заполняют ваши академии и на которых страх потерять свое место и свою пенсию действует так сильно, что без произведений, прославивших их раньше, об их существовании не знали бы ровню ничего. Обладая секретом заставить молчать философов, почему вы не воспользуетесь им, чтобы заставить молчать священников? Последнее гораздо важнее, чем первое.

ПЛЕМЯННИК РАМО

*

ПЛЕМЯННИК РАМО

(1762)

Какая бы погода ни стояла—хорошая или плохая, обыкновенно в пять часов вечера я гуляю в Пале-Рояле. Меня можно видеть всегда в одиночестве, мечтающим на скамейке Аржансон. Я беседую с самим собой на политические, любовные, художественные или философские темы; я предоставляю своему уму полную свободу; я даю ему погнаться за первой подвернувшейся умной или безрассудной мыслью, подобно тому как в аллее де Фуа наши молодые ловеласы преследуют куртизанку с ее задорным видом, смеющимся лицом, живыми глазами и вздернутым носиком; они бросают ее для другой и преследуют всех, ни с кем не связываясь. Мои мысли—это мои проституточки.

Если погода слишком холодна или дождлива, я укрываюсь в кафе де ла Режанс. Там я развлекаюсь, наблюдая за шахматной игрой. Нигде в мире не играют в эту игру так хорошо, как в Париже, а если взять Париж, то лучше всего играют в шахматы в кафе де ла Режанс. Здесь у Рея подвизается глубокомысленный Легаль, хитроумный Филидор, положительный Майо; здесь можно увидеть самые поразительные ходы и услышать самые пошлые разговоры. Ведь если можно быть умным человеком и крупным шахматистом, подобно Легалю, то можно быть также крупным шахматистом и дураком, подобно Фуберу и Майо.

Я там был однажды после обеда, я много наблюдал, мало говорил и меньше всего слушал, и вдруг ко мне подошел удивительнейший человек—такими людьми бог не обидел эту страну. Это смесь высокомерия и низости, здравого смысла и безрассудства; повидимому, понятия чести и бесчестия своеобразно перепутались в его голове, так как он без чванства обнаруживает те хорошие качества, которыми наделила его природа, и без стыда то плохое, что он от нее получил. Впрочем, он наделен крепким телосложением, особой живостью воображения и необычайной силой легких. Если вы когда-нибудь с ним встретитесь и его оригинальность вас не остановит, то вы или заткнете пальцами уши или вы убежите от

него. Боги, какие ужасные легкие! Меньше всего он похож на самого себя. Иногда он худ и бледен, как больной в последнем градусе чахотки; сквозь его щеки можно было бы сосчитать его зубы; кажется, что он голодал несколько дней подряд или только что вышел из монастыря Ла-Трапп. На следующий месяц он жирен и толст, словно он все время проводил за столом у богатея или был заключен в Бернардинском монастыре. Сегодня он в грязном белье, в разорванных панталонах, покрыт лохмотьями, почти без сапог, ходит с поникшей головой, избегает встречных; хочется его пододзвать и подать милостыню. Завтра он напудрен, обут, выбрит, хорошо одет, расхаживает, высоко подняв голову, хочет обратить на себя внимание, и вы могли бы принять его почти за приличного человека. Он живет со дня на день; он то грустен, то весел, смотря по обстоятельствам. Утром, когда он встал, он прежде всего озабочен, где бы ему пообедать; после обеда он думает о том, где бы ему поужинать. Ночь приносит ему свои заботы: он либо пешком возвращается в свою маленькую мансарду, лишь бы хозяйка не отобрала у него ключ, рассердившись за неуплату денег, или он сворачивает в пригородный трактир, где ожидает дня за куском хлеба и кружкой пива. Если в его кармане нет шести су,—а это порою бывает,—он находит приют или у извозчика своих друзей или у кучера важного господина, который дает ему переночевать на соломе рядом со своими лошадьми. По утрам в его волосах еще остается часть его матраца. Если время года благоприятно, он всю ночь блуждает на берегу Сены, по аллее или в Елисейских полях. С наступлением дня он уже в городе, одетый еще накануне для завтрашнего дня и порой не раздеваясь целую неделю. Я не уважаю подобных оригиналов, другие с ними сблизжаются, даже дружат. Раз в год встречаясь с ними, я задерживаюсь, потому что их характер выделяется среди других, и они нарушают то скучное однообразие, которое царит у нас благодаря нашему воспитанию, общественным условностям и установившимся приличиям. Когда такой человек появляется в нашем обществе, то он подобен дрожжам в состоянии брожения, возвращая каждому известную долю его естественной индивидуальности. Он производит встряску, он возбуждает, он вызывает одобрение или порицание, он заставляет истину высказаться, он позволяет разуть хороших людей, он изобличает плутов,—тогда-то здравомыслящий человек вслушивается и распознает окружающее.

Этого человека я знал давно. Он часто бывал в одном доме, двери которого перед ним открылись благодаря его таланту. Там была единственная дочь; он поклялся отцу и матери, что он женится на их дочке. Те пожимали плечами, смеялись ему в лицо, называли его сумасшедшим, но я подметил тот момент, когда дело было слажено. Он понемногу брал у меня взаймы, и я давал ему. Не знаю как, но он был принят в нескольких хороших домах, где он мог пообедать, но с условием, что он не будет вступать в разговоры без

разрешения. Он молчал и с остервенением ел, его вид был великолепен в этом затруднительном положении. Когда он намеревался нарушить условия договора и открывал рот, то с первого слова все гости вскрикивали: *Рамо!* Тогда из его глаз начинали сыпаться злые искры, и он продолжал есть с еще большим остервенением. Вам любопытно было узнать имя этого человека, и вы его узнали. Это племянник знаменитого музыканта, который нас избавил от церковного пения Люлли, этого нашего псалмопевца, распеваемого нами более столетия; музыканта, написавшего по теории музыки замумный бред и апокалиптические истины,—ни он и никто другой не могли в этом ничего понять; мы от него имеем несколько опер, преисполненных гармонии, обрывков мелодий, бессвязных мыслей, трескотни, полетов, славословий, шума копий, восхвалений, ропота, сногшибательных побед, вечных танцевальных напевов; после того как он угробил *флорентинца*, он сам будет побит итальянскими виртуозами; он это предчувствовал, и это делало его сумрачным, печальным, сварливым; ведь никто, даже красавица, проснувшаяся с прыщиком на носу, не бывает так раздражительна, как автор, принужденный пережить свою славу, подобно Мариво и Кребийону-сыну.

Он подходит ко мне: «Ага! вот и вы, господин философ, а что вы здесь делаете в обществе этих бездельников? И вы теряете время в передвигании деревяшек?» (Таково презрительное название игры в шахматы или в шашки.)

Я. Нет, но когда я не занят более приятным делом, я с удовольствием слежу за теми, кто хорошо играет.

Он. В таком случае вы редко можете себе доставить это удовольствие; за исключением Легалья и Филидора, остальные ничего не понимают в игре.

Я. Значит, в том числе и господин де Бисси?

Он. Он такой же шахматный игрок, как мадемуазель Клейрон—актриса: оба знают в своей игре все, чему можно научиться.

Я. Вас трудно удовлетворить, и я вижу, что вы щадите только совершенных людей.

Он. Да, в шахматах, шашках, в поэзии, в красноречии, в музыке и в других подобных пустяках; здесь нет места посредственностям.

Я. Я согласен, что посредственность здесь мало чего стоит. Но нужно привлечь большое количество людей, чтобы создать гения. Он один среди многих. Но оставим это. Я не видел вас целую вечность. Когда я вас не вижу, я о вас не думаю, но встреча с вами мне всегда приятна. Что вы подделывали?

Он. То самое, что делаете вы, я и все другие: то хорошее, то дурное, а то и вовсе ничего. Затем мне хотелось есть, и я ел, когда представлялся случай; после еды мне хотелось пить, и я иногда пил. Между тем вырастала борода, и, когда она вырастала, я ее брил.

Я. Напрасно вы это делали,—это единственное, чего вам недостает, чтобы быть мудрецом.

Он. Разумеется. У меня высокий и морщинистый лоб, жгучий взгляд, выдающийся нос, широкие щеки, черные и густые брови, выразительные губы и квадратное лицо. Если бы мой большой подбородок был покрыт длинной бородой, то знаете ли вы, что это очень подходило бы для бронзы или мрамора?

Я. Рядом с Цезарем, Марком Аврелием и Сократом?

Он. Нет. Я был бы уместнее между Диогеном и Фриной. Я бесстыден, как первый, а вторую я охотно посещаю.

Я. Вы всегда хорошо себя чувствуете?

Он. Обыкновенно да, но сегодня не особенно.

Я. Как! У вас живёт, как у Силена, а лицо...

Он. А лицо, которое можно принять за заднюю часть тела. Повидимому, раздражительность, от которой сохнет мой дядя, заставляет жиреть его дорогого племянника.

Я. Кстати о дяде, вы иногда видите его?

Он. Да, когда он идет по улице.

Я. Разве он вам не помогает?

Он. Если он это и делает, то бессознательно. Это в своем роде философ; он думает только о себе, все остальное в мире для него—чепуха. Его дочь и жена могут умереть, лишь бы приходские колокола, которые будут звонить к их отпеванию, звучали дуодецимой и септдецимой, тогда все будет в порядке. Счастливый человек; это я в особенности ценю у гениальных людей. Они хороши лишь в одном деле, не будет этого дела, и они—ничто; они не понимают, что значит быть гражданами, отцами, матерями, родными, друзьями. Между нами, следует во всем походить на них, но не стремиться, чтобы эта порода была общераспространенной. Пусть будут люди, гениальных же людей не нужно; честное слово, не нужно. Они изменяют лицо земли, а глупость в самых ничтожных вещах так распространена и так сильна, что без кутерьмы ее не переделать. Часть того, что они придумали, водворятся на этом свете, часть остается в прежнем виде; отсюда—два евангелия, отсюда—одежда арлекина. Мудрость монаха у Рабле—подлинная мудрость, необходимая для его спокойствия и для спокойствия других. Свои обязанности нужно исполнять постольку-поскольку, о настоятеле неизменно говорить хорошее, мир же предоставить его течению. Повидимому, с миром все обстоит благополучно, раз толпа им довольна. Если бы я был осведомлен в истории, я бы вам показал, что зло здесь, на земле, неизменно исходило от гениальных людей; но я не знаю истории, так как я ничего не знаю. Чорт меня побери, если я когда-нибудь чему-нибудь учился и если я оказываюсь в худшем положении оттого, что я ничему не учился. Раз я был за столом министра одного французского короля, необычайно одаренного человека; он мне доказал, как дважды два четыре, что ничто так не полезно народам, как ложь, и что нет ничего вреднее правды. Я не

помню его доказательств, но из них ясно следовало, что гениальные люди отвратительны и что если бы на лбу новорожденного было написано, что он наделен этим опасным подарком природы, то его следовало бы задушить или выбросить собакам.

Я. Однако все эти господа, являющиеся врагами гения, сами претендуют на гениальность.

Он. Я готов допустить, что про себя они это думают, но вряд ли они решились бы это признать.

Я. Это из скромности. Итак, вы объяты страстной ненавистью к гению?

Он. Неотвратимой.

Я. Но было время, когда вы приходили в отчаяние оттого, что вы обыкновенный человек. Вы никогда не станете счастливым человеком, если вас одинаково будет огорчать и то и другое. Следовало бы выбрать что-нибудь одно и держаться этого. Соглашаясь с вами, что все гениальные люди отличаются обыкновенно какими-нибудь странностями или, как говорит пословица,—*на всякого мудреца довольно простоты*,—нельзя, однако, присоединиться к вашему отзыву; мы с презрением относимся к тем векам, в которые не появлялось ни одного гения. Гении составляют честь народов, среди которых они жили; рано или поздно им воздвигнут памятники и будут рассматривать их, как благодетелей рода человеческого. Пусть это будет наперекор тому замечательному министру, слова которого вы мне привели, но, я думаю, что если иногда ложь и может быть во спасение, то в конце концов она неизбежно вредна и что, наоборот, истина с течением времени неизбежно оказывается полезной, хотя может случиться, что она приносит мимолетный вред. Отсюда я готов заключить, что гениальный человек, обличающий всеобщую ложь или выдвигающий великую истину, неизменно достоин нашего почитания. Случается, что такое существо оказывается жертвой пред-рассудков и законов, но законы бывают двух родов: одни безусловно справедливы и всеобщы, другие—несуразны, законная сила им присваивается благодаря ослеплению или неизбежному стечению обстоятельств. Эти последние законы покрывают людей, их нарушающих, лишь временным бесчестием; впоследствии это бесчестие опрокидывается на судей и на народы и закрепляется за ними навеки. В наших глазах кто обесчещен: Сократ или суд, заставивший его выпить цикуту?

Он. Какой для него в этом толк! Ведь он все же был осужден? Ведь лишили же его жизни? И разве он не был беспокойным гражданином? Презирая дурной закон, не подстрекал ли он безумцев презирать хорошие законы? Разве он не был дерзким оригиналом и чудачком? Вы сами только что были недалеки от признания, мало приятного для гениальных людей.

Я. Послушайте, дорогой, законы общества не должны быть дурными, и, если бы у общества были только хорошие законы, ему никогда бы не пришлось преследовать гениального человека. Я не

говорил вам, будто гениальность неразрывно связана со злобой, ни что злоба связана с гениальностью. Чаще зол дурак, а не умный человек. Если бы гениальный человек был всегда тяжел в общении, неуживчив, сварлив, невыносим, если бы даже он был злым человеком, к какому выводу вы могли бы прийти?

Он. Что его следует утопить.

Я. Потише, дорогой. Скажите, пожалуйста! Я не буду ссылаться на вашего дядю. Это тяжелый, жестокий человек; в нем нет человеколюбия, он скуп, он плохой отец, плохой супруг, плохой дядя, но не установлено, что он гениальный человек, что он далеко вперед продвинул свое искусство, что, когда пройдет десять лет, будут продолжать интересоваться его произведениями. Но Расин? Он безусловно обладал гениальностью и не считался очень добрым человеком. А Вальтер!..

Он. Не напирайте так на меня, я рассуждаю последовательно.

Я. Кого из двух вы предпочитаете? Расина ли в виде хорошего человека, прикованного к своему прилавку, подобно Бриассону, или к своему аршину, подобно Барбье, ежегодно доставляющему своей жене возможность родить законного ребенка, хорошему мужу, хорошему отцу, хорошему дяде, хорошему соседу, честному коммерсанту, но и только; или Расина—плута, предателя, честолюбца, завистника, злого, но автора «Андромахи», «Британика», «Ифигении», «Федры», «Аталии?»

Он. По-моему, для него самого было бы лучше из этих двух людей быть первым.

Я. Это несравненно ближе к истине, чем вы сами думаете.

Он. Вы всегда таковы! Если мы когда-нибудь говорим правду, то это случайно, словно мы сумасшедшие или мечтатели. Как будто только вы можете говорить вразумительно; да, господин философ, я говорю вполне сознательно, так же сознательно, как и вы.

Я. Ладно; ну, так почему же для него самого это было бы лучше?

Он. Потому что все эти замечательные произведения, им сочиненные, не принесли ему и двадцати тысяч франков, а если бы он был хорошим торговцем шелка на улице Сен-Дени или Сент-Онжорэ, если бы он был оптовым торговцем колониальных товаров или популярным аптекарем, он скопил бы громадное состояние, а наживая его, он мог бы отдаваться всевозможным развлечениям; от времени до времени он давал бы по пистолу такому жалкому шуту, как я, а я увеселял бы его и при случае доставлял бы ему молодых девиц, которые избавляли бы его от скуки вечного сожителства с женой; мы прекрасно пиروвали бы у него, вели бы крупную игру, пили бы превосходное вино, великолепные ликеры, чудный кофе, устраивали бы загородные поездки; вы видите, что и я кое-что смыслю. Вы смеетесь?.. Но позвольте мне сказать: он был бы приятнее для окружающих.

Я. Не буду спорить. Лишь бы он не злоупотреблял богатством, нажитым законной торговлей; лишь бы он выгнал из своего дома

всех этих игроков, всех этих паразитов, всех этих пошлых угодников, всех этих бездельников и ненужных развратников, заставив своих приказчиков отколотить палками того услужливого человека, который разнообразит монотонность повседневного сожительства мужей с их женами.

Он. Отколотить? Отколотить палками, милостивый государь?! В городе с хорошей администрацией никого не колотят. Это—честное занятие: даже титулованные люди занимаются сводничеством. А на кой черт нужны эти деньги, если не иметь хорошего стола, приятной компании, славного вина, красивых женщин, удовольствий всех мастей и разнообразных увеселений? Я бы предпочел быть нищим, чем обладать большим состоянием без всех перечисленных удовольствий. Но вернемся к Расину. Этот человек оказался хорош только для тех людей, которые его не знали, и для тех времен, когда его уже не стало.

Я. Согласен. Но взвесьте добро и зло. Пройдет тысяча лет, и он будет вызывать слезы, им будут восхищаться люди всех стран света, он будет внушать гуманные чувства, сострадание, нежность; будут спрашивать, кто он такой, из какой он страны; благодаря ему будут завидовать Франции. Он заставил страдать некоторых людей,—их уже нет; и они нас почти не интересуют, нам нечего бояться его пороков и его недостатков. Конечно, было бы лучше, если бы он от природы обладал добродетелью хорошего человека вместе с талантами великого человека. Это дерево, в соседстве с которым сохнут другие деревья; оно заглушает растения, которые растут у его подножья; но оно вознесло свою вершину до небес, его ветви широко раскинулись, оно доставляло тень всем, кто к нему приходил, приходит и будет приходить, чтобы отдохнуть у его величественного ствола; оно породило исключительно вкусные плоды, и плоды эти непрерывно возобновляются. Разумеется, было бы желательно, чтобы Вольтер обладал еще нежностью Дюкло, простодушием аббата Трюбле и прямою аббата д'Оливе. Но раз это невозможно, взглянем на вещи с действительно интересной стороны; забудем на минутку место, занимаемое нами в пространстве и во времени, и распространим наш взгляд на будущие века, на самые отдаленные страны и еще не родившиеся народы. Подумаем о благе нашего рода; если мы недостаточно великодушны, простим по крайней мере природе, что она была мудрее нас. Если вы будете лить холодную воду на голову Греза, вы, может быть, вместе с его тщеславием погасите его талант. Если вы сделаете Вольтера менее обидчивым на критику, он не сможет проникаться больше настроением Меропы* и не будет вас трогать.

Он. Но если бы природа была столь же могущественна, сколь и мудра, почему бы ей не сделать этих великих людей такими же добрыми?

* Геронья одноименной трагедии Вольтера.—*Ред.*

Я. Но разве вы не замечаете, что подобным рассуждением вы опровергаете общий порядок? Если бы здесь, на земле, все было превосходно, то не было бы ничего превосходного.

Он. Вы правы; самое главное, чтобы вы и я существовали и чтобы мы были—вы и я; а остальное—будь, что будет. На мой взгляд, лучший порядок вещей тот, когда я существую, и пусть сгинет самый совершенный мир, если в нем нет меня. Я больше всего хочу быть, чем не быть, пусть я даже буду самым наглым болтуном.

Я. Все думают, как вы, и все же каждый хочет предъявить какое-нибудь требование к существующему порядку вещей, не замечая, что он отказывается от собственного существования.

Он. Это верно.

Я. Итак, примем вещи в таком виде, в каком они существуют. Посмотрим, чего это стоит и что это нам дает, и оставим в покое целое, которое мы недостаточно знаем, чтобы хвалить или бранить его, и которое может быть ни хорошо, ни плохо, раз оно необходимо, как это предполагают многие честные люди.

Он. Я не очень понимаю всего, что вы мне тут расписываете. Повидимому, это философия; предупреждаю вас, что в философию я не вмешиваюсь. Я знаю только, что мне хотелось бы быть другим, при случае—гениальным, великим человеком. Да. Нужно признаться, здесь есть что-то, что мне нашептывает подобные мысли. Я никогда не слушал ни одной похвалы великому человеку без того, чтобы она втайне не вызывала во мне злобы. Я завистлив. Если я подмечаю в их частной жизни какую-нибудь черту, их снижающую, я с удовольствием к этому прислушиваюсь; это нас приближает; я легче переношу тогда собственную посредственность. Я говорю себе: конечно, ты никогда не сочинил бы «Магомета»*, но ты никогда бы не написал и похвального слова Моупу. Итак, я сердился и сержусь на то, что я посредственен. Да, да, я—посредственность, и злюсь. Всякий раз, когда я слышу увертюру из «Индийской любви»**, всякий раз, когда я слушал «О, страшные бездны Тенара; ночь, вечная ночь!», я с горечью говорил себе: вот чего ты никогда не сочинишь. Итак, я завидовал своему дяде, и, если бы после его смерти в его портфеле оказалось несколько хороших фортепианных пьес, я не поколебался бы стать им, оставаясь самим собой.

Я. Если вас огорчает только это, то не стоит на это обращать внимания.

Он. Это пустяки, такие минуты скоро проходят.

(После этого он начал распевать увертюру к «Индийской любви» и арию «Страшные бездны» и продолжал.)

Что-то во мне находящееся и со мной беседующее говорит мне: Рамо, тебе очень бы хотелось быть автором этих двух пьес; если бы ты сочинил эти две пьесы, ты написал бы и две новых; и если бы

* Трагедия Вольтера.—*Ред.*

** Опера-балет Рамо.—*Ред.*

ты сочинил известное количество пьес, то тебя исполняли бы, пели бы повсюду твои вещи. Идя, ты высоко держал бы свою голову, твое сознание свидетельствовало бы тебе о собственных заслугах, другие показывали бы на тебя пальцами и говорили бы: вот автор чудных гавотов (*и он стал напевать гавоты. Затем с видом растроганного человека, упоенного радостью, с влажными глазами, он добавил, потирая руки:*) ты обладал бы прекрасным домом (*и он руками показал его размер*), чудной постелью (*и он небрежно развалился*), превосходным вином (*он его попробовал, щелкнув языком*), прекрасным экипажем (*и он поднял ногу, чтобы войти в него*), красивыми женщинами (*он обнял их за шею и с вожделением смотрел на них*); сотня бездельников подобострастно приходила бы к тебе ежедневно (*и казалось, что он видел вокруг себя Палиссо, Пуансине, Фрерона-отца и Фрерона-сына, Лапорта**; *он словно их слышал, куражился над ними, снисходил к ним, улыбался им, высмеивал, презирал их, выгонял, возвращал, затем он продолжал:*) Итак, однажды утром тебе сказали бы, что ты великий человек; о том, что ты великий человек, ты прочел бы в истории *Трех веков*, к вечеру ты бы убедился, что ты действительно великий человек, и великий Рамо заснул бы под тихое журчание восхвалений, которые звучали бы в его ушах; даже во сне он имел бы довольный вид: его грудь распирало бы, она с наслаждением поднималась и опускалась бы, он храпел бы, как великий человек...

(Говоря так, он плавно опускался на скамейку, он закрывал глаза, он имитировал приятный сон. Понаслаждавшись несколько мгновений прелестью отдыха, он проснулся, потянулся, зевнул, протер глаза и оглянулся на находящихся вокруг него пошлых льстецов.)

Я. Значит, вы думаете, что человек счастлив, когда он спит?

Он. Думаю ли я! Я, несчастный бедняк! Вечером, вернувшись на свой чердак и уткнувшись в свою жалкую постель, я съеживаюсь под своим одеялом, моя грудь стеснена, и я еле дышу; это своего рода тихая жалоба, которую с трудом слышно, в то время как богач потрясает все свое жилище и приводит в изумление всю улицу. Но что меня сейчас огорчает—это не то, что я храплю и сплю убого, как какой-нибудь несчастный...

Я. Все же это прискорбно.

Он. То, что со мной случилось, еще прискорбнее.

Я. Что же это такое?

Он. Вы всегда оказывали мне известное внимание, потому что я добрый малый, которого вы в глубине души презираете, но который вас забавляет.

Я. Это верно.

Он. И я вам поведаю.

(Прежде, чем начать рассказывать, он глубоко вздыхает и

* Французские литераторы, сторонники старого режима. враги «Энциклопедии» и Дидро.—Ред.

хватается за голову руками, затем он принимает спокойный вид и говорит мне:) Вы знаете, что я невежда, дурак, безумец, нахал, лентяй, то, что наши бургундцы называют *отъявленным бродягой, мошенником, обжорой...*

Я. Какой панегирик!

Он. Все это досконально верно, нельзя выкинуть ни слова; пожалуйста, не возражайте. Я знаю себя лучше, чем кто бы то ни было, и при этом я еще не все говорю.

Я. Совсем не хочу вас сердить,—я со всем согласен.

Он. Итак, я жил с людьми, мне благоволившими именно потому, что я в высшей степени был наделен всеми этими качествами.

Я. Это оригинально: до сих пор я думал, что человек либо скрывает эти качества от самого себя, либо что он их себе прощает и презирает в других.

Он. Скрывает от самого себя! Разве это возможно? Будьте уверены, когда Палиссо наедине и когда он обращается к самому себе, он еще и не то себе говорит; будьте уверены, что с глазу на глаз со своим товарищем они откровенно признаются, что они оба порядочные негодяи. Презирать их в других! Мои знакомые были справедливей, и с моим характером я прекрасно у них поживал, я катался, как сыр в масле; меня чествовали, стоило мне отлучиться на минуту, и уже скучали без меня; я был для них маленьким Рамо, их милым Рамо; их сумасшедшим Рамо, нахальным, невеждой, лентяем, обжорой, шутком, остолопом. Ни один из этих эпитетов не обходился без улыбки, без ласки, без похлопывания по плечу, без пощечинки и без пинка ногой; за столом на мою тарелку бросался хороший кусок; когда мы вставали из-за стола, то по отношению ко мне допускалось вольное обращение, чему я не придавал значения; ведь я готов все спустить каждому. Со мной, передо мной и из меня делают все, что угодно, и я на это не обижаюсь. И сколько маленьких подарков на меня сыпалось! И все это я, глупый пес, потерял! И я потерял все это из-за того, что проявил здравый смысл всего раз в моей жизни. О! Если впредь это хоть раз со мной произойдет!

Я. Что же случилось?

Он. Рамо! Рамо! Разве тебя для этого взяли? Глупость заключалась в том, что я проявил немножко вкуса, немножко здравого смысла, немножко ума. Рамо, друг мой, это вас научит оставаться таким, каким вас создал бог и каким бы вас хотели видеть ваши покровители. И вот вас взяли за плечи, подвели к двери и сказали: «Вон, негодяй, и впредь сюда не возвращайся! Он вздумал проявить здравый смысл и ум! Вон! Мы это имели и без тебя». И я ушел, кусая себе пальцы; нужно было прежде всего откусить себе проклятый язык. Так как я этого не сделал, то я оказался на мостовой без копейки денег, не зная, где преклонить голову. Тебя кормили на убой, чего еще тебе нужно! Теперь тебе придется питаться отбросами; у тебя было прекрасное помещение, а теперь ты будешь счастлив, если тебе вернут твой чердак; у тебя был прекрасный ночлег, а теперь

тебя ждет солома у кучера господина де Субиза или у друга Роббе; вместо покойного и сладкого сна, как раньше, ты одним ухом будешь слушать ржание и топот лошадей, а другим—гораздо более невыносимый шум сухих, жестких и варварских стихов. Жалкое, несуразное существо, одержимое миллионом бесов!

Я. Но неужели нет средств, чтобы вернуться, неужели совершенная вам! ошибка так непростительна? На вашем месте я пошел бы вновь к своим знакомым; вы им более нужны, чем вы сами думаете.

Он. О, я уверен, что теперь, когда я их больше не забавляю, они скулят, как собаки.

Я. Я бы к ним вернулся. Я бы не дал им ни минуты обходиться без меня, не позволил бы им обратиться к какому-нибудь пристойному развлечению, ведь кто знает, что может случиться?

Он. Я боюсь не этого, этого не может случиться.

Я. Как бы совершенны вы ни были, вас могут заменить.

Он. С трудом.

Я. Согласен; и все же я бы к ним пошел с расстроенным лицом, с блуждающим взором, с расстегнутым воротом, с всклокоченными волосами, в воистину трагическом состоянии, в каком вы сейчас находитесь. Я бы бросился к ногам божества и, не поднимаясь, сказал бы упавшим и рыдающим голосом: «Пощадите, сударыня, пощадите! Я низкий, бесчестный человек. Это была несчастная минута, ведь вы знаете, что мне не подобает иметь здравого смысла, и я вам обещаю не иметь его всю свою жизнь».

(Забавно то, что, пока я ему говорил эту речь, он мои слова облакал в пантомиму; он пал ниц, своим лицом он прильнул к земле; казалось, он в своих руках держит кончик туфли, он плакал, он рыдал, он говорил: «Да, моя маленькая царица, да, я обещаю, что у меня его никогда не будет, никогда в жизни, никогда в жизни...» Затем, внезапно поднявшись, он продолжал серьезно и вдумчиво.)

Он. Да, вы правы. Я вижу, что это лучший исход. Она добрая; господин Вельяр говорит, что она так добра! Я отчасти знаю, что она такова; и все же унижаться перед потаскушкой, взывать о пощаде у ног мелкой комедиантки, постоянно преследуемой свистками зрительного зала! Мне, Рамо, сыну господина Рамо, дижонского аптекаря, порядочному человеку, никогда ни перед кем не преклонявшему колена! Мне, Рамо, племяннику того Рамо, кого называют великим Рамо, того, кто гордо прогуливается по Пале-Роялю и свободно размахивает руками, с тех пор как господин Кармонтель нарисовал его согбенным, с руками, запряганными в фалды сюртука!* Мне, сочинившему десять фортепианных пьес, никем не исполняемых, но, быть может, им одним суждено перейти в потомство, которое их будет исполнять; и вот я! я! Я пойду!.. Нет, милостивый государь,

* Придерживаясь всюду текста издания Ассеза, мы здесь следуем за изданием Гете: текст Ассеза вызывает недоумение тем, что относит портрет Рамо, написанный Кармонтелем, не к дяде, а к племяннику.—Ред.

это невозможно (*и, положив на грудь правую руку, он добавил:*) я чувствую, что здесь что-то поднимается и говорит мне: Рамо, ты этого не сделаешь. Нужно иметь известное достоинство, присущее человеческой природе, и ничто его не может заглушить. Это чувство просыпается ни с того, ни с сего; потому что бывают дни, когда мне ничего не стоит сделать любую подлость; в эти дни я готов за грош поцеловать задницу маленькой Гюс.

Я. Но, друг мой, Гюс—такая белая, красивая, молодая, сладкая, пухленькая. И это проявление смирения, до которого человек, более учтивый, чем вы, мог бы иногда себя унизить.

Он. Давайте оговоримся; можно поцеловать задницу в прямом смысле, и можно целовать ее иносказательно. Спросите об этом у толстого Бержье, который и в прямом и в переносном смысле целует задницу госпожи де ла Марк. Поверьте, мне одинаково претит это делать и в прямом и в иносказательном смысле.

Я. Если предлагаемое мною средство вам не подходит, имейте мужество быть нищим.

Он. Тяжело быть нищим в то время, как вокруг столько богатых дураков, на средства которых можно жить. Кроме того, презирать себя—невыносимо.

Я. Разве вам известно это чувство?

Он. Известно ли мне это чувство! Сколько раз я говорил себе: как, Рамо, в Париже имеется десять тысяч прекрасно сервированных столов с пятнадцатью или двадцатью приборами каждый, и ни один из этих приборов не достанется тебе! Имеются кошельки, полные золота, которое сыплется направо и налево, и ни одна монета не выпадет на твою долю! Тысячи мелких бесталанных остряков, не имеющих никаких заслуг, тысячи непривлекательных мелких людишек, тысячи тупоумных интриганов—и все хорошо одеты, а ты остаешься совсем голым! И ты здесь остаешься в дураках? Неужели ты не умеешь льстить, как всякий другой? Неужели ты не умеешь врать, клясться, нарушать клятву, обещать, исполнять или не держать обещания, как всякий другой? Разве ты не сумел бы ползать на четвереньках? Разве ты не сумел бы помочь женской интриге и доставить любовную записку мужчины, как и всякий другой? Неужели ты бы не сумел подбодрить этого молодого человека на разговор с барышней и убедить барышню выслушать его, как и всякий другой? Разве ты не сумел бы внушить дочери одного из наших буржуа, что она плохо одета, что ей были бы очень к лицу красивые серьги, немножко румян, кружева или платья польского покроя? Что эти ножки не созданы для пешего хождения по улицам, что есть молодой и богатый красавец, одетый в расшитое золотом платье, обладатель великолепного экипажа, шести рослых лакеев, что он мельком ее видел, пришел от нее в восторг и что с тех пор он не пьет и не ест, лишился сна и может умереть?

— А как же мой отец?

— Ну, ладно, с вашим отцом! Сначала он немножко посердится.

— А мать, которая мне советует быть честной девушкой, которая мне внушает, что все на этом свете держится на чести?

— Старая песенка, не имеющая никакого смысла.

— А мой духовник?

— Вы его больше не увидите, а если вам придет фантазия обязательно рассказать ему историю своих увеселений, то это вам будет стоить нескольких фунтов сахара и кофе.

— Это суровый человек, который мне уже отказал в прощении грехов за то, что я пела песенку: «Приди в мой уголок».

— Это потому, что вам нечего было ему дать; но когда вы к нему явитесь в кружевах...

— Значит, у меня будут кружева?

— Разумеется, и всех сортов... С чудными бриллиантовыми серьгами...

— Значит, у меня будут красивые бриллиантовые серьги?

— Да.

— Как у этой маркизы, которая иногда приезжает за перчатками в нашу лавку?

— Именно... В чудном экипаже, на серых лошадях в яблоках, с двумя рослыми лакеями, негритенком, с скороходом впереди; румяна, мушки, шлейф.

— На бал?

— На бал, в оперу в «Комедию»... *(Сердце у нее уже забилося от радости... А ты вертишь в руках бумажку.)*

— Что это такое?

— Ничего.

— А мне кажется, у вас есть что-то.

— Это записка.

— Кому?

— Вам, если бы вы были немножко любопытной.

— Любопытной? Я очень любопытна... Посмотрим. *(Читает.)* Свиданье? Это невозможно.

— По дороге в церковь.

— Мать меня всегда сопровождает; но если бы он пришел сюда пораньше утром, я встаю первая и прихожу в контору до того, как другие проснулись...

Он появляется, он нравится; в один прекрасный день к вечеру малютка исчезает, а мне отсчитывают мои две тысячи экю... Так вот! Ты обладаешь этим талантом, а хлеба у тебя нет. Не стыдно ли тебе, несчастный?.. Я припомнил целую кучу негодяев, которые не стоили моего мизинца и которые утопали в богатстве. Я ходил в камлотовом сюртуке, а они—в бархате; они опирались на тросточку с золотым набалдашником и с клювообразной ручкой, на пальцах у них красовались перстни с изображением Аристотеля или Платона. А кто они такие? Жалкие таперы, а теперь это важные господа. Тогда я чувствовал прилив мужества, у меня поднимался дух, ум становился пронизательным, я был готов на все; но, очевидно, это

счастливое расположение духа длилось недолго, так как до сих пор я не мог выбиться на дорогу. Что бы там ни было, вот содержание моих обычных размышлений, которые вы можете перетолковывать, как вам угодно, лишь бы вам было ясно, что я умею презирать самого себя, что я знаю угрызения совести, возникающие под влиянием мысли о бесполезности ниспосланных нам небом даров; это самые ужасные страдания; было бы, пожалуй, лучше, если бы человек не родился.

(Я слушал, и по мере того как он разыгрывал сцену между сводником и возвращаемой девицей, душа моя раздвигалась под влиянием двух противоположных движений: я не знал, смеяться мне или негодовать. Мне было тяжело; двадцать раз приступ смеха не давал разразиться негодованию, двадцать раз поднимавшееся из глубины моего сердца негодование завершалось взрывом хохота. Я был смущен такой пронизательностью и такой низостью, мыслями, столь верными и одновременно столь ложными, такой полной извращенностью чувств, беспредельной гнусностью и необычайной откровенностью. Он заметил борьбу, во мне происходившую, и обратился ко мне с вопросом:)

Что с вами?

Я. Ничего.

Он. Кажется, вы взволнованы.

Я. Да, я взволнован.

Он. Что вы мне посоветуете?

Я. Изменить тему разговора. Несчастный, до какой низости вы дошли!

Он. Согласен с этим, но не слишком принимайте к сердцу мое состояние; откровенно говоря, я не хотел вас огорчать. Я у этих людей сделал кое-какие сбережения, подумайте: я ни в чем не нуждался, ни в чем решительно, а мне немало давали на мои мелкие расходы.

(Он начал бить себя кулаком по лбу, кусать губы и блуждающим взором окидывать потолок, приговаривая:) Но дело сделано, кое-что я скопил; время прошло, а это всегда есть некое приобретение.

Я. Вы хотите сказать, потеря?

Он. Нет, нет, приобретение. Ежеминутно обогащаетесь: каждый прожитый день—лишняя монета в кармане. Самое важное в жизни—свободно пользоваться своим ночным судном, без натуги, приятно и обильно. О, драгоценные испражнения! Таков результат жизни во всех ее видах. В последнее мгновение все одинаково богаты: и Самуил Бернар, оставляющий после себя двадцать семь миллионов золота в результате воровства, жульничества и банкротства, и Рамо, который после себя ничего не оставит, кому из сострадания дадут кусок холста, чтобы его завернуть. Мертвый не слышит, как звонят колокола. Напрасно сто священников будут для него заливать, напрасно впереди и сзади будут тянуться пылающие факелы: душа умершего

не идет рядом с церемониймейстером. Все равно, гнить ли под мрамором или гнить под землей. Будут ли вокруг тебя дети в красном и голубом или не будет никого—не все ли тебе равно? Видите ли вы эту руку,—она была крепка, как чорт; эти десять пальцев были точно палки, вставленные в деревянную кисть, а эти сухожилия были словно старые струны из кишек—более сухие, тугие и негнувшиеся, чем струны, употребляемые для токарных колес; но я их так мучил, сгибал и ломал; ты не поддаешься, а я тебе говорю, чорт возьми, что я тебя заставлю, так это и будет...

(И сказав это, он правой рукой схватил пальцы и кисть левой руки и начал их вывертывать вверх и вниз, так что концы пальцев касались руки и суставы хрустели. Я боялся, как бы он не вывихнул их.)

Я. Осторожнее, вы себя искалечите.

Он. Не бойтесь, они к этому привыкли; за десять лет я их приучил к разным положениям. Волей-неволей эти подлецы привыкли и выучились скакать по клавишам и бегать по струнам; и сейчас дело идет на лад, да, идет на лад...

(И тут же он становится в позу скрипача; он напевает «Аллегро» Локателли, правая рука его подражает движению смычка, его левая рука и пальцы словно скользят вдоль грифа; если он берет фальшивую ноту, он останавливается, он подтягивает или спускает струну; он пробует струну ногтем, правильно ли она звучит; он подхватывает мелодию там, где он остановился. Он отбивает такт ногой, он взмахивает головой, ногами, кистью, руками, телом, наподобие того, как это делают на духовном концерте Феррари, или Чиабран, или какой-нибудь другой виртуоз—такие же конвульсивные движения, которые мне кажутся мучительными и причиняют более или менее одинаковые страдания; ведь это тягостная вещь наблюдать за мучениями того, кто занят достижением мне удивительства! Опустите занавес, который бы отгородил этого человека от меня, если уже нужно, чтобы он изображал осужденного на пытки. Среди всего этого волнения и криков, если наступал момент выдерживания ноты, при нескольких гармонических тактах, когда смычок медленно движется по нескольким струнам сразу, его лицо принимало экзотическое выражение, голос становился нежным, он с упоением слушал себя, он был убежден, что аккорды звучат и в его и в моих ушах; затем, взяв свой инструмент подмышку левой рукой и опустив правую руку со смычком, он сказал:) Ну, что вы скажете?

Я. Великолепно.

Он. Мне кажется, идет, звучит почти так же, как у других...

(И он тотчас согнулся, как музыкант, садящийся за фортепиано.)

Я. Прошу пожалеть себя и меня.

Он. Нет, нет. Раз я вас задержал, вы меня послушайте. Я не хочу, чтобы вы меня хвалили неизвестно за что. Вы меня будете хвалить увереннее, и это мне даст несколько лишних учеников.

Я. У меня так мало знакомых и вы только для утомите себя.

Он. Я никогда не утомляюсь.

(Я увидел, что мое сострадание к этому человеку бесполезно: скрипичная соната заставила его обливаться потом, поэтому я уже не вмешивался; вот он уже сидит у фортепиано, согнув колени, подняв голову к потолку, где он, казалось, видит размеченную партитуру. Вот он поет, делает вступление, исполняя пьесу Альберти или Галуппи,—не знаю, которого из двух. Голос его звучал наподобие ветра, пальцы его летали по клавишам; с верхних нот он переносился на бас; то, обрывая аккомпанемент, он возвращался к верхам. На лице его была видна смена чувств, можно было отличить нежность, гнев, удовольствие, страдание; ощущалось *piano*, *forte*; и я уверен, что более опытный, чем я, человек, по движению, по выразительности, по мимике и некоторым звукам, время от времени вырывавшимся из его уст, мог бы узнать исполняемую пьесу. Но самое курьезное было то, что временами он сбивался, он начинал снова, как будто он ошибся, и сердился, что его пальцы сбиваются на другую пьесу.)

— Теперь вы видите,—сказал он, вставая и вытирая капли пота, катившиеся по его щекам,—что я также умею пользоваться диссонансами, увеличенной квинтой и что нам известна связь доминант; а эти энгармонические пассажи, с которыми милый дядюшка поднял столько шума, не представляют собой никакого труда, я с ними тоже управляюсь.

Я. Вам пришлось приложить много трудов, чтобы показать свое искусство; я вполне мог бы вам поверить на слово.

Он. Свое искусство? О, нет! Что касается моей профессии, то я ее знаю приблизительно, и этого более, чем довольно. Разве в нашей стране мы обязаны знать то, чему мы учим?

Я. Не больше, чем знать то, чему учимся.

Он. Верно, чорт возьми! И очень верно! Теперь скажите, господин философ, положи руку на сердце: ведь было время, когда вы не были богаты, как теперь?

Я. Я и сейчас не особенно богат.

Он. Но вы больше не пошли бы летом в Люксембург... Помните, как было дело?..

Я. Оставим это, да, я помню...

Он. В сером плюшевом сюртуке.

Я. Да, да.

Он. Он был попорчен с одного бока; обшлаг был оборван, черные шерстяные чулки разорваны и заштопаны сзади белой ниткой.

Я. Да, да, вы совершенно правы.

Он. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?

Я. Представлял собой довольно жалкую фигуру.

Он. Выходя оттуда, вы бежали по мостовой.

Я. Согласен.

Он. Вы давали уроки математики.

Я. Ничего в ней не понимая; этого признания вы хотели добиться от меня?

Он. Вот именно.

Я. Я научился, обучая других, и я выпустил несколько хороших учеников.

Он. Возможно. Но с музыкой дело обстоит иначе, чем с алгеброй или геометрией. Теперь, когда вы важный господин...

Я. Совсем уже не такой важный.

Он. Теперь, когда вы вполне обеспечены...

Я. Очень слабо...

Он. Вы нанимаете учителей вашей дочке?

Я. Еще нет. Ее воспитанием занята ее мать, ведь в семье нужно сохранять мир.

Он. В семье мир? Чорт возьми! У вас мир, когда вы либо слуга, либо хозяин. Лучше быть хозяином. У меня была жена... Упокой боже ее душу! Но когда ей иногда случалось огрызаться, я приходил в раздражение, метал гром и молнию и изрекал, подобно богу: «да будет свет», и бысть свет. Поэтому за четыре времени года не было и десяти раз, чтобы мы возвышали друг на друга голос. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Это к делу не относится.

Он. Сколько лет вашему ребенку?

Я. На кой чорт вам это знать! Оставим моего ребенка и его возраст и вернемся к учителям вашей дочки, которых она будет иметь.

Он. Ей богу! Не знаю человека упрямее философа. Почтительнейше вас прошу, милостивый государь, нельзя ли узнать у высокочтимого философа, какого возраста его достоуважаемая дочка?

Я. Предположим, восьми лет.

Он. Восьми лет! Уже четыре года, как ее пальцы должны были ознакомиться с клавишами.

Я. Но, быть может, я не был слишком озабочен введением в план ее воспитания занятий, столь продолжительных и столь мало полезных.

Он. А скажите, пожалуйста, чему же вы ее будете обучать?

Я. Насколько в моих силах, я ее обучу правильно рассуждать; эта способность редко наблюдается у мужчин и еще реже—у женщин.

Он. Ну! Пусть она плохо рассуждает, сколько ей угодно, лишь бы она была красивой, миленькой и кокетливой.

Я. Так как природа была к ней довольно неблагосклонна, даровав ей хрупкий организм и чувствительную душу и обрекши ее на жизненные невзгоды, словно она была сильной натурой и имела железное сердце, то я, если можно будет, научу ее мужественно переносить эти невзгоды.

Он. Э! Пусть она плачет, страдает, ломается, пусть она будет раздражительна, как другие, лишь бы она была красива, мила и кокетлива. Как! И танцев не будет?

Я. Танцев—только настолько, чтобы она умела сделать реверанс, умела пристойно себя вести, умела представиться и изящно ходить.

Он. И без пения?

Я. Пения—настолько, чтобы иметь хорошее произношение.

Он. И никакой музыки?

Я. Если бы был хороший учитель по части гармонии, я бы охотно поручил ему заниматься с нею два часа в день в продолжение одного или двух лет, не больше.

Он. А что же заменяет эти существенные предметы, вами устранившиеся?

Я. Я выдвинул грамматику, мифологию, историю, географию, отчасти рисование и в большой дозе мораль.

Он. Как бы мне было легко вам доказать бесполезность всех этих знаний в таком обществе, как наше! Что я говорю—бесполезность! Пожалуй, опасно. Но в настоящий момент я ограничусь одним вопросом: не понадобится ли ей один или два учителя?

Я. Несомненно.

Он. Ну вот мы и добрались. Вы надеетесь, что эти учителя будут знать все эти предметы, по которым они ей будут давать уроки,—грамматику, мифологию, историю, географию, мораль? Ерунда, дорогой мой наставник, чистая ерунда; если бы они достаточно владели предметами, чтобы обучать им, то они бы не обучали этим предметам.

Я. А почему?

Он. Да вся их жизнь прошла бы в том, что они бы их изучали. Нужно глубоко проникнуться искусством или наукой, чтобы овладеть их элементами. Классические произведения могут хорошо удасться только тем, кто поседел за работой; только середина и конец работы рассеивают первоначальный туман. Спросите вашего друга господина Даламбера, корифея математики, считает ли он ниже своего достоинства излагать ее элементы. Только после занятий в продолжение тридцати или сорока лет мой дядя прозрел в теории музыки.

Я. О, чудак, нелепейший чудак! Каким образом в вашей дурной голове поразительно верные мысли оказываются перемешанными с самыми сумасбродными?

Он. Какому дьяволу это известно? Они приходят вам в голову случайно и там застревают. Но несомненно, что пока не знаешь всего, ничего толком не знаешь; не знаешь, к чему существует вещь, откуда появляется другая, где место той или иной вещи, что нужно поставить на первом и что—на втором месте. Можно ли преподавать без метода? И откуда взять метод? Вот что, мой дорогой философ, я твердо убежден, что физика будет всегда жалкой наукой, каплей воды, взятой на кончике иглки из обширного океана, песчинкой, оторвавшейся с Альпийского хребта. Каковы причины явлений? Право, лучше вовсе не знать ничего, чем знать так мало и так плохо. Как раз к этим выводам я пришел, когда стал давать уроки аккомпанемента. Над чем вы задумались?

Я. Я думаю о том, что все сказанное вами скорее остроумно, нежели убедительно. Но оставим это; вы говорите, что преподавали аккомпанемент и композицию?

Он. Да.

Я. И вы в этой области ничего не знали?

Он. Честное слово, нет; поэтому-то и встречались худшие преподаватели по сравнению со мной: те, которые воображали, будто что-то знают. По крайней мере я не портил ни детского вкуса, ни детских рук. Когда дети переходили от меня к хорошему преподавателю, им во всяком случае не приходилось ни от чего отучиваться, так как они ничему не научились, а это всегда сберегало и деньги и время.

Я. Как же вы действовали?

Он. Как они все поступают. Я являлся, разваливался на своем стуле. «Какая скверная погода! Какая утомительная мостовая». Затем я передавал несколько новостей: «Мадемуазель Лемьер должна была разучить роль весталки в новой опере; но она во второй раз забеременела; неизвестно, кто ее будет дублировать. Мадемуазель Арно только что бросила своего маленького графа; говорят, она договаривается с Бертэн. А маленький граф вознаградил себя тем, что нашел фарфор господина Монтами. На последнем любительском концерте выступала итальянка, которая пела, как ангел. Этот Превиль—редкостный тип; его нужно посмотреть в «Mercure galant»; сцена с загадкой неподражаема. Бедная Дюменсиль не понимает ни того, что она говорит, ни того, что она делает... Ну, мадемуазель, возьмите вашу нотную тетрадь».

В то время, как мадемуазель не спеша отыскивает свою затевляющую тетрадь, пока зовут горничную, пока бранятся, я продолжаю: «Клерон воистину непостижима. Толкуют о нелепейшем браке; это брак мадемуазель... как ее зовут? Крошечное создание, бывшее на содержании у... он ее наградил двумя или тремя детьми; она еще была на содержании у многих других».

— Будет, Рамо; вы мелете без толку; быть этого не может.

— Я не мелю; даже говорят, будто дело сделано... Пошла молва, что умер Вольтер; тем лучше.

— Почему тем лучше?

— Это значит, что он задумал какую-нибудь штуку, это его манера умирать за две недели до своих затей.

Что еще вам сказать? Я рассказываю еще несколько неприличных историй, вынесенных из домов, где я бывал,—ведь все мы порядочные сплетники. Я неистовствовал, меня слушали, смеялись, восклицали: «Он всегда очарователен!» За это время находится тетрадь, валявшаяся под креслом, куда она была затащена, изгрызана и разорвана молодым догом или котенком. Она садится за фортепиано: сначала она брэнчит одна, затем подхожу я, сделав матери одобри- тельный знак.

Мать: «Дело идет не плохо; нужно только захотеть, но нет

этого хотения; она больше любит терять время на болтовню, тряпки, беготню и неизвестно на что. Только вы уходите, тетрадь закрывается и раскрывается лишь, когда вы приходите; кроме того, вы ее никогда не браните».

Между тем что-то нужно делать, я беру ее руки и ставлю их иначе; я сержусь, я кричу: *sol, sol, sol*; мадемуазель, тут—*sol!*

Мать: «Сударыня, что же у вас нет совсем слуха? Я отсюда, издали, не глядя в вашу тетрадь, чувствую, что здесь нужно *sol*. Сколько хлопот вы доставляете учителю; я поражена его долго-терпением; вы ничего не помните, что он вам говорит, вы не делаете никаких успехов...»

Тут я смягчал немного упреки и, покачивая головой, говорил: — Простите, сударыня, простите меня; успехи были бы больше, если бы мадемуазель захотела, если бы она немного упражнялась, но дело идет не плохо.

Мать: «На вашем месте я бы в продолжение года держала ее на одной пьесе».

— О! Что касается этого, она не отделается от нее, пока не преодолеет всех трудностей, а на это потребуется меньше времени, чем вы думаете.

Мать: «Господин Рамо, вы ей льстите. Вы слишком добры. Вот единственное, что она запомнит из урока и что при случае она мне будет повторять».

Урок кончается, моя ученица вручает мне мой маленький конвертик с грациозным жестом и с реверансом, которому она научилась у своего учителя танцев; я кладу его в карман, а мать говорит: «Недурно, мадемуазель, если бы Фавилье находился здесь, он бы вам аплодировал». Из приличия я еще болтаю некоторое время; затем я исчезаю, и вот, что называется уроком музыки.

Я. А теперь дело обстоит иначе?

Он. Вот тебе раз,—разумеется. Я являюсь, полон важности; снимаю свою муфту, открываю фортепиано, пробую клавиши. Я всегда впопыхах; если меня заставляют минуту ждать, я кричу, словно у меня отнимают эю; через час мне нужно быть в другом месте, через два часа я должен быть у такой-то герцогини; прелестная маркиза меня ждет, а после этого мне нужно быть на концерте у господина барона Багга на новой улице Петти-Шан.

Я. При всем том вас нигде не ждут?

Он. Верно.

Я. Зачем же вы пускаете в ход эти недостойные мелкие уловки?

Он. Недостойные! Почему недостойные? Они естественны в моем положении, и я не унижаюсь, пуская их в ход, как все. Не я их изобрел, я был бы нелепым чудаком, если бы я ими не пользовался. В самом деле, я хорошо знаю, что, если вы начнете это подводить под те или иные общие принципы неизвестно какой морали, всеми признаваемой и никем не выполняемой, окажется, что белое есть черное, а что черное будет белым. Но, господин философ, есть

всеобщая совесть, как есть всеобщая грамматика, а рядом с этим во всяком языке имеются исключения, которые вы, ученые, кажется, называете... помогите же мне...

Я. Идиомами.

Он. Совершенно правильно. Так вот, у всякого сословия есть свои исключения с точки зрения общей совести, я их охотно назову идиотизмами профессии.

Я. Понимаю. Фонтенель говорит и пишет хорошо, но его стиль кишит французскими идиомами.

Он. Также монарх, министр, финансист, судья, военный, литератор, адвокат, прокурор, коммерсант, банкир, ремесленник, учитель пения, учитель танцев—все честные люди, хотя их поведение во многих случаях уклоняется от общей совести и преисполнено моральных идиотизмов. Чем древнее установление, тем больше идиотизмов; чем злополучнее эпоха, тем многообразнее идиотизмы; каков человек, таково и ремесло, и обратно: конечной пользой, доставляемой ремеслом, определяется цена и самого человека. Поэтому мы стараемся, чтобы наше ремесло ценилось возможно дороже.

Я. Из всей этой пуганицы мне ясно одно: трудно найти честное ремесло, и мало честных людей в своем ремесле.

Он. Славно! Да их вовсе нет. Зато прежде всего мошенники обнаруживаются в своем ремесле, и все шло бы недурно, если бы не существовало известного числа людей, которые называются усидчивыми, исполнительными, пунктуально выполняющими свои обязанности, строгими, или, что то же,—людей, всецело погруженных в свое дело, посвящающих все свое время с утра до вечера этому делу и дальше этого ничего не видящих. Зато только они богатеют и добиваются почестей.

Я. Благодаря идиомам.

Он. Это так; я вижу, что вы меня поняли. Так вот, имеются идиотизмы, свойственные почти всем сословиям, общие всем странам, всем временам, подобно тому, как имеются общераспространенные глупости; а всеобщий идиотизм в том, чтобы приобрести возможно больше практики: общераспространенная глупость—верить, будто самый ловкий человек тот, у кого больше всего практики. Таковы два исключения из всеобщей совести, перед которыми приходится склониться. Это своего рода кредит; само по себе—это ничто; общественное мнение придает ему цену. Говорят: денег ни гроша, зато слава хороша, между тем, у кого хороша слава, у того нет богатства, а в наше время я вижу, что у кого есть богатство, у того и слава хороша. Нужно насколько возможно иметь и добрую славу и деньги; этого я и добиваюсь, когда я поднимаю себе цену тем, что вы называете скверными ухищрениями, недостойными мелкими уловками. Я даю свой урок, и даю его добросовестно: таково общее правило; я заставляю людей верить, что у меня уроков больше, чем часов в сутках, это идиотизм.

Я. Да урок-то вы даете добросовестно?

Он. Да, не плохо,—порядочно. Основной бас дорогого дядюшки все это очень упростил. Прежде я воровал у своего ученика деньги,—да я их воровал, это точно; теперь я их зарабатываю, во всяком случае,—как другие.

Я. А воровали вы их без угрызений совести?

Он. О! Без угрызений! Говорят, что когда вор ворует у вора, то чорт хохочет. Родители утопали в богатстве, неизвестно как приобретенном; это были придворные, финансисты, крупные коммерсанты, банкиры, деловые люди. Я и толпа других людей, которых они использовали наряду со мной, помогали возвращать обратно ими присвоенное. В природе все виды животных пожирают друг друга; в обществе сословия друг друга пожирают. В свое время Дешан, а в наши дни Гимар мстят финансисту за князя, и, в свою очередь, модистка, ювелир, обойщик, беложвейка, мошенник, горничная, повар, шорник мстят Дешан за финансиста. Во всем этом круговороте только дурак или бездельник оказываются в убытке, никого не притесняя, и это в порядке вещей. Вы видите из этого, что эти исключения из общей совести или эти моральные идиотизмы, по поводу которых поднимается такой шум и которые называют посторонними доходами,—сущие пустяки и что в конце концов нужно только иметь правильный глазомер.

Я. Я дивлюсь вашему глазомеру.

Он. И нужно принять во внимание нужду: голос совести и чести звучит очень слабо, когда вопят кишки. Довольно того, что если бы я когда-нибудь стал богатым, то мне пришлось бы возвращать присвоенное, и я твердо решил возвращать его всеми возможными способами,—столом, игрой, вином, женщинами.

Я. Но я боюсь, что вы никогда не будете богатым.

Он. Я в этом тоже сомневаюсь.

Я. Но если случится обратное, что вы предпримете?

Он. Я поступлю, как делают все разбогатевшие бедняки; я буду самым нахальным негодяем, каких только видел свет. Только тогда я вспомню все страдания, которые они мне причинили, и я им верну причиненные мне обиды. Я люблю командовать, и я покомандую. Я люблю, когда меня хвалят, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся свора Вильморьена, и я им скажу, как говорилось мне: «ну, болваны, потешайте меня»,—и меня будут потешать; «рвите в ключья честных людей», и их будут рвать,—если такие найдутся. И потом у нас будут девки, и, когда мы напьемся, мы перейдем на «ты»; мы налижемся; мы будем врать, мы предадимся всякому распутству и порокам. Это будет великолепно! Мы докажем, что Вольтер не гениален, что вечно высокомерный Бюффон—пустой декламатор; что Монтескье—обыкновенный остряк; Даламбера мы загоним в его математику. Мы здорово потрепим всех этих маленьких Катонов, на вас похожих, из зависти нас презирающих, скромных от гордости и воздержных от нужды. А музыка? Вот когда мы ей отдадимся.

Я. В связи с достойным применением, на которое пошло бы ваше богатство, я вижу, какой громадный ущерб в том, что вы—нищий. Вы жили бы весьма почетной для рода человеческого жизнью, весьма полезной для ваших соотечественников и весьма славной для вас.

Он. Но мне кажется—вы надо мной смеетесь. Господин философ, вы не знаете, с кем вы имеете дело; вы не подозреваете, что в настоящее время я представляю собой самую важную часть города и двора. Наши богачи всех рангов или говорят себе то же самое или не говорят всего того, что я вам поведал, но факт тот, что жизнь, которую я стал бы вести на их месте, полностью соответствовала бы их образу жизни. Вот вы каковы, вы—прочие; вы воображаете, что одинаковое счастье дано всем. Какая странная иллюзия! Ваш взгляд на счастье предполагает особое романтическое настроение, нам чуждое, предполагает особый склад души, своеобразный вкус. Это чудачество вы украшаете именем добродетели, называете его философией; но разве добродетель и философия созданы для всех? Кто в силах, пусть их имеет, пусть их сохраняет. Представьте себе, что мир мудр и философски настроен; признайтесь, что он будет дьявольски скучен. Поэтому, да здравствует философия, да здравствует мудрость Соломона: будем пить хорошее вино, обедаться изысканными блюдами, валяться на красивых женщинах, покоиться на мягких постелях; помимо этого—все суета.

Я. Как! А защита родины!..

Он. Ерунда! Больше нет родины: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов.

Я. А помощь друзьям?

Он. Ерунда! Какие такие друзья? А если бы они и были, зачем превращать их в неблагодарных людей? Вглядитесь, и вы увидите, что всегда оказанные услуги приводят к этому. Благодарность есть бремя, а всякое бремя сделано для того, чтобы его скинуть.

Я. Иметь известное общественное положение и исполнять определенные обязанности?..

Он. Ерунда! Раз ты богат, то не имеет никакого значения, есть ли у тебя или нет общественного положения. Ведь это положение нужно только для того, чтобы стать богатым. Выполнять свои обязанности,—к чему это приведет? К зависти, душевному беспокойству, к преследованию. Разве так можно выдвинуться? Тайна успеха в том, чтобы, черт возьми, ездить на поклон к знатым, лицезреть их, изучать их вкусы, потакать их прихотям, помогать их порокам, одобрять их несправедные дела.

Я. Заботиться о воспитании своих детей?..

Он. Ерунда! Это дело наставника.

Я. Но если наставник, проникнутый вашими принципами, пренебрегает своими обязанностями, кто тогда понесет наказание?

Он. Честное слово, не я, а может быть, в будущем муж моей дочери или жена моего сына.

Я. Но если и тот и другой отдадутся разврату и порокам?

Он. Это соответствует их положению.

Я. Если они себя обесчестят?

Он. Что бы ни делал богатый человек, он себя не обесчестит.

Я. А если он разорится?

Он. Тем хуже для него.

Я. Я вижу, что, если вы уклоняетесь от того, чтобы наблюдать за поведением своей жены, своих детей, своей прислуги, вы легко можете запустить свои дела.

Он. Простите, иногда трудно добыть денег, благоразумно исподволь браться за это дело.

Я. О вашей жене вы будете мало заботиться?

Он. Если позволите,—совсем не буду заботиться. Лучшее обхождение с своей дражайшей половиной—делать то, что ей нравится. Как по-вашему,—не будет ли общество очень забавным, если каждый будет заниматься своим делом?

Я. А почему нет? Когда я доволен своим утром, то и вечер для меня всего приятнее.

Он. И для меня также.

Я. Полная праздность светских людей является причиной изысканности их удовольствий.

Он. Вы ошибаетесь, у них много забот.

Я. Так как они никогда не утомляются, то они никогда и не отдыхают.

Он. Вы ошибаетесь, они всегда переутомлены.

Я. Для них удовольствие всегда является делом, и никогда—потребностью.

Он. Тем лучше; потребности всегда тягостны.

Я. Им все доступно. Их душа тупеет, скука ею овладевает. Им оказал бы услугу тот, кто лишил бы их жизни среди их тягостного изобилия; ведь им знакома только та доля счастья, которая скорее всего притупляется. Я не презираю чувственных удовольствий, у меня тоже есть небо, и оно испытывает удовольствие от изысканного блюда, от хорошего вина; у меня есть сердце и глаза, мне приятно видеть красивую женщину, мне приятно чувствовать под своей рукой ее упругую и округлую грудь, прижиматься губами к ее губам, черпать сладострастие в ее взорах и замирать в ее объятиях. Попойка с друзьями, порою даже буйная, меня не отталкивает. Но я не скрою от вас, что мне еще гораздо приятнее помощь бедняку, окончание щекотливого дела, подача спасительного совета, приятное чтение, прогулка с мужчиной или женщиной, близкими моему сердцу, учительное общение с моими детьми в продолжение нескольких часов, хорошо написанная страница, исполнение свойственных мне обязанностей, нежные и ласковые слова, сказанные той, которую я люблю, после чего ее руки обвивают мою шею. Я знаю такую деятельность, которой я готов пожертвовать всем, что я имею. «Магомет»—прекрасное произведение, но я предпочел бы реабилитацию памяти

Каласа *. Один мой знакомый скрылся в Картахене; это был младший сын в семье, в стране, в которой все имущество по обычаю переходит к старшему сыну. Там он узнает, что его старший брат, испорченный юноша, обобрав своих податливых отца и мать и лишив их всего достояния, выгнал их из замка, и добрые старички влачат жалкое существование в маленьком провинциальном городке. Что же тогда делает младший сын, отправившийся вследствие жестокого обращения своих родителей искать счастья на чужбине? Он посылает им вспомоществование, он старается наладить свои дела, он возвращается богатым, он водворяет отца и мать в их родное жилище и заботится о замужестве своих сестер. А! Дорогой мой Рамо, этот человек смотрел на это время, как на счастливейшее в своей жизни; он говорил о нем со слезами на глазах, и сейчас, когда я вам рассказываю это, сердце мое бьется от радости, и от удовольствия моя речь прерывается.

Он. Вы странное существо.

Я. А вы—человек, достойный жалости, если вы не в состоянии понять, что можно возвыситься над своей судьбой и что нельзя быть несчастным, совершив два столь хороших поступка, как эти.

Он. Вот своеобразный вид счастья, с которым мне было бы трудно освоиться, так как он редко встречается. Но по-вашему надлежит быть честным человеком?

Я. Разумеется,—чтобы быть счастливым.

Он. А между тем я встречаю бесчисленное множество несчастных честных людей и бесчисленное множество счастливых людей, которые не честны.

Я. Вам так кажется.

Он. А не потому ли мне некуда пойти поужинать сегодня вечером, что я на минуту обнаружил здравый смысл и искренность?

Я. О, нет, дело в том, что вы не всегда их имели, и это потому, что вы в свое время не почувствовали, что нужно создать себе самостоятельное положение, независимое от угодничества.

Он. Не знаю, зависимо ли оно или нет, но я во всяком случае создал себе самое приятное.

Я. И это положение самое ненадежное и самое нечестное.

Он. Но наиболее подходящее для моего характера бездельника, дурака и негодяя.

Я. Согласен.

Он. Но ведь я могу составить свое благополучие с помощью свойственных мне пороков,—я их приобрел без труда, сохраняю без усилий, они соответствуют нравам моего народа, они по вкусу тем, кто оказывает мне протекцию, они больше гармонируют с их частными, мелкими нуждами, чем добродетели, которые стесняли бы их,

* Кальвинист, казненный по клеветническому обвинению его иезуитами в убийстве сына, якобы желавшего принять католичество. Благодаря настойчивой инициативе Вольтера дело было после смерти Каласа пересмотрено, и последний был признан невиновным.—*Ред.*

служба укором с утра до вечера; поэтому было бы довольно нелепо, если бы я стал мучить себя, как окаянный, для того, чтобы искорверкать себя и переродиться, для того, чтобы усвоить характер, мне чуждый, и такие качества, которые я, чтобы не спорить, готов признать весьма почтенными, но которые дорого мне обошлись бы, если бы я их захотел приобрести и применять, и это не привело бы ни к чему, может быть, даже хуже, чем ни к чему, служба постоянной сатирой на тех богачей, у которых нищие, вроде меня, должны устраивать свою жизнь. Добродетель восхваляется, но ее ненавидят, от нее бегут, она холодна, как лед, а в этом мире нужно иметь теплые ноги. Кроме того, это неизбежно портило бы мне настроение; ведь почему мы так часто наблюдаем, что благочестивые люди так черствы, несносны, неуживчивы? Дело в том, что они поставили себе задачу, несвойственную их природе, они страдают, а когда страдаешь, то заставляешь страдать других; это не входит ни в мой расчет, ни в расчет моих покровителей; нужно, чтобы я был весел, сговорчив, любезен, шутив, смешон. Добродетель заставляет себя уважать, а уважение стеснительно. Добродетель заставляет восхищаться, а в восхищении нет ничего забавного. Мне приходится иметь дело с скучающими людьми, и мне нужно их смешить. Ведь смешит потешное и нелепое, поэтому нужно, чтобы я был потешен и нелеп, и, если бы природа не создала меня таким, то проще всего было бы притворяться. К счастью, мне нет нужды лицемерить; лицемеры существуют всех мастей, не считая тех, кто лицемерит с самим собой. Посмотрите на кавалера де ла Морльер,—у него шапка набекрень, он идет, задрав голову, смотрит на вас через плечо, на боку у него болтается длиннейшая шпага, он готов сказать дерзость всякому, кто не имеет шпаги, он вызывающе смотрит на каждого встречного; а чем он в сущности занят? Он хочет всех убедить, что он смел, но он трус. Щелкните его по носу, и он безропотно примет щелчок. Хотите сбить с него спесь? Возвысьте голос, погрозите ему палкой или дайте ему ногой под зад. Сам удивившись, что он струсил, он спросит, откуда вам известно, что он трус? Он сам в предшествующую минуту не знал этого; продолжительная привычка корчить из себя храбрца внушила ему высокое мнение о себе; он так долго разыгрывал эту роль, что думал, будто он в самом деле таков.

А вот перед вами женщина, умерщвляющая свою плоть, посещающая тюрьмы, участвующая во всех благотворительных обществах; она ходит с опущенными глазами, не решается посмотреть в лицо мужчине, боясь соблазна собственных чувств; все это не мешает тому, что сердце ее горит, что она глубоко вздыхает, вдруг воспаляется, что страсти начинают ее обуревать, а возбуждение по ночам рисует ей сцены из «Монастырского привратника» и позы из Аретино. Что с ней тогда происходит? Что думает ее горничная, когда она вскакивает в одной сорочке и бежит на помощь к своей умирающей хозяйке? Жюстина, идите спать, не вас зовет ваша хозяйка в своем бреду.

А если бы ваш друг Рамо стал оказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусным яствам, к праздности и стал бы корчить из себя Катона, в кого бы он превратился? В лицемера. Нужно, чтобы Рамо был тем, кем он есть на самом деле; счастливым разбойником среди богатых разбойников, а не фанфароном добродетели или даже добродетельным человеком, удовлетворяющимся своей коркой хлеба в одиночестве или среди других бедняков. Чтобы разом кончить этот разговор, мне не к лицу ни ваше благополучие, ни счастье подобных вам мечтателей.

Я. Я вижу, мой милый, что вы не знаете, что это такое, и что вы даже не созданы для того, чтобы узнать.

Он. Тьфу, пропасть! Тем лучше, тем лучше; иначе я бы подох с голоду, со скуки, а пожалуй, и от укоров совести.

Я. После всего этого единственный совет, который я могу вам дать,—поскорее вернуться в дом, откуда вы опрометчиво позволили себя выгнать.

Он. И делать то, что вы прямым образом не порицаете и что в переносном смысле мне несколько претит.

Я. Что за странность!

Он. В этом нет ничего странного. Я готов делать пошлости, но не хочу их делать по принуждению. Я готов пренебречь своим достоинством... Вы смеетесь?

Я. Да, ваше достоинство вызывает у меня смех.

Он. У каждого свое достоинство. Я готов забыть свое, но по своей воле, а не по приказанию других. Могу ли я допустить, чтобы мне сказали: ползай, и я был бы обязан ползать? Такова повадка червяка, это же и моя повадка. Мы оба ей следуем, когда нам дают свободно двигаться, но мы выпрямляемся, когда нам наступают на хвост; мне наступили на хвост, и я поднялся. Кроме того, вы не имеете представления об этом сброде, о котором идет речь. Представьте себе мрачного меланхолика, ипохондрика, запахнувшегося и завернувшегося в свой халат; он сам себе противен, и все ему противно; с трудом можно вызвать его улыбку, разрываясь на части телом и душой, он холодно наблюдает за моими смешными гримасами и за еще более смешными вывертами моего ума; ведь между нами будь сказано, этот противный бенедиктинец, прославленный за свои гримасы, этот отец Ноэль, несмотря на успех, который он имеет при дворе, по сравнению со мной просто деревянный петрушка,—говоря это без лести себе и ему. Сколько бы я ни старался, я не могу достигнуть блеска, собственного сумасшедшим. Вызову я его смех или не вызову? Вот что мне приходится твердить в то время, как я кривляюсь, и вы поймете, насколько эта неуверенность вредит таланту. Мой ипохондрик с головой, запрятанной в закрывающий ему глаза ночной колпак, похож на неподвижного китайского болванчика, к подбородку которого привязана нитка, спускающаяся под кресло. Ждешь, что ниточка дернется, а она не

дергается, а если челюсти приоткрываются, то для того, чтобы произнести обескураживающее слово—слово, показывающее, что тебя даже не заметили и что все твое кривлянье пропало даром. Произнесенное им слово является ответом на вопрос, заданный ему вами четыре дня тому назад; слово сказано, механизм сосцевидного рта успокаивается, и челюсти смыкаются.

(И тут он принялся передразнивать этого своего человечка. Он уселся на стул, выпрямил голову, надвинул шапку до бровей и с полузакрытыми глазами, с опущенными руками, двигая челюстями, подобно автомату, стал говорить: «Да, вы правы, мадемуазель, здесь нужно быть очень ловким».)

И вот он-то все время решает, и все его решения безапелляционны,—решает вечером, утром, одеваясь, обедая, за кофе, за игрой, в театре, за ужином, в постели и, прости меня создатель, кажется, даже и в объятиях своей возлюбленной. Я не имел возможности слышать этих решений, но я дьявольски устал от остальных... Печальный, мрачный, непреклонный в своих решениях—таков наш патрон.

Против него сидит жеманница, полная важности,—можно было бы решиться сказать ей, что она красива, поскольку она пока еще красива, хотя то тут, то там на ее лице—пятна, и она своим объемом не отстает от мадам Бувильон. Я люблю телеса, когда они хороши; но не следует преувеличивать, ведь движение столь существенное свойство материи. Засим, она злее, заносчивее и глупее гусыни. Засим, она хочет быть остроумной. Засим, ее нужно убеждать, что она остроумнее всех. Засим, она ничего не знает и тоже все решает. Засим, нужно рукоплескать и руками и ногами всем ее решениям, прыгать от радости и млеть от восторга: «Как это прекрасно, изящно, хорошо сказано, как это тонко схвачено, как это замечательно подмечено! Откуда все это берется у женщины? Не изучая, лишь благодаря силе инстинкта, благодаря одному здравому смыслу! Это прямо чудесно! И после этого нам будут говорить, что опыт, изучение, размышление, воспитание что-то значат». И другие подобные глупости; я плачу от радости, десять раз на день я перед ней сгибаюсь, ставши на одно колено, с руками, распростертыми к богине, я по глазам, по малейшему движению ее губ угадываю ее желания, ожидаю ее приказаний и молниеносно их исполняю. Кто пойдет на такую роль, кроме жалкой твари, находящей там два или три раза в неделю то, чем можно себя успокоить, когда бурчит в животе? Что сказать о других, например, Палиссо, Фрероне, Пуэнсине и Бакиоларе, которые имеют кое-какие средства и низость которых нельзя извинить, несмотря на бурчание их страждущего желудка?

Я. Я никогда не думал, что вы так требовательны.

Он. Да я вовсе не требователен. Вначале я наблюдал, как действуют другие, и поступал, как они, даже немножко лучше, потому что во мне больше откровенной наглости, потому что я лучший

комедиант, больше изголодался и наделен лучшими легкими. Повидимому, я по прямой линии происхожу от знаменитого Стентора*...

(Чтобы дать мне верное представление о силе этого своего органа, он начал так сильно кашлять, что в кафе стали дрожать стекла, и шахматные игроки прервали свою игру.)

Я. Но на что вам этот талант?

Он. Вы не догадываетесь?

Я. Нет, я несколько туп.

Он. Предположите, что завязался спор, и неизвестно, на чьей стороне победа; я встаю и своим громовым голосом заявляю: «Мадемуазель совершенно права, вот это правильное решение! Это стоит сотни наших остряков, здесь чувствуется гениальность». Но нельзя всегда хвалить одинаковым образом, это было бы однообразно, это отдавало бы фальшью, казалось бы пошлостью; тут может помочь только остроумие и изобретательность. Нужно уметь подготовить и в надлежащий момент выступить со своим решительным, не терпящим возражения мнением, уловить случай и минуту. Например, когда возникает разногласие и когда спор дошел до крайней степени напряжения, когда перестают слушать друг друга и все говорят зараз, нужно оказаться в стороне, в наиболее отдаленном углу от поля сражения, подготовить свое выступление продолжительным молчанием и внезапно разразиться, подобно бомбе, среди спорящих; никто не владеет этим искусством, как я. Но где я могу сразить всех,—это в противоположной роли. У меня есть незаметные интонации в сопровождении улыбки, бесконечное разнообразие форм одобрения; здесь пускаются в ход нос, лоб, рот, глаза; я владею гибкостью поясницы, манерой изгибать позвоночник, приподнимать и опускать плечи, вытягивать пальцы, кивать головой, закрывать глаза и удивляться, точно я слышу ангельский или божественный голос, нисходящий с неба; вот этим можно польститься. Я не знаю, понимаете ли вы всю силу этого последнего приема, не я его придумал, но никто не превзошел меня в том, как я это делаю. Взгляните, взгляните.

Я. В самом деле, вы единственный в своем роде.

Он. Думаете ли вы, что мозги сколько-нибудь тщеславной женщины могут перед этим устоять?

Я. Нет, приходится сознаться, что вы довели до совершенства ваш талант кривляться и унижаться.

Он. Все они, сколько бы ни старались, никогда этого не достигнут; даже лучший из них, тот же Палиссо, останется только хорошим учеником. Но если вначале эта роль и доставляет удовольствие, если до некоторой степени приятно про себя смеяться над глупостью тех, кого опьяняешь, то в конце концов это перестает быть пикантным; кроме того, после ряда открытий чувствуешь себя принужденным повторяться; ум и искусство имеют свои пределы;

* Из древнегреческой мифологии. Стентор славился своим громовым голосом.—Ред.

только для бога и нескольких редких гениев их поприще расширяется по мере их продвижения вперед. Пожалуй, таков Бурэ; в нем есть черты, которые даже мне внушают высокое о нем представление. *Маленькая собачка, Книга счастья, Факелы по дороге в Версаль*—это вещи, которые меня потрясают, уничтожают; можно было бы разочароваться в своем ремесле.

Я. О какой маленькой собачке вы говорите?

Он. Что вы, с неба упали? Как! Серьезно? Вы не знаете, как этот удивительный человек принялся за то, чтобы отучить от себя собачку, которая правилась хранителю печатей, и приручить ее к нему?

Я. Сознаюсь,—не знаю.

Он. Прекрасно. Лучшего нельзя себе вообразить; вся Европа была поражена, и нет ни одного придворного, который бы не воспытал завистью. Вы не лишены сообразительности,—интересно, как вы повели бы себя на его месте? Учтите, что Бурэ был любим своей собачкой, учтите, что странная одежда министра отпугивала маленькое животное; учтите, что у него была всего неделя, чтобы преодолеть трудности. Нужно знать все условия задачи, чтобы достойно оценить ее решение. Попробуйте!

Я. Попробовать? Должен признаться, что самые легкие дела такого рода меня повергают в смущение.

Он. Слушайте (*сказал он мне, слегка ударив меня по плечу, так как он непринужден в обращении*),—слушайте и изумляйтесь. Он заказал себе маску, похожую на хранителя печати. У одного лакея он добывает его пышную сутану, он надевает маску на свое лицо, он облачается в сутану. Он подзывает свою собачку, он ее ласкает, он ей дает пирожок. Тут—внезапная перемена декорации: это уже не хранитель печатей, это Бурэ,—он подзывает свою собаку и бьет ее. Два, три дня эти упражнения продолжают с утра до вечера. Собака научается бежать от Бурэ—финансиста и подбегать к Бурэ—хранителю печатей. Но я слишком щедр; вы профан, не заслуживающий того, чтобы вас посвящать в чудеса, рядом с вами происходящие.

Я. Несмотря на это, прошу вас рассказать мне, что такое *книга*, что такое *факелы*.

Он. Нет, нет, обратитесь к первому встречному,—он вам расскажет,—и будьте благодарны судьбе, нас столкнувшей,—теперь вы узнаете вещи, которые никто, кроме меня, не знает.

Я. Вы правы.

Он. Раздобыть одежду и парик,—я забыл о парике хранителя печатей! Заказать похожую маску! Эта маска меня особенно поражает. Поэтому этот человек и пользуется всеобщим уважением; поэтому он и владеет миллионами. Есть кавалеры креста Людовика Святого, не имеющие куска хлеба; и к чему бегать за крестом, рискуя сломать себе шею, а не предпочесть безопасное поприще, которое никогда не остается без награды. Вот что значит стремиться к великому. Эти примеры обескураживают, жалеешь себя и впа-

даешь в тоску. Маска! Маска! Я готов пожертвовать своим пальцем, чтобы найти маску.

Я. Но при этом энтузиазме ко всему прекрасному и этой гениальной находчивости, которой вы обладаете, неужели вы сами ничего не изобрели?

Он. Виноват,—а, например, удивительный изгиб спины, о котором я вам рассказывал, я его рассматриваю, как собственное изобретение, хотя завистники и могут у меня его оспаривать. Охотно допускаю, что он был известен раньше; но кто подметил, насколько он удобен, чтобы про себя посмеиваться над наглецом, которым восхищаешься! У меня тысячи приемов, чтобы заманить молоденькую девицу в присутствии матери без того, чтобы последняя заметила, и даже так, чтобы она оказала содействие. Как только я вошел в свою роль, я отверг все пошлые способы подсовывания любовных записок. Я знаю десятки способов, как дать возможность у меня их отнять, и могу похвастаться, что среди них есть новые способы. У меня есть специальный талант подбадривания робких молодых людей. Благодаря мне имели успех те, которые не обладали ни умом, ни интересной наружностью. Если бы все это описать, то, я думаю, меня назвали бы гением.

Я. Это доставило бы вам оригинальную славу.

Он. Не сомневаюсь.

Я. На вашем месте я изложил бы все это письменно. Жаль, если это все пропадет.

Он. Это верно, но вы не подозреваете, как мало я придаю значения методам и предписаниям. Кому нужно письменное свидетельство, тот далеко не уйдет. Гении мало читают, но очень активны и добиваются всего сами. Вспомните Цезаря, Тюренна, Вобана, маркизу де Тансэн, ее брата—кардинала и секретаря последнего, аббата Трюблэ. А Бурэ? Кто давал уроки Бурэ? Никто. Этих редких людей создает природа. Неужели вы воображаете, что история с собакой и маской где-нибудь записана?

Я. Но в часы безделья, когда ноет пустой желудок, или когда он переутомлен от насыщения и гонит ваш сон...

Он. Я об этом подумаю. Лучше писать о великих делах, чем осуществлять малые. Тогда душа возносится, воображение возбуждается, разгорается и расширяется; наоборот, оно меркнет, когда в присутствии маленькой Гюс мы начинаем удивляться аплодисментам, ожесточенно расточаемым публикой этой жеманнице Данжевиль, которая так пошло играет, которая ходит по сцене, скорчившись в три погибели, которая аффектированно смотрит в глаза тому, с кем она говорит, а что-то думает про себя, собственные гримасы расценивает, как тонкую игру, а свои маленькие шажки—как грацию, или этой высокопарной Клеран, такой худой, такой вычурной, такой искусственной и натянутой, что не находишь слов. Этот дурацкий партер аплодирует во всю мочь и не замечает, что у нас самих ворох прелестей, правда, этот ворох несколько толстеет, но что в

том? Ведь у нас прекраснейшая кожа, прелестнейшие глаза, самый красивый нос, правда, мало внутреннего жара и не очень-то легкая походка, но уже не такая неловкая, как говорят. А что касается чувства, то никто нас здесь не переплюнет.

Я. Что такое вы говорите? Это—ирония или истина?

Он. Беда в том, что это подлое чувство сидит внутри и никак не может проявиться; но я, ваш собеседник, я-то знаю, я хорошо знаю, что у нее есть чувство. И если это не то, что нужно, то что-то очень близкое. Надо видеть, когда мы раздражены, как мы третируем лакеев, какие пощечины мы даем горничным, какие пинки ногами получают те чувствительные части тела, которые не были достаточно почтительны. Уверю вас, что это маленький чертенок, преисполненный чувства и достоинства... Ну, вы, однако, не понимаете, о чем идет речь, не правда ли?

Я. Откровенно признаюсь, что я не могу решить, говорите ли вы от чистого сердца или со злобы. Я не искушенный человек, поэтом, будьте добры, говорите со мной проще, без шуточек.

Он. Так я говорю о маленькой Гюс, о Данжевиле и о Клерон, прибегая подчас к едким словечкам. Я допускаю, что вы меня принимаете за негодяя, но не принимаете меня за дурака,—ведь только дурак или влюбленный по уши мог бы говорить такие глупости.

Я. Но как хватает духу их говорить?

Он. Это дается не сразу, к этому приходишь постепенно. Желудок подбадривает ум (*Ingenii largitor venter*).

Я. Нужно оказаться под гнетом сильнейшего голода.

Он. Да, вероятно. Но как бы ни были нелепы эти похвалы, поверьте, что те, к кому они обращены, гораздо больше к ним привыкли, чем мы, решающиеся их высказывать.

Я. Хватит ли у кого-нибудь смелости держаться такого мнения?

Он. Что значит это «у кого-нибудь»? Так думает и говорит все общество.

Я. Те из нас, кто не великий негодяй, должны быть изрядными дураками.

Он. Дураками? Уверю вас, что есть только один дурак,—это тот, кто нас угощает за то, что мы к нему почтительны.

Я. Но как можно низкопоклонствовать в такой грубой форме? Ведь превосходство таланта Данжевиля и Клерон несомненно.

Он. Дело в том, что ложь, нам лстящая, выпивается залпом, а горькую правду пьешь по капелькам. И потом у нас такой убежденный, правдивый вид.

Я. Однако вы иногда грешили против основ вашего искусства! Ненароком у вас проскакивали отдельные горькие, наносящие рану, истины! Какую бы жалкую, низкую, грязную и отвратительную роль вы ни исполняли, по существу душа ваша не лишена деликатности чувств.

Он. Моя душа,—вовсе нет. Чорт меня возьми, если я знаю, кто я такой! Вообще мой разум кругл, как шар, а характер гибок,

как ива. Я никогда не лгу, если только мне выгодно быть правдивым; я никогда не правдив, если только мне выгодно быть лживым. Я говорю, что мне приходит в голову; если сказанное осмысленно,—тем лучше; если неуместно, то никто не обратит внимания. Я пользуюсь первым попавшимся выражением, никогда в жизни я не думал ни до того, как я сказал, ни в то время, как я говорю, ни после того, как я сказал; зато я никого не оскорбляю.

Я. Но все же это с вами случилось у благородных людей, у которых вы жили и которые осыпали вас столькими благодарениями.

Он. Что вы хотите? Это несчастье, несчастный случай, как они встречаются в жизни. Счастье не может быть непрерывным; мне было слишком хорошо, это не могло продолжаться так долго. Наша компания, как вы знаете, самая многочисленная и изысканная. Это школа гуманизма, возрождения античного гостеприимства: мы собираем всех провалившихся поэтов. У нас был Палиссо после того, как провалилась «Зара», Брет—после «Притворного доброжелателя», все опозоренные музыканты, все авторы, которых не читают, все освищенные артистки, все ошиканые актеры, куча застенчивых бедняков, жалкие паразиты, которых имею честь возглавлять я, как храбрый руководитель трусливого отряда. Это я приглашаю их потрапезовать, когда они приходят в первый раз, это я требую для них вина, ведь они занимают так мало места! Здесь, несколько образованных молодых людей, которые не знают, куда преклонить голову, но у которых недурная наружность; тут несколько негодяев, стрекочущих вокруг своего патрона и его усыпляющих, чтобы после него попользоваться его патронессой. Кажется, что мы веселы, но в сущности мы в плохом настроении и очень голодны. Волки не более изморены в сравнении с нами, и тигры не более жестоки. Мы пожираем все, как волки, после того, как земля была долго покрыта снегом, мы, как тигры, разрываем все, что нам доступно. Иногда толпы Бертэна, Мессанжа и Вильморьена сходятся вместе, тогда в зверинце поднимается не малый шум. Нигде не увидишь такого скопища мрачных, сварливых, вредных и бушующих зверей. Слышны только имена Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера, Даламбера и Дидро. И, бог весть, каких только эпитетов им не дают! Ни у кого не оказывается ума, если он не так же глуп, как мы. Здесь сложился план комедии «Философы»; сцену с разносчиком придумал я, подражая «теологии в юбке». Вас, как и других, не пощадили.

Я. Тем лучше! Может быть, меня превозносят больше, чем я заслуживаю. Я бы почувствовал себя оскорбленным, если бы обо мне хорошо отозвались те, кто так дурно отзывался о столь выдающихся и благородных людях.

Он. Нас много, и каждый должен внести свою лепту. Покончив с крупными животными, мы принимаемся за других.

Я. Оскорблять науку и добродетель, чтобы жить,—это дорогой кусок хлеба.

Он. Я же вам говорил, что мы безответственные люди; мы оскорбляем всех, но никого не огорчаем. К нам иногда приходит тучный аббат д'Оливе и толстый аббат Лебан, и лицемер Батте. Толстый аббат сердит лишь до обеда, а когда кофе выпит, он разваливается в кресле, опершись ногами о решетку камина, и засыпает, как старый попугай на своей жердочке. Если гвалт усиливается, он зевает, расправляет руки, протирает глаза и говорит:

«— Ну, что случилось, что случилось?»

— Вопрос в том, остроумнее ли Пирон Вольтера.

— Прежде всего условимся,—речь идет об остроумии, а не о вкусе? Ведь о вкусе ваш Пирон не имеет никакого представления.

— Не имеет никакого представления?

— Нет...»

И вот начинается целый диспут о вкусе. Тогда патрон делает знак рукой, чтобы его слушали, так как вкусом он особенно кичится. «Вкус,—говорит он,—вкус...—это вещь...» Клянусь,—я не знаю, какую вещь он имел в виду, да и он сам не знал.

Иногда к нам приходит друг Роббэ; он угощает нас своими двусмысленными рассказами, чудесами фанатиков-янсенистов, которых он наблюдал собственными глазами, а также чтением нескольких песен своей поэмы на хорошо ему известный сюжет. Я ненавижу его стихи, но я люблю его декламацию; он похож на одержимого. Все вокруг него кричат: «Вот это называется поэт!..» Между нами говоря, эта поэзия есть только кошачий концерт беспорядочных звуков, дикая болтовня обитателей Вавилонской башни.

Иногда нас посещает один простачок, у которого самый глупый и дурацкий вид, но у него ум демона, и он хитер, как старая обезьяна. Он из категории тех людей, кто вызывает насмешки и издевательства и кто создан богом для исправления людей, судящих по одной наружности, а ведь зеркало должно было их научить, что так же легко быть умным человеком и иметь вид дурака, как дураку принять вид одухотворенного человека. Это общераспространенная подлость—выставить на посмеяние простака для увеселения других; поэтому-то обыкновенно и нападают на этого человека. Это—ловушка, которую мы расставляем всем вновь прибывшим, и почти всякий в нее попадает...

(Иногда меня поражала у этого безумца меткость его наблюдений над людьми и характерами, и я ему это высказал.)

Он. Дело в том,—ответил он,—что и из плохого общества извлекается польза, как можно извлечь пользу и из разврата; потеря невинности компенсируется тем, что откидываются предрассудки: в обществе злых, где с порока сорвана маска, выучиваешься распознавать пороки; кроме того, я кое-что читал.

Я. Что же вы читали?

Он. Я читал и читаю, и постоянно перечитываю Теофраста, Лабрюйэра и Мольера.

Я. Это превосходные книги.

Он. Они гораздо лучше, чем принято думать; но кто их умеет читать?

Я. Все,—сообразно своим умственным способностям.

Он. Почти никто. Вы мне можете сказать, что в них ищут?

Я. Развлечения и поучения.

Он. Но какого поучения? В этом вся сила.

Я. Знания своих обязанностей, любви к добродетели и отвращения к пороку.

Он. Из книг я научаюсь всему, что следует делать, и всему, чего не следует говорить. Так, когда я читаю «Скупого», я себе говорю: будь скупым, если ты хочешь, но остерегайся говорить, как скупой; когда я читаю «Тартюфа»*, я себе говорю: будь лицемером, если ты хочешь, но не веди лицемерных бесед; сохраняй пороки, если они тебе полезны, но не придерживайся тона и обхождения, которые сделали бы тебя смешным. Чтобы застраховать себя от этого тона и обхождения, их нужно знать, а между тем эти авторы их превосходно изобразили. Я—я, и остаюсь, каким я был, но действую и говорю я, как подобает. Я не из тех людей, кто презирает моралистов, из них можно многое извлечь, особенно из тех, кто показывает мораль в действии. Порок только временами коробит людей, порочные характеры коробят с утра до вечера. Быть может, лучше быть нахалом, чем иметь нахальную физиономию; нахальный характер коробит только временами, нахальное лицо коробит всегда; впрочем, не думайте, что, как читатель, я единственный в своем роде; моя заслуга в том, что я систематически, согласно выкладкам, с рациональной и безошибочной точки зрения делаю то, что другие по большей части делают инстинктивно. Этим объясняется, что их чтение не ставит их выше меня и что они вопреки своему желанию остаются смешными; между тем я смешон только тогда, когда я этого хочу; поэтому они всегда от меня отстают; то же искусство, которое научает меня не быть смешным в известных случаях, в других случаях учит меня, как с выгодой разыгрывать роль шута. Тогда я вспоминаю все сказанное другими, все мною прочитанное, и к этому прибавляю все от меня самого зависящее, а в своем роде это очень плодотворный материал.

Я. Очень хорошо, что вы мне поведали эти тайны, иначе я бы думал, что вы сами себе противоречите.

Он. Я совсем себе не противоречу, так как на один случай, когда нужно избегать быть смешным, к счастью, приходится сто случаев, когда выгодно разыгрывать роль шута. Если состоишь при знатных людях, то нет лучшей роли, чем роль шута. Долгое время существовало звание шута при короле, но никогда при короле не было звания мудреца. Я шут при Бертэне и при многих других. Может быть, в настоящий момент я ваш шут, а, может быть, и вы мой: у мудреца не было бы шута; у кого есть шут, тот не мудрец; если он не мудрец,

* «Скупой» и «Тартюф»—комедии Мольера.—Ред.

то он шут, и, может быть, если бы он был королем, он был бы шутком своего шута. Впрочем, помните, что в такой изменчивой сфере, как нравы, нет ничего верного или ложного в абсолютном, существенном, в общем смысле. Может быть, единственно непреложное правило в том, чтобы, смотря по выгоде, быть добрым или злым, мудрым или шутком, благопристойным или смешным, честным или порочным. Если бы случайно добродетель привела меня к богатству, то или я был бы добродетельным, или, как всякий другой, я старался бы казаться добродетельным; захотели, чтобы я был смешным, и я сделался смешным; что же касается моей порочности, то этим я всецело обязан своей природе. Когда я говорю «порочный», то я подделываюсь под ваш язык, ведь если бы мы договорились, то могло бы случиться, что вы называете пороком то, что я называю добродетелью, а добродетелью,—что я называю пороком.

У нас бывают также авторы из «Оперы Буфф» (*Opéra Comique*), их актеры и актрисы, а чаще всего антрепренеры, Корби и Моэтт, все ловкие и в высшей степени достойные люди.

Я забыл великих литературных критиков: «Ранний курьер» («*Avant Courreur*»), «Справочный листок» («*Petites affiches*»), «Литературный ежегодник» («*Année littéraire*»), «Литературный обозреватель» («*Observateur littéraire*»), «Еженедельный критик» («*Censeur hebdomadaire*»), всю эту газетную шайку.

Я. «Литературный ежегодник»!, «Литературный обозреватель»! Быть этого не может,—они ненавидят друг друга.

Он. Верно, но все нищие мирятся за общим столом. Этот проклятый «Литературный обозреватель», чорт бы его побрал и его листки! Эта собака, этот жадный попик, этот вонючий ростовщик и был причиной моего банкротства. Он впервые появился вчера на нашем горизонте; он прибыл в тот час, когда обед нас выгоняет из наших вертепов. Если дурная погода, то счастливы тот из нас, у кого есть в кармане монетка в двадцать четыре су, чтобы заплатить за извозчика! Он смеется над своим сотоварищем, явившимся поутру по колена в грязи и промокшим до костей, а вечером в том же виде возвращающимся домой. Был еще кто-то, не помню, кто именно,—он затеял горячую схватку с савойцем, устроившимся у нашего подъезда; у них были какие-то денежные счета; кредитор требовал уплаты у должника, а должник был не при деньгах, но он не мог подняться наверх, не натолкнувшись на кредитора.

Кушание подается. Аббата принимают, как почетного гостя, его сажают на главное место. Я вхожу; вижу его. «Как, аббат,—говорю я ему,—вы сидите на председательском месте? Это замечательно для сегодняшнего дня, но завтра, уж извините, вы скатитесь на один прибор, послезавтра—еще на один прибор, и так, от прибора к прибору, вправо и влево, вы будете передвигаться до того места, которое я однажды занимал до вас, а Фрерон однажды—после меня, Дора однажды—после Фрерона, Палиссо однажды—после Дора, и вы займете постоян-

ное место рядом со мной, таким же жалким плутом, как и вы, «великий пройдоха, сидящий между двумя плутами».

Аббат, по существу не плохой малый, благодушно ко всему относящийся, засмеялся; мадемуазель, пораженная моей наблюдательностью и меткостью сравнения, тоже засмеялась, засмеялись те, кто сидел направо и налево от аббата, а также и те, кто принужден был из-за него спуститься на одну ступень; все засмеялись, кроме хозяина, рассердившегося и сказавшего мне слова, которые не имели бы никакого значения, если бы мы были наедине...

«— Рамо, вы нахал.

— Я это хорошо знаю, на этом основании вы и приняли меня.

— Вы прохвост.

— Как всякий другой.

— Вы нищий.

— Не будь я им, меня не было бы здесь.

— Я вас выгоню.

— После обеда я сам уйду...

— Я вам советую это сделать».

Стали обедать; я не зевал, работал зубами. Я хорошо поел, много выпил, ведь в конце концов это ничего не меняло, господин-желудок есть персона, на которую я никогда не жаловался; затем я покорился своей участи и хотел уйти,—мои слова были произнесены в присутствии стольких людей, что нужно было их сдержать. Прошло порядочно времени, пока я ходил по комнате, отыскивая свою палку и шляпу там, где их не было, и рассчитывая все время, что патрон вновь обрушится на меня с ругательствами, что кто-нибудь заступится за меня и, что, посердившись, мы в конце концов примиримся. Я все вертелся на одном месте, потому что у меня на сердце ничего не было. Но патрон, более нахмуренный и мрачный, чем гомеровский Аполлон, мечущий свои стрелы в греческое войско, ходил взд и вперед, больше обыкновенного напялив свой колпак и подпирая подбородок кулаком. Мадемуазель подходит ко мне:

«— Но, мадемуазель, что удивительного случилось? Разве я вел себя иначе, чем обычно?

— Вам придется удалиться.

— Я уйду. Я ни в чем перед ним не провинился.

— Извините; приглашают господина аббата и...

— Он сам себя унизил, пригласив аббата и принимая меня, а со мной еще стольких бездельников, мне подобных...

— Живо, милый Рамо, вам нужно извиниться перед господином аббатом.

— На что мне нужно его извинение?

— Ну, ну, все это уладится».

Меня берут за руку, меня тащат к креслу аббата; я протягиваю руки, я смотрю на аббата с известного рода удивлением, ведь разве кто-нибудь просил извинения у аббата? «Аббат,—говорю я ему,—все это довольно глупо, не правда ли?» И я начинаю хохотать, аббат—

тоже. Значит тут меня извинили; нужно было найти подход к другому, а заговорить с тем, это—уже совсем другой коленкор. Точно я уже не помню, как я стал извиняться.

«— Милостивый государь, вот этот шут...

— Он слишком долго меня мучил; разговоры о нем кончены.

— Вы сердитесь?..

— Да, я очень сердит.

— Этого больше не случится.

— Чтобы первый прохвост...»

Уж не знаю, может быть, это был один из тех скверных дней, когда мадемуазель опасается к нему подходить и решается касаться его лишь с особой осмотрительностью, а, может быть, он плохо понимал мои слова или я плохо говорил,—но стало хуже, чем было. Кой чорт, разве он меня не знает, разве он не понимает, что я тот же ребенок и что случаются обстоятельства, при которых я делаю все под себя! И потом, прости господи, неужели я обязан действовать без передышки! И стальной манекен изнасился бы, если бы с утра до ночи дергали его за веревочку. От меня требуется, чтобы я забавлял, таково условие, но иногда и мне нужно позабавиться. Во время всей этой путаницы мне пришла в голову роковая мысль, мысль, меня угробившая, мысль, внушившая мне быть дерзким и нахальным. Это было соображение, что без меня не могут обойтись, что я необходимый человек.

Я. Да, мне кажется, что вы им были очень полезны, но, вместе с тем, они вам еще более полезны. Если бы вы и захотели, вы не найдете другого такого хорошего дома, они же вместо выбывшего шута найдут сотню других.

Он. Сотню таких плутов, как я! Господин философ, их не так легко найти. Плоских дураков—можно; с глупостью дело обстоит хуже, чем с талантом или добродетелью. В своем роде я редкий экземпляр, да, очень редкий. Теперь, когда меня нет, как им быть без меня? Они скучают, как псы. Я неистощимый кладезь дерзких выходок; у меня каждое мгновение была новая причуда, которая заставляла их смеяться до слез; им я заменял целый сумасшедший дом.

Я. Но зато у вас был стол, кров, одежда, пиджак и панталоны, башмаки и ежемесячно—пистоля.

Он. Это, если взглянуть с хорошей стороны,—это мой плюс; но вы ничего не говорите о поручениях, которые мне давали. Во-первых, если поднимался шум вокруг новой пьесы, какая бы погода ни стояла, приходилось разносить по всем парижским чердакам, чтобы найти автора; я должен был доставить произведение для чтения, я должен был ловко намекнуть, что есть роль, которая превосходно была бы исполнена одной моей знакомой.

«— А кем же, если позволите узнать?»

— Хорошенький вопрос! Это сама грация, прелесть, изящество.

— Вы имеете в виду мадемуазель Данжевиль? Между прочим, вы с ней знакомы?

— Да, немножко знаком, но это не она.

— А кто же?

Я шопотом называл имя.

— Она!

— Да, она!!—повторял я несколько сконфуженный, потому что иногда я стыжусь, а нужно было видеть, как вытягивалось лицо поэта при этом имени и как в других случаях мне смеялись прямо в лицо. Между тем, волей-неволей приходилось привозить своего знакомого к обеду, а он, боясь, чтобы его не втянули во что-нибудь, хмурился, благодарил. А как со мной обращались, когда я не достигал успеха в своих переговорах: я оказывался простофилей, дураком, рохлей, я оказывался ни на что не годным; я не стоил стакана воды, который мне давали пить. Гораздо тяжелее было во время представления, когда приходилось безбоязненно действовать среди гикания публики, которая судит правильно, что бы там ни говорилось; когда приходилось аплодировать в одиночку, привлечь к себе внимание, обращать на себя свистки, предназначенные для актрисы, и слышать шопог вокруг себя: «Это один из переодетых лакеев ее любовника, замолчит ли эта каналья?..» Люди не подозревают, что может заставить так действовать, думают, что это глупость, а между тем тут имеется мотив, в связи с которым все можно простить.

Я. Даже нарушение гражданских законов?

Он. В конце концов я стал известен, и вокруг говорили: «О! Это Рамо!..» Меня выручало то, что я мог бросить несколько иронических замечаний, спасавших мои смешные, одинокие аплодисменты; их истолковывали в обратном смысле. Сознайтесь, что только сильная заинтересованность может заставить так бравировать собравшейся публикой, и вся эта барщина стоила дороже какого-нибудь эю.

Я. Почему же вы не прибегали к помощникам?

Он. Это со мной случалось, и из этого я кое-что извлекал. Прежде чем отправляться на эту пытку, нужно было запомнить несколько блестящих мест, во время которых надлежало задать тон; случалось, что я их забывал или перепутывал, тогда я весь дрожал при возвращении; поднимался такой гвалт, что вы не можете себе представить. А дома приходилось ухаживать за целой стаей собак. Нужно признаться, что я по глупости возложил на себя эти обязанности; мне также был поручен верховный надсмотр над кошками. Я был в восторге, когда Мику удаивала меня цапнуть и разрывала мою манжетку или ранила руку. У Крикет бывают колики, я должен растирать ей живот. Раньше у мадемуазель бывали истерические припадки, теперь у нее не в порядке нервы. Я уже не говорю о других легких недугах, при которых со мной совершенно не стесняются. Пусть, в этом случае я никогда не хотел стеснять; не помню, где я читал, что один князь, именовавшийся великим, нагибался над спинкой судна своей любовницы. Кто стесняется перед своими семейными? А в те дни я был своим человеком больше, чем кто-либо другой. Я проповедник непринужденности и свободы обращения; я про-

поведывал это своим примером без того, чтобы на это обращали внимание, я был предоставлен самому себе. Патрона я вам обрисовал. Мадемуазель начинает делаться грузной—только послушать рассказы, которые ходят об ней.

Я. А вы этим не занимаетесь?

Он. Почему нет?

Я. Потому что это по меньшей мере непристойно насмехаться над своими благодетелями.

Он. Но разве не хуже куражиться своими благодеяниями, чтобы унизить того, кому оказывается покровительство?

Я. А если бы протеже сам по себе не был низок, у патрона не оказалось бы права на это.

Он. Но если бы люди сами по себе не были смешны, об этом не рассказывалось бы. И потом, разве по моей вине они дружат со всякой сволочью, а если они с ней сдружились, разве по моей вине их предают и осмеивают? Если решаются жить с такими людьми, как мы, и если при этом имеется здравый смысл, то ясно, что приходится ожидать всевозможных коварств. Разве, когда нас берут, не знают, что мы собою представляем, что мы корыстолюбивы, низки и вероломны? Если известно, кто мы такие, то все в порядке. Существует молчаливое соглашение, что нам оказывается благодеяние и что рано или поздно мы воздадим злом за добро, нам содеянное. Разве не имеется подобного соглашения между человеком и его обезьяной или попугаем? Лебрэн громко жалуется на своего сотрапезника и друга Палиссо, что тот его высмеял в стихах. Палиссо пришлось написать эти стихи, и не прав Лебрэн. С другой стороны, Пуансинэ громко жалуется, что Палиссо приписал ему стихи, которые он написал против Лебрэна, между тем Палиссо пришлось приписать Пуансинэ стихи, которые он сложил против Лебрэна, и в данном случае не прав он, Пуансинэ. Маленький аббат Рей громко сетует, что его приятель Палиссо похитил у него любовницу, к которой он его ввел; между тем вовсе не следовало знакомить Палиссо со своей любовницей или быть готовым потерять ее; Палиссо выполнил свой долг, и не прав был аббат Рей. Книгопродавец Давид громко негодует, что его товарищ Палиссо спал или хотел спать с его женой; жена книгопродавца Давида громко негодует, что Палиссо всем дает понять, что он с ней спал; трудно решить, спал ли Палиссо с женой книгопродавца Давида, ведь жена должна была отрицать этот факт, а Палиссо мог заставить поверить тому, чего не было. Как бы то ни было, Палиссо сделал то, что сделал, а Давид и его жена не правы. Гельвеций громко жалуется, что Палиссо вывел его на сцену, как бесчестного человека, а между тем он ему должен деньги, данные взаймы для поправления здоровья, для питания и на одежду, но мог ли он ожидать другого образа действий со стороны человека, во всех отношениях бесчестного, убедившего своего друга в целях собственного развлечения переменить религию, завладевшего имуществом своих друзей, человека, у которого нет ни чести, ни совести, ни благородства чувств, старающегося разбогатеть всеми правдами и неправдами (рег

fas et nefas), сосчитывающего дни по количеству совершенных подлостей и выводящего себя на сцене в виде опаснейшего мошенника,—это бесстыдство, которому не подберешь другого примера и которое вряд ли повторится в будущем? Нет, виноват здесь не Палиссо, а Гельведий. Если привести неопытного провинциала в Версальский зверинец и он по глупости просунет через решетку клетки тигра или пантеры свою руку; если рука молодого человека останется в пасти свирепого зверя, кто здесь окажется виноватым? Все это вписано в молчаливом соглашении, тем хуже для того, кто этого не знает или забыл. В связи с этим общим и священным соглашением скольких людей можно оправдать, которых несправедливо обвиняли в злобе, между тем как следовало бы самих себя обвинять в глупости. Да, разжиревшая графиня, вы сами виноваты, когда вы собираете вокруг себя тех людей, которых в вашем круге называют швалью, и когда эта шваль учиняет мерзости, заставляя и вас делать мерзости и навлекая на вас негодование честных людей. Честные люди делают то, что они должны делать, и шваль делает свое дело, и вы сами виноваты, принимая ее у себя. Если бы Бертэн мирно и спокойно жил со своей возлюбленной, если бы по благородству своего характера они водили бы знакомство с порядочными людьми, если бы они объединяли вокруг себя талантливых людей, известных в обществе своей добродетелью, если бы они для небольшого, просвещенного и избранного общества посвятили часы досуга, отняв их у того времени, приятно проводимого вдвоем, когда они отдаются любви и любовным разговорам в тиши уединения, то поверьте, что на их счет не ходило бы ни хороших, ни дурных слухов. Что же с ними случилось? То, чего они заслуживали. Они были наказаны за свою неосмотрительность, и провидение от века избрало нас для того, чтобы некогда воздать должное всем теперешним Бертэнам, точно так же как нам подобным среди наших внуков судьба предназначила воздать должное Мессанжам и Бертэнам будущего. В то время как мы приводим в исполнение законные приговоры провидения над глупостью, вы, изображая нас такими, каковы мы на самом деле, осуществляете его законные постановления над нами. Что бы вы об нас подумали, если бы с нашими позорными нравами мы претендовали на всеобщее уважение? Что мы—безумцы. А те, кто ожидает честных поступков со стороны врожденных порочных людей, с подлыми и низкими характерами,—умны ли они? Все в этом мире имеет свое возмездие. В мире два главных обвинителя,—один стоит у ваших дверей, он наказывает проступки против общества, другой обвинитель,—это природа; природа знает все пороки, ускользающие от законов. Вы предаетесь разврату с женщинами, у вас будет водянка; вы пьянствуете, и у вас будет чахотка, вы гостеприимно принимаете негодяев и вы с ними живете, вас будут предавать, высмеивать, презирать. Всего проще покориться справедливости этих приговоров и сказать самому себе: это правильно. Одно из двух: или опомниться и исправиться, или остаться тем, чем был, но при вышеупомянутых условиях.

Я. Вы правы.

Он. Впрочем, что касается всех этих скверных рассказов, то я их не придумываю, ограничиваясь ролью передатчика. Болтают, будто несколько дней тому назад, около пяти часов утра послышался страшный шум. Звонили во все звонки, слышались прерывистые глухие крики человека, которого душат. «Ко мне... ко мне... я задыхаюсь... я умираю...» Крики слышались из комнаты патрона. Идут к нему, спешат на помощь. Наше толстое существо, обезумев, ничего не чувствуя, ничего не видя, как это происходит в такие минуты, поднималось на своих двух руках, падая всей тяжестью шести- или семипудовой туши на известные части его тела, возбуждаясь быстротой, доставляемой неистовством наслаждения. Было очень трудно его выпростать. Что за фантазия маленькому молоточку соваться под тяжелую наковальню!

Я. Вы похабник. Поговорим о другом. Пока мы беседуем, у меня на языке вертится вопрос.

Он. Почему же вы его так долго задерживали?

Я. Я боюсь, что он покажется нескромным.

Он. После всего мною сказанного, какие еще могут быть между нами секреты?

Я. Вы не сомневаетесь в оценке вашего характера?

Он. Нисколько. Я в ваших глазах весьма гнусное, весьма презренное существо. Иногда таким я также бываю в своих собственных глазах, но редко. Я чаще приветствую свои пороки, чем порицаю себя за них. Вы более постоянны в своем презрении!

Я. Это верно; но к чему было вам обнаруживать передо мною всю свою мерзость?

Он. Прежде всего, ббльшую ее часть вы уже знали, и мне выгоднее было вам признаться в остальной.

Я. Как же так? Объясните мне, пожалуйста.

Он. Если где-нибудь нужно быть великим, то это преимущественно во зле. На мелкого шулера плюют, но что касается крупного преступника, то ему нельзя отказать в известном уважении к нему: его смелость вас поражает, его жестокость вызывает в вас содрогание. Во всем ценится цельность характера.

Я. Но у вас еще нет этой почтенной цельности характера; порою я замечаю, что вы колеблетесь в своих принципах; неясно, откуда ваша злоба—от природы или от навыка, и благодаря этому навыку достигли ли вы всего?

Он. Согласен, но я старался изо всех сил. Я был настолько скромен, что признавал многих людей более совершенными в сравнении с собой. Не говорил ли я вам о Бурэ с глубочайшим уважением? С моей точки зрения Бурэ—первый человек на этом свете.

Я. А непосредственно после Бурэ стоите вы?

Он. Нет.

Я. Значит это Палиссо?

Он. Да, Палиссо, но не один только он.

Я. А кто достоин разделить с ним второе место?

Он. Авиньонский вероотступник.

Я. Я никогда не слышал об этом авиньонском вероотступнике, но это должно быть удивительный человек.

Он. О, да.

Я. История великих людей меня всегда интересовала.

Он. Я думаю. Он жил у благородного и честного потомка Авраама, ведь патриарху верующих было обещано потомство в размере, соответствующем числу звезд.

Я. Он жил у еврея?

Он. У еврея. Сначала он сумел вызвать к себе сострадание, затем благоволение, наконец—полное доверие; ведь вот что случается всегда: мы так полагаемся на наши благодеяния, что редко утаиваем свой секрет от того, кого мы осыпали своими добрыми делами. Конечно, будут существовать неблагодарные люди, раз мы подвергаем человека искушению безнаказанно быть неблагодарным. Это верное наблюдение, которого не сделал наш еврей. Он поведал вероотступнику, что ему совесть не позволяет есть свинину. Вы увидите всю выгоду, которую этот богатый ум сумел извлечь из такого признания. Прошло несколько месяцев, в течение которых наш вероотступник удвоил свое внимательное отношение, когда он увидел, что его еврей совсем растроган, совсем покорен его заботливостью и благодаря ей убежден, что во всем Израиле у него нет лучшего друга... Оцените осторожность этого человека,—он не спешит, он дает созреть груше прежде, чем начать трясти ветку; при слишком большой ретивости можно было провалить этот план. Дело в том, что обыкновенно размах характера есть результат естественного равновесия нескольких противоположных качеств.

Я. О! Оставьте ваши рассуждения и продолжайте ваш рассказ.

Он. Это невозможно. Бывают дни, когда размышления мне необходимы; это болезнь, которую приходится предоставлять своему течению. На чем, бишь, я остановился?

Я. На том, что между евреем и вероотступником установились очень тесные отношения.

Он. Тогда груша созрела... Но вы меня не слушаете?.. О чем вы размышляете?

Я. Я думаю о неровности тембра вашего голоса—то он высокий, то он низкий.

Он. Разве у порочного человека может быть одинаковый тембр? ...Однажды вечером он приходит к своему другу, растерянный, с прерывающимся голосом, с бледным, как смерть, лицом, дрожа всем телом.

— Что с вами?

— Мы пропали.

— Пропали, как так?

— Пропали, говорю я вам, спасения нет.

— Объяснитесь.

— Одну минуту, дайте мне придти в себя.

— Ну, успокойтесь,—говорит ему еврей вместо того, чтобы сказать ему: «Ты отъявленный плут, я не знаю, что ты хочешь мне сказать, но ты отъявленный плут, ты разыгрываешь испуг».

Я. А почему он должен был так сказать ему?

Он. Потому что он прикидывался и хватил через край; это для меня ясно. Не прерывайте меня больше. «Мы погибли, погибли!.. Окончательно!» Разве вы не чувствуете всей нарочитости в повторении этого слова: «погибли...» «Один предатель донес святой инквизиции на вас, как на еврея, на меня, как на проклятого вероотступника...» Вы замечаете, что предатель не краснея употребляет самые страшные выражения; нужно гораздо больше отваги, чем думаешь, чтобы назвать себя этим именем. Вы не знаете, чего стоит, чтобы докатиться до этого.

Я. Разумеется, нет. Но что же сделал этот бессовестный вероотступник?

Он. Он притворился, но это было очень ловкое притворство. Еврей приходит в ужас, рвет себе бороду, катается по земле, он уже видит сыщиков у своей двери, он уже видит себя облаченным в плащ приговоренного к смерти, он видит приготовленный для себя костер.

«— Друг мой, нежный друг мой, единственный друг мой, что мне делать?»

— Что делать? Не прятаться, подчеркивать свое полное спокойствие и вести себя, как обыкновенно. Делопроизводство трибунала происходит секретно, но протекает медленно; нужно использовать эту медлительность, чтобы все распродать. Я пойду найму или поручу нанять корабль, да, через третье лицо—это будет лучше. Мы погрузим ваше имущество, ведь главным образом они домогаются вашего имущества, и мы с вами отправимся вдвоем, чтобы свободно служить нашему богу под другим небом и чтобы в безопасности исполнять закон Авраама и нашей совести. Самое существенное при той опасности, в которой мы находимся,—не сделать ни одного неосторожного шага...»

Сказано, сделано. Корабль нанят, снабжен провиантом и матросами, имущество еврея погружено. Завтра на рассвете будут подняты паруса, они погут весело поужинать и спокойно спать. Завтра они ускользнут от своих преследователей. Ночью вероотступник поднимается, захватывает с собой бумажник еврея, его кошелек, его драгоценности, садится на корабль, и нет его... И вы думаете, это все! Ладно, вы промахнулись. Когда мне рассказали эту историю, я догадался о том, о чем я умолчал, чтобы испытать вашу сообразительность. Вы хорошо сделали, что стали честным человеком,—из вас мог бы выйти только мелкий мошенник. До сих пор вероотступник был только таким мошенником, это был только мелкий негодяй, которому никто не хотел бы подражать. Величие его злодеяния заключалось в том, что он сам оказался доносчиком на своего приятеля еврея, которого святая инквизиция схватила утром и который несколько дней спустя весело запылал на костре. Таким-то образом вероотступник спокойно сделался облада-

телем имущества этого проклятого потомка тех, кто распял нашего спасителя.

Я. Не знаю, что вселяет во мне больший ужас,—злодейство вашего вероотступника или тон, которым вы все это рассказываете.

Он. Об этом самом я вам и говорил. Жестокость поступка выводит вас за пределы презрения, и в этом причина моей искренности. Я хотел бы, чтобы вы знали, до какого предела дошло мое искусство; я хотел вырвать у вас признание, что я во всяком случае был оригинален в своей пошлости, я хотел в вашем сознании оказаться в ряду величайших мерзавцев и затем воскликнуть: Да здравствует Маскарилья, царь плутов! (*Vivat Mascarillus, fourbum imperator!*) Ну, живо, господин философ, хором: да здравствует Маскарилья, царь плутов!

(И тут он стал распевать совершенно оригинальную фугу,—то мелодия была величественной и полной торжественности, то легкой и веселой; он подражал то басу, то верхним партиям; он мне руками и вытянутой шеей указывал на ноты, требовавшие выдержки; он исполнял, импровизируя торжественное пение, из которого можно было усмотреть, что ему более известна хорошая музыка, чем хорошие нравы.)

Я не знал, оставаться ли мне или бежать, смеяться или возмущаться. Я решил повернуть разговор на другую тему, чтобы избавиться от внутреннего ужаса, меня охватившего. Меня начинало тяготить присутствие человека, рассуждавшего об этом поступке, об этом отвратительном злодействе таким тоном, каким специалист в живописи или в поэзии обсуждает красоты произведений искусства или каким моралист или историк вскрывает и освещает обстоятельства какого-нибудь героического поступка. Я поневоле впал в уныние; он заметил это и спросил:)

Он. Что с вами, вам плохо?

Я. Немножко, но это пройдет.

Он. У вас озабоченный вид человека, которого мучает какая-то мрачная мысль.

Я. Да, это верно...

(После некоторого обоюдного молчания, во время которого он, поспивывая и напевая, ходил взад и вперед, я спросил его, чтобы возобновить разговор об его таланте:)

Я. Что вы сейчас делаете?

Он. Ничего.

Я. Это очень утомительно.

Он. Я уже был достаточно глуп, а эта музыка Дюни и других наших молодых композиторов меня доконала.

Я. Вы одобряете этот жанр?

Он. Конечно.

Я. А вы находите эти новые романсы красивыми?

Он. Нахожу ли я? Чорт возьми,—безусловно. Как это исполнено, как правдиво, какая выразительность!

Я. Всякое подражательное искусство имеет своим образцом природу. Какой образец у музыканта, когда он пишет романс?

Он. Почему не поставить шире этот вопрос? Что такое пение?

Я. Признаюсь вам, что этот вопрос выше моих способностей. Мы так созданы, что у нас в памяти остаются только слова, которые мы понимаем, потому что мы ими часто пользуемся и правильно применяем, а в уме у нас неясные понятия. Когда я говорю слово «пение», то у меня не более отчетливое понятие, чем то, которое имеете вы и вам подобные, говоря: *репутация, хула, честь, порок, добродетель, стыд, благопристойность, позор, нелепость*.

Он. Пение есть подражание посредством звуков изобретенной благодаря искусству или, если вам угодно, внушенной природой шкале, причем безразлично, воспроизводится ли она голосом или инструментом; это есть подражание физическим звукам или выражениям страсти, и вы видите, что если произвести соответствующую замену, то определение вполне подойдет к живописи, красноречию, скульптуре и поэзии. Теперь вернемся к нашему вопросу и спросим, что является образчиком для музыканта или для пения? Это—речь, если образец живой и мыслящий; это—шум, если образец предмет неодушевленный. Речь нужно рассматривать как линию, а пение—как другую линию, которая извивается вокруг первой. Чем сильнее и выразительнее будет эта речь, являющаяся прообразом пения, тем соответствующее пение будет пересекать ее в большем количестве точек, тем выразительнее и прекраснее будет пение; и это очень хорошо почувствовали наши молодые музыканты. Когда мы слушаем: «Как жалок и несчастен я» («Je suis un pauvre diable»), то слышится жалоба скряги; если бы он и не пел, то все же слышались бы те же звуки, как при его словах, обращенных к земле, которой он повергает свое золото: «Земля, прими мое сокровище» («O terre reçois mon trésor»). А эта девочка, чувствующая, как дрожит ее сердце, краснеющая, смущающаяся, умоляющая хозяина ее отпустить, разве не так же ли она выражалась бы? В этих произведениях отобразились всевозможные характеры; в них заключено бесконечное разнообразие речи,—это прекрасно, уверяю вас. Пойдите, пойдите, послушайте арию, в которой молодой человек, чувствуя приближение смерти, восклицает: «Душа моя расстается с телом» («Mon coeur s'en va»)! Вслушайтесь в пение, вслушайтесь в симфонию, и вы мне потом скажете, какая разница между подлинным голосом умиряющего и строем напева; вы увидите, не совпадает ли целиком линия мелодии с линией речи. Я не говорю с вами о такте, который есть в свою очередь одно из условий пения; я касаюсь только выразительной стороны; нет ничего более меткого, как это определение, которое я где-то слышал: ударение есть питомник мелодии (*Musices semipagium accentus*). Подумайте в связи с этим, как трудно и как важно суметь хорошо написать речитатив. Из всякой хорошей арии можно сделать хороший речитатив, и из любого хорошего речитатива искусный человек сделает прекрасную арию. Я не решаюсь утверждать, что хороший декламатор может быть хорошим певцом, но я бы

удивился, если бы хороший певец не сумел хорошо декламировать. И вы должны верить всему, что я говорю, так как это правда.

Я. Я охотно поверил бы вам, если бы меня не останавливало одно сомнение.

Он. Какое сомнение?

Я. Ведь если бы эта музыка была образцовой, то несколько плоской должна была бы показаться музыка божественного Люлли, Кампра, Детуша, Мурэ и даже, между нами говоря, музыка вашего любезного дядюшки.

(Он ответил мне, наклонившись над моим ухом:)

Он. Мне не хотелось бы, чтобы меня слышали, так как здесь много народа, который меня знает; но, разумеется, и он таков же. Я говорю тихо не потому, что мне близок сердцу мой дядюшка, *любезный* дядюшка, как вы хотите его называть. Это камень,—ведь если бы у меня даже отсох язык, он мне не предложил бы стакана воды; но пусть он разделяет на своих октавах и септимах: хон-хон, хин-хин, ти-ти-ти, тир-ли-ти-ти в сопровождении кошачьего концерта; те, кто начинает разбираться в этом деле и кто больше не считает трескотню музыкой, этим никогда не удовольствуются. Всякому, как бы знатен он ни был и какое бы общественное положение он ни занимал, следовало бы полицейским приказом запретить исполнение «Stabat» Перголезе. Это «Stabat» следовало бы сжечь рукою палача. Честное слово, здоровых пинков нам надавали эти проклятые шуты с их «Служанкой-госпожей» («Servante Maître»), с их «Траколло»*. Было время, что «Танкред»**, «Иссэ»***, «Изысканная Европа», «Индия», «Кастор», «Лирические таланты»**** четыре, пять и шесть месяцев не сходили со сцены; представлениям какой-нибудь «Армиды»***** конца-края не было видно, а теперь все это рушится, как картонные домики. Зато Ребель и Фланкер мечут гром и молнии. Они говорят, что все пропало, что они разорены, и что, если еще долго продержится эта сволоочь, поющая на ярмарках, то национальная музыка полетит к чорту и торчащая в тупике Королевская академия должна будет прикрыть свою лавочку. Во всем этом есть доля правды. Эти выцветшие парики, которые в продолжение тридцати или сорока лет собираются там по пятницам, вместо того чтобы получать удовольствие, как было в старину, скучают и зевают неизвестно почему; они себя спрашивают и не знают, что ответить: обратились бы они лучше ко мне. Исполнится пророчество Дюни, и если так же пойдет и в будущем,—то умереть мне на месте—через четыре или пять лет, считая с первой постановки «Художника, влюбленного в свою натурщицу» («Peintre amoureux de son Modèle»)*****, собаки не найти в

* Речь идет о произведениях Перголезе.—*Ред.*

** «Танкред» и «Изысканная Европа»—оперы Кампра.—*Ред.*

*** Опера Детуша.—*Ред.*

**** Произведения Рамо.—*Ред.*

***** Опера Люлли.—*Ред.*

***** Опера Дюни.—*Ред.*

знаменитом тупике *. Чудаки! Они перестали исполнять свои симфонии и принялись за итальянские симфонии. Они воображают, что приучат свой слух к этим симфониям, не меняя стиля вокальной музыки, словно отношение симфонии к пению не соответствует отношению пения к действительной речи,—если только отвлечься от той небольшой вольности, которая вносится диапазоном инструмента и подвижностью пальцев. Разве скрипка не подражает певцу, который со временем может стать имитатором скрипки, если трудное восторжествует над красивым? Первый исполнитель Локателли сделался провозвестником новой музыки. Нас больше не проведешь; нас приучат подражать выражению страсти или явлениям природы—пением и голосом, инструментом, ведь к этому и сводится круг музыкальных объектов,—и все же мы должны будем сохранять наш вкус к взлетам, копьям, гимнам, триумфам, победам? Как бы не так! Они воображали, что, плача или смеясь над сценами музыкальной трагедии или комедии, воспринимая своими ушами выражение ярости, ненависти, ревности, подлинных жалоб, любви, иронии, шуток, итальянской или французской оперы, они останутся поклонниками «Рагонды» ** или «Платеи» ***. Фу-ты, ну-ты! Непрерывно чувствовать, с какой легкостью, гибкостью, нежностью гармония, просодия, эллипсисы, инверсии итальянского языка поддаются искусству, движению, экспрессии, строю пения и ритмизированной длительности звуков, и не чувствовать, насколько их язык топорен, невосприимчив, громоздок, тяжеловесен, педантичен и монотонен! Вот так так; они себя уверили, что, смешав свои слезы с плачем матери, оплакивающей смерть своего сына, содрогнувшись перед приказом тирана, предписывающим казнь, они не будут испытывать скуку от своих феерий, безвкусной мифологии, пошлых, сладеньких мадригалов, избобличающих как скверный вкус поэта, так и убожество соответствующего искусства. О, эти умники! Этого нет и не может быть. У истины, добра и красоты свои права. Сначала их оспаривают, но в конце концов ими восхищаются; что ими не запечатлено, может временно восхищать, но кончается тем, что вызывает зевоту. Зевайте, господа, зевайте, сколько вам будет угодно, не стесняйтесь! Врата адавы не одолеют царства природы, которое постепенно водворяется; царства моей троицы, где истина—отец, порождающий добро, которое есть сын, а из него возникает красота, которая есть святой дух. Чуждый бог смиренно водворяется в алтаре рядом с местным идолом; постепенно он утверждается; в один прекрасный день он вышибает своего сотоварища, и бац—идол шлепнулся. Говорят, будто так иезуиты насаждали христианство в Китае и в Индии,—и что бы ясенисты ни говорили, этот бесшумно достигающий своей цели политический метод, действующий без пролития крови, без мученичества, без клока вырванных волос, мне кажется наилучшим.

* Тупик, в котором помещалась французская «Опера».—*Ред.*

** Опера Мурэ.—*Ред.*

*** Опера Рамо.—*Ред.*

Я. Почти во всем, что вы мне сказали, есть смысл.

Он. Смысл? Тем лучше. Чорт меня подери, если тут есть какое-нибудь особое старание с моей стороны! Это выходит само собой; я действую, как музыкант в тупике, когда появился мой дядюшка. Если я попадаю в цель, то прекрасно. Любой угольщик лучше расскажет о своем ремесле, чем целая академия и все Дюамели на свете...

(И вот он начинает разгуливать, все время напевая различные арии из «Острова сумасшедших», из «Художника, влюбленного в свою натурщицу», из «Кузнеца» и из «Истицы», изредка вскрикивая и простирая руки и взор к небу). «Хорошо ли это, чорт возьми, хорошо ли это! Как можно иметь два уха и задавать подобные вопросы?» (Он начинал разгораться и про себя напевать. По мере того как он возбуждался, он повышал голос. Затем появились жесты, гримасы на лице и корчание тела. Я сказал себе: «Ну вот, он теряет голову, и нужно ждать нового представления».*

И в самом деле, вдруг он раздражается:)... «И жалок и несчастен я...», «Отпустите меня, сударь...», «Земля, прими мое золото, сохрани мое сокровище, мою душу, мою жизнь! О земля!..», «Вот наш дружок, вот наш дружок!..», «Ждѣть и не придти...», «Думал о Цербине...» и «Всегда с тобой в раздоре находиться...» (Он перемешивал и спутывал вместе десятки арий, итальянских, французских, трагических, комических, самых разнообразных стилей. То глубоким басом он уходил в преисподнюю, то, надрываясь и беря ноту фальцетом, он раздирает небесные выси; он подражал походке, осанке, жестам различных певцов; то он приходил в ярость, то смягчался, то делался властным, то скалил зубы. Вот девушка, заливающаяся слезами,— он изображает все ее жеманство; вот он священник, король, тиран; он угрожает, он приказывает, раздражается гневом; вот он раб, он повинуется, он успокаивается, приходит в отчаяние, жалуется, смеется. И всюду он схватывает тон, ритм, смысл слов и стиль арии.

Все шахматисты побросали свои доски и окружили его; снаружи все окна кафе оказались облепленными прохожими, остановившимися из-за шума. Взрывы хохота потрясали потолок. Он ничего не замечал; он продолжал петь, охваченный, словно безумием, близким к помешательству энтузиазмом, так что не ясно было, придет ли он в себя и не следует ли его посадить на извозчика и отправить непосредственно в сумасшедший дом под пение отрывка из «Жалоб» Джомелли. Он с исключительной точностью, искренностью и невероятным жаром повторял лучшие места каждой арии; он оросил потоком слез прекрасный речитатив, в котором пророк рисует разрушение Иерусалима, и все вокруг заплакали. Тут было все—и нежность напева, и сила выразительности, и скорбь. Он подчеркивал места, в которых особенно сказалось мастерство автора. Он

* Комические оперы Дюни.—Ред.

оставлял вокальную партию, чтобы перейти к аккомпанементу, который он внезапно прерывал, чтобы вернуться к голосу, вплетая одно в другое так, что сохранялась связь и единство целого; он завладевал нашими душами и держал их в таком состоянии своеобразного напряжения, которое я никогда не испытывал. Восхищался ли я им? Да, я им восхищался. Чувствовал ли я себя растроганным? Да, я был растроган, но какой-то привкус смешного примешивался к этим чувствам и искажал их.

Но вы расхохотались бы над его манерой подражать различным инструментам; выпучив и надув щеки, хриплым и мрачным голосом подражал он вальторнам и фаготам; для гобоя он пускал в ход звучные носовые ноты; он невероятно ускорял голос, подражая струнным инструментам и стараясь возможно ближе воспроизвести их звуки; он свистел на маленьких флейтах, он надрывался над поперечными флейтами; он кричал, пел, неистовствовал, как бешеный, один действуя за танцоров, танцовщиц, певцов, певиц, за весь оркестр, за целый оперный театр, и, распределяясь на десятки разнообразных ролей, он метался, в исступлении останавливаясь, сверкая глазами, испуская пену.

Была убийственная жара, пот струился по складкам его лба и вдоль щек, сюда же попадала пудра с волос, и все это текло и грязнило верхнюю часть его одежды. Чего только он ни делал на моих глазах! Он плакал, смеялся, вздыхал, он смотрел то умильно, то спокойно, то гневно. То это была женщина вне себя от скорби, то это был несчастный, отдавшийся всецело отчаянию, то это воздвигающийся храм, то это птицы, стихающие при закате солнца, то воды, журчащие в уединенном и прохладном месте или бурным потоком стекающие с вершины гор; это гроза, буря, жалоба обреченных на гибель, смешавшаяся с шумом ветра и раскатами грома. То это была ночь с ее мраком, тень и тишина, так как даже тишину можно изобразить звуками. Он совсем потерял голову.

Он вдруг остановился, неподвижно, ничего не понимая, удивленный, совершенно обессиленный, как человек, проснувшийся от глубокого сна или долгой задумчивости. Он осматривался вокруг, как заблудившийся, желая узнать место, где он находится. Он ждал, что к нему вернутся его силы и сознание; машинально он вытирал свое лицо. Подобно человеку, проснувшемуся и увидавшему свою кровать окруженной большим числом людей, в полном забвении или глубоком неведении того, что он сделал, он тотчас воскликнул: Ну, господа, что же случилось? Чему вы смеетесь и удивляетесь? Что случилось?.. (Затем он сказал:) Вот что называется музыка и музыкант! Но, господа, не следует презрительно относиться к некоторым ариям Люлли. Попробуйте лучше написать сцену «Дождусь утра», не меняя слов,—держу пари со всяким, что это вряд ли удастся. Не следует пренебрежительно относиться к некоторым местам из Кампра, к скрипичным мелодиям моего дядюшки, к его гавотам, солдатским маршам, шествиям священников и жрецов: «Тусклые факелы», «Страш-

ней потомок этот день», «Владыка пренесподней, владыка забвения»*. (Тут он напряг свой голос, выдерживая звуки; соседи стали заглядывать в окна, а мы заткнули пальцами уши. Он сказал:) Здесь нужны легкие, большой голос, много воздуха. На-днях будет вознесение; пост и крещение прошли, а они все еще не знают, что нужно положить на музыку, поэтому не понимают, что подходит музыканту. Лирическая поэзия еще не родилась, но поэты появятся после прослушания Перголесе, Саксонца, Террадельи, Траэтты и других. Читая Метастазео, они, конечно, научатся поэзии.

Я. Что такое! По-вашему, Кино, Ламот, Фонтенель ничего не смыслили в этом деле?

Он. Нет, нового стиля они не знали. В их прекрасных поэмах нельзя выбрать и шести стихов подряд, чтобы положить их на музыку. Это остроумные афоризмы, легкие, чувствительные и изящные мадригалы. Но чтобы понять, как тут мало материала для нашего искусства, достаточно взять самого мощного писателя, даже того же Демосфена, и попробовать продекламировать отдельные отрывки, и все это вам покажется холодным, вялым и монотонным. Дело в том, что здесь нет ничего, что могло бы послужить образцом для пения; также можно положить на музыку «афоризмы» Ларошфуко или «мысли» Паскаля. Животный крик страсти должен послужить нам путеводной нитью, ее выражения должны нагромождаться друг на друга, нужно, чтобы фразы были короткими, чтобы смысл был отчетливым, резким; чтобы композитор мог овладевать как частями, так и целым, мог бы опустить слово или повторить его, прибавить то, чего недостает, поворачивать фразу в разные стороны, не разрушая ее, как полипа. Это делает французскую лирическую поэзию гораздо более недоступной, чем поэзию других языков, допускающих перестановки слов и имеющих сами по себе все эти преимущества... *Жестокий варвар, вонзай свой кинжал в мою грудь; я готова принять роковой удар; вонзай смелее!.. О! Я таю, я умираю... Скрытый огонь воспламеняется в моих чувствах... Жестокая любовь, чего ты от меня хочешь? Верни мне сладкий покой, которым я наслаждался... Верни мне мой разум...* Страсти должны быть сильными; нежность музыканта или лирического поэта должна быть исключительной; ария должна почти всегда завершать сцену. Нам нужны восклицания, междометия, задержки, остановки, утверждения, отрицания; мы зовем, мы зываем, мы кричим, мы вздыхаем, мы плачем, мы смеемся от всего сердца. Не нужно ни остроумия, ни эпиграмм, ни прекрасных мыслей,—все это слишком далеко от простой природы. И не думайте, что игра актеров в театре и их декламация могут служить нам образцом. Еще что! Нам нужен более мощный, не такой манерный, более подлинный образец; чем монотоннее наш язык и чем менее он выразителен, тем более нам необходима простая речь, обыкновенный голос страсти.

* Арии из оперы Рамо «Кастор и Поллукс».—Ред.

Крик животного или человека, раздираемого страстью, придает выразительность этим речам.

(Когда он стал все это высказывать, окружающая нас толпа рассеялась,—она или ничего не понимала или выказывала мало интереса к его словам: ведь вообще ребенок, как и взрослый, и взрослый, как и ребенок, предпочитают забаву поучению; все вернулись к своей игре, и мы остались одни в нашем углу. Сидя на скамейке, прислонившись головой к стене, свесив руки и полузакрыв глаза, он сказал мне:)

Он. Не знаю, что со мной; когда я пришел сюда, я был бодр и весел, а теперь я весь разбит и разломац, как будто бы я прошел десять миль. Это сразу меня обессилило.

Я. Не хотите ли освежиться?

Он. Охотно. Я охрип, ослаб, и у меня немножко болит грудь. Это со мной случается почти ежедневно, и я не знаю почему.

Я. Чего вы желаете?

Он. Что вам угодно. Мне нетрудно угодить. Меня нужда приучила приспособляться ко всему.

(Нам дали пива, лимонаду; он наполнил большой стакан, который осушил два или три раза. Потом, словно возродившись, он сильно кашлянул, заволновался и продолжал:)

Он. А по вашему мнению, господин философ, не удивительно ли это, что иностранец, итальянец, какой-то Дюни обучает нас выразительности в нашей музыке и заставляет нас подчинять наше пение всем этим движениям, разнообразным тактам, всем этим интервалам, декламации, не причиняя ущерба просодии? Ведь это не было чем-нибудь недоступным. Ведь всякий, кто слышал нищих, просящих милостыню на улице, людей в припадке гнева, ревнивую и разъяренную женщину, пришедшего в отчаяние любовника, льстеца, да льстеца с его вкрадчивыми речами, сладким голосом растягивающего слоги,—коротко говоря, всякий, кто слышал слово страсти, безразлично какой, лишь бы она по своей силе достойна была служить образцом музыканту, должен был обратить внимание на два обстоятельства: первое—что длинные и короткие слоги не имеют никакой постоянной длительности, не подчинены даже определенному соотношению по их длительности; что страсть пользуется просодией по своему произволу, что она допускает самые большие интервалы и что тот, кто в приступе скорби восклицает: «О я, несчастный!»—произносит восклицаемый слог самым высоким и резким тоном, а другие слоги—низким и глубоким голосом, делая скачок на октаву или даже больший интервал и придавая каждому звуку долготу, подходящую к строю мелодии, и это не режет уха, хотя ни длинный, ни краткий слог не сохраняют длительности или краткости спокойной речи. Как далеко мы шагнули вперед по сравнению с тем временем, когда мы приводили, как чудо музыкальной декламации, вставные арии из «Армиды»: «Соперник твой Рено, коль быть им кто-то может», и из «Индийской любви» арию: «Послушны мы ее приказу». Теперь эти

чудеса заставляют меня с презрением пожать плечами. При той быстроте, с которой развивается искусство, я не знаю, к чему оно приведет. А пока давайте выпьем.

(И он выпил два, три стакана, не сознавая, что он делает. Он мог затопить себя, как до этого он себя истощил, не замечая этого, если бы я не отодвинул бутылки, которую он рассеянно искал. Тогда я ему сказал:)

Я. Как возможно, что при таком тонком вкусе, при такой величайшей восприимчивости к красотам музыкального искусства вы так слепы к прекрасным поступкам в морали и так нечувствительны к прелестям добродетели?

Он. Очевидно, для них нужна чувствительность, нужна жилка, которой у меня нет; у меня слабая жилка—она не реагирует, сколько бы ее ни возбуждали; или, может быть, это происходит потому, что я всегда жил среди хороших музыкантов и злых людей, благодаря чему мое ухо сделалось очень восприимчивым, а мое сердце—глухим. И, кроме того, здесь что-то наследственное; ведь у моего отца и у моего дяди одинаковая кровь, и у меня та же кровь, что у отца. Отцовская молекула была жестка и тупа, и эта первоначальная проклятая молекула подчинила себе все остальное.

Я. Вы любите вашего ребенка?

Он. Я люблю его, этого маленького дикаря! Я без ума от него.

Я. Разве вы не хотите избавить его от возможного результата проклятой отцовской молекулы?

Он. Я уверен, что мои труды пропали бы даром. Если ему предназначено стать хорошим человеком, я не принесу ему вреда, но если бы молекула захотела, чтобы он стал негодяем, как его отец, то все мои старания сделать его честным человеком были бы для него очень вредны. Если бы воспитание все время шло вразрез с направлением молекулы, то ребенок разрывался бы в двух противоположных направлениях, и он шел бы по своему жизненному пути, уклоняясь в стороны,—я вижу множество таких людей, которые одинаково неспособны ни к добрым, ни к злым делам. Это то, что мы называем отродьем—самый грозный эпитет, потому что он обозначает посредственность и последнюю степень презрения. Великий негодяй есть великий негодяй, но это не отродье. До тех пор пока отцовская молекула не одержит в ребенке верх и не доведет его до состояния полнейшей низости, в котором я погряз, понадобится бесконечное время, и он потеряет свои лучшие годы. Я ничего не предпринимаю, я предоставляю его себе. Я за ним наблюдаю,—он уже обжора, хитрый, мошенник, лентяй, лжец; боюсь, что он сохранит родовой признак.

Я. И вы его сделаете музыкантом, чтобы сходство было полным?

Он. Музыкантом! Музыкантом! Иногда я смотрю на него, скрежеща зубами, и говорю: если бы ты хоть когда-нибудь узнал одну ноту, я бы тебе свернул шею.

Я. А почему, скажите мне, пожалуйста?

Он. Это ничего не даст.

Я. Это даст все.

Он. Да, если достигнуть чего-нибудь выдающегося; но кто может обещать, что его ребенок будет выдающимся? Десять тысяч шансов против одного, что из него выйдет такой же плохой скрипач, как я. Знаете ли вы, что, быть может, легче найти ребенка, способного со временем управлять королевством, сделаться великим королем, чем способного сделаться великим скрипачом?

Я. Мне кажется, что хорошие, даже средние таланты в безнравственном обществе, погрязшем в разврате и роскоши, быстро продвигают человека в его карьере. Я сам слышал разговор между своего рода патроном и его протеже; этот последний обратился к первому, как к услужливому человеку, который может ему помочь:

— «В чем вы сведущи, сударь?

— Я неплохо знаю математику.

— Ну что же, преподавайте математику; протрепавшись десять или двенадцать лет на парижских улицах, вы будете иметь ренту в триста-четырееста ливров.

— Я изучал законодательство, и я знаю право.

— Если бы Пуффендорф и Гроций восстали из мертвых, они умерли бы с голоду под забором.

— Я очень хорошо знаю историю и географию.

— Если бы существовали родители, которые принимают близко к сердцу воспитание своих детей, ваше будущее было бы обеспечено. Но таких родителей не существует.

— Я довольно хороший музыкант.

— Ах! Почему же вы не сказали этого раньше? Чтобы вам показать, какую пользу можно извлечь из этого таланта, я вам скажу, что у меня есть дочь; приходите ежедневно от половинны восьмого вечера до девяти, вы ей будете давать уроки, и я вам буду платить по двадцать пять луидоров в год. Вы будете с нами завтракать, обедать, полдничать и ужинать; остальная часть дня будет в вашем распоряжении, вы будете ею располагать по собственному усмотрению».

Он. И что же случилось с этим человеком?

Я. Если бы он был благоразумен, у него было бы состояние—то единственное, что, повидимому, вы имеете в виду.

Он. Конечно, все дело в золоте; золото—все, остальное же без золота—ничто. Поэтому, вместо того чтобы набивать ему голову мудрыми наставлениями, которые следует поскорее забыть—иначе превратиться в нищего, я, если в моем распоряжении имеется луидор,—что не часто со мной случается,—сажусь против него, вытаскиваю луидор из кармана, показываю его с восторгом, возношу взоры к небу, целую пред ним луидор и, чтобы еще больше заставить его ценить священную монету, бормочу, показываю пальцами все, что можно на нее приобрести,—хорошенькое детское платьице,

красивую шапочку, вкусный бисквит. Затем я кладу луидор в карман, гордо разгуливаю, поднимаю полу своего камзола и похлопываю рукой по карману; так я заставляю его понять, что мое чувство уверенности, которое он во мне замечает, зависит от луидора.

Я. Лучшего не придумаешь; но что бы произошло, если бы, глубоко поверив в ценность луидора, он в один прекрасный день?..

Он. Я вас понимаю. На это следует смотреть сквозь пальцы; нет ни одного морального принципа, который не имел бы своей неудобной стороны. В худшем случае пришлось бы провести скверную четверть часа, только и всего.

Я. Даже при таких смелых и мудрых взглядах я продолжаю настаивать, что было бы хорошо сделать из него музыканта. Я не знаю лучшего средства, чтобы скорее сойтись со знатными людьми, чем потакать их порокам и извлекать пользу из своих.

Он. Правильно; но у меня есть планы, обещающие более быстрый и верный успех. Ах, если бы это была девочка! Но это зависит не от нас, нужно брать то, что дается, извлекать из него выгодную сторону и не давать нелепым образом спартанского воспитания ребенку, которому предстоит жить в Париже, как поступает большинство отцов, которые не могли бы придумать ничего худшего для гибели своих детей. Если воспитание плохо, то в этом виноваты нравы моей нации, а не я. Пусть отвечает, кто может; я хочу, чтобы мой сын был счастлив или был бы человеком уважаемым, богатым и могущественным,—а это то же самое. Я немножко знаком с наиболее легкими путями, которые ведут к этой цели, и я хочу заблаговременно их ему указать. Если вы, умники, меня осуждаете, то толпа будет на моей стороне, и успешный результат меня оправдает. Он будет владеть золотом,—я вам это говорю. Если у него окажется много золота, то он ни в чем не будет иметь недостатка,—даже в вашем почете и уважении.

Я. Вы можете ошибиться.

Он. Или он обойдется и без этого, как обходятся многие другие.

(Во всем этом было много такого, что держишь в голове и чем руководишься в жизни, но об этом не говорится вслух. Вот в действительности, в чем заключается главная разница между моим героем и большинством людей, нас окружающих. Он сознавался в своих пороках, свойственных и другим; но он не был лицемером. Он был не более и не менее отвратительным, чем они, он был только откровеннее и последовательнее, а порой и глубокомысленнее в своей испорченности. Я дрожал при мысли о том, во что превратится его ребенок при подобном наставнике. Ясно, при этом взгляде на воспитание, столь соответствующем нашим нравам, он пошел бы далеко, если ничто заблаговременно не остановит его на этом пути.)

Он. О! вам нечего опасаться: главная задача, трудная задача, с которой хороший отец должен больше всего считаться,—не в том,

чтобы привить ребенку пороки, которые его обогатят, привить комизм, который будет оценен знатно,—так поступают все, правда, не так систематически, как я, но с помощью примера и наставления; центр тяжести в том, чтобы определить надлежащую меру, научиться искусству не краснеть, не чувствовать бесчестия и обходить законы. Это уклонения в общественной гармонии, которые должны быть правильно размещены, подготовлены и выдержаны. Нет ничего более однообразного, как последовательный ряд совершенных аккордов; необходимо что-нибудь острое, что расщепляло бы луч света и дробило его на цвета.

Я. Отлично; этим сравнением вы меня от вопросов нравственности снова приводите в область музыки, от которой я невольно отклонился, и я вам очень благодарен, ибо,—буду откровенен,—я в вас больше ценю музыканта, нежели моралиста.

Он. Но ведь я очень посредственный музыкант и—прекрасно разбираюсь в морали.

Я. Сомневаюсь; но пусть будет так; я же простой человек, и ваши принципы—не для меня.

Я. Тем хуже для вас. Ах, если бы я обладал вашими талантами!

Он. Оставим мои таланты и обратимся к вашим.

Он. Если бы я умел изъясняться, как вы! Но у меня какая-то мешанина пошлейшей болтовни,—наполовину светский и литературный язык, наполовину—площадной.

Я. Я плохо выражаюсь; я умею говорить только правду, а это, как вы знаете, не всегда попадает в цель.

Он. Но я желаю иметь ваш талант не для того, чтобы говорить правду, а, наоборот, чтобы уметь хорошо лгать. Если бы я умел писать, кропать книги, свернуть надпись с посвящением, затуманить глупца рассказами о его достоинствах, подольщаться к женщинам!

Я. И все это вы умеете в тысячу раз лучше меня. Я был бы даже недостоин стать вашим учеником.

Он. Сколько пропало великих качеств, цену которых вы не знаете!

Я. Во всем этом я претендую на то, чего заслуживаю.

Он. Если бы было так, то вы не носили бы этой грубой одежды, этого жалкого сюртука, этих шерстяных чулок, этих тяжелых башмаков и этого старомодного парика.

Я. Согласен; кто позволяет себе все ради достижения богатства, тот должен быть очень неловок, если остается бедняком. Но существуют люди, подобные мне, которые не смотрят на богатство, как на самую ценную в мире вещь: странные люди.

Он. Очень странные; с такими извращенными мыслями мы не родимся; мы их себе прививаем, так как это есть нечто чуждое природе.

Я. Природе человека?

Он. Человека; все живое, не исключая человека, ищет своего благополучия на счет того, кто может что-либо дать, и я уверен, что, если бы я этого маленького дикаря предоставил самому себе,

ничего ему не внушая, он стремился бы к богатой одежде, к роскошной еде, к ласкам со стороны мужчин, к любви женщин и стяжанию всяческого жизненного благополучия.

Я. Если бы этот маленький дикарь был предоставлен самому себе, если бы он сохранил все свое неразумие и к слабому уму грудного ребенка присоединил бы силу страсти тридцатилетнего мужчины, он удавил бы своего отца и обесчестил бы свою мать.

Он. Это доказывает необходимость хорошего воспитания. Но кто это отрицает? И что такое хорошее воспитание, как не то, которое приводит ко всяким наслаждениям, без опасностей и неудобств?

Я. Я почти согласен с вами; но воздержимся от объяснений.

Он. Почему?

Я. Потому что я опасуюсь, что наше согласие только кажущееся и что, если мы начнем обсуждать, каких опасностей и неудобств следует избегать,—мы разойдемся.

Он. Ну и что же из этого?

Я. Оставим это, прошу вас. То, что мне известно по данному вопросу, я не сумею вам внушить; вам легче научить меня тому, чего я не знаю и что вам известно в области музыки. Дорогой Рамо, поговорим о музыке. Скажите мне, как случилось, что в ней вы не дали ничего ценного, несмотря на вашу способность чувствовать, на вашу музыкальную память, умение воспроизводить лучшие места из великих композиторов, несмотря на тот энтузиазм, который они вам внушают и который вы передаете другим?

(Вместо ответа он стал качать головой и, подняв к небу палец, воскликнул:) «А звезда! звезда! Природа улыбалась, когда создавала Лео, Винчи, Перголезе, Дюни; она приняла торжественный и внушительный вид, создавая моего дорогого дядюшку Рамо, которого в продолжение десяти лет будут называть великим Рамо и о котором вскоре перестанут говорить. Когда она мастерила его племянника, она сделала гримасу, еще одну гримасу и, наконец, третью. *(Говоря эти слова, он гримасничал на все лады: здесь было выражение презрения, брезгливости, иронии; казалось, что он своими пальцами месит тесто, улыбаясь смешным формам, которые он придавал тесту, затем он далеко от себя отшвырнул нелепую фигурку и сказал:)* Вот как она меня создавала и в каком виде она меня бросила наряду с другими фигурками, из которых одни были с большими, дряблыми животами, с короткими шеями, с выпученными глазами, апоплексическими, другие были с кривой шеей; были и сухопарые, быстроглазые, с носами крючком. Все начали покатываться со смеху, увидев меня, а я подбоченился и тоже стал надрываться со смеху, глядя на них, потому что дураки и сумасшедшие потешают друг друга; они ищут друг друга, они чувствуют взаимное влечение. Если бы, оказавшись среди них, я не имел готовой поговорки: *деньги глупцов—достояние умных*, то мне пришлось бы ее придумать. Я почувствовал, что природа вложила мою законную долю в кошелек этих уродцев, и я придумал тысячу средств, чтобы извлечь ее оттуда».

Я. Я знаю эти средства; вы мне о них говорили, и я был от них в восторге; но, имея столько возможностей, почему не постараться создать хорошее произведение?

Он. Это напоминает мне слова светского человека, сказанные аббату Леблану. Аббат говорил: «Маркиза Помпадур берет меня под свое покровительство и подводит меня к порогу академии, там она отдергивает руку, я падаю и ломаю себе обе ноги». Светский человек ему ответил: «Нужно было подняться и пробить дверь ударом головы». Аббат ему возразил: «Это я и пытался сделать, и знаете, к чему это привело,—к шишке на лбу...»

(Рассказав этот анекдот, мой приятель начал расхаживать с опущенной головой, с сосредоточенным и подавленным видом; он вздыхал, плакал, впадал в отчаяние, простирая к небу руки и глаза, бил себя кулаком по голове, так что мог бы проломить себе голову или отбить пальцы, и говорил:) «Мне кажется, что все же здесь есть что-то, но сколько бы я ни бил, ни тряс, ничего из нее не выходит». *(Затем он вновь принялся трясти головой и изо всех сил бить себя по лбу, говоря:)* «Или здесь никого нет, или мне не хотят отвечать».

(Минуту спустя он принял гордый вид, поднял голову и, приложив правую руку к сердцу, стал расхаживать, говоря:) «Я чувствую, да, я чувствую...»

(Он передразнивал человека, который сердится, негодует, умиляется, распоряжается, умоляет, и экспромтом произносил гневные речи, говорил словами сострадания, ненависти, любви, он необыкновенно тонко и правдиво воспроизводил страстные темпераменты, затем он сказал:) «Кажется так, вот дело идет на лад; вот что значит найти акушера, который умеет возбудить, ускорить схватки и заставить ребенка выйти. Когда я один, я берусь за перо, я хочу писать; я грызу ногти, я морщу лоб; покойной ночи, божество отсутствует; я убедился в собственной гениальности, а в конце написанной строчки я читаю, что я дурак, дурак, дурак. Но как можно чувствовать, возвыситься духом, мыслить, ярко живописать, вращаясь среди таких людей, с которыми общаешься для того, чтобы жить; когда говоришь и слышишь следующие разговоры: «Нынче было чудесно на бульваре. Вы слышали маленькую Мармот, она восхитительно играет? У такого-то господина—прекрасный выезд: серые лошади в яблоках, так что трудно себе вообразить. Госпожа такая-то отцветает. Разве в возрасте сорока пяти лет можно носить такую прическу? Молодая такая-то усыпана бриллиантами, которые ей дешево достаются.

— Вы хотите сказать,—дорого?

— Нет.

— Где вы ее видели?

— На «Потерянном и найденном сыне арлекина»*.

— Сцена отчаяния еще никогда так не разыгрывалась. Ярмарочный паяц горласт, у него нет нежности, нет души. Такая-то госпожа

* Пьеса Гольдони.—Ред.

родила двойно, у каждого отца будет свой ребенок...» И вы думаете, что ежедневное слушание и повторение подобных вещей вдохновляет и приводит к великим делам?

Я. Нет, лучше запереться на своем чердаке, пить воду, есть сухой хлеб и углубиться в самого себя.

Он. Может быть, но у меня на это нехватит смелости. И потом пожертвовать своим счастьем сомнительному успеху! А имя, которое я ношу? Рамо!.. Это стеснительно называться Рамо. Таланты—не дворянство, которое передается от поколения к поколению и слава которого возрастает при переходе от деда к отцу, от отца к сыну и от сына к внуку без того, чтобы предок требовал какой-нибудь заслуги от своего потомка. Старое колено разветвляется на бесконечное число поколений глупцов. Но что из того? С талантом дело обстоит иначе. Чтобы достигнуть славы своего отца, нужно быть лучше его, нужно суметь унаследовать его жилку... Жилки мне не досталось, но рука размялась, смычок ходит, горшок кипит: если нет славы, то есть бульон.

Я. На вашем месте я не считал бы, что дело сделано, я пытался бы продолжать.

Он. А вы думаете, я не пробовал? Мне не было пятнадцати лет, когда я сказал себе: «что с тобою, Рамо, ты мечтаешь, о чем ты мечтаешь? Тебе бы хотелось, чтобы ты сделал,—или что ты сделаешь,— нечто, вызывающее восхищение всего мира... Ну и что же? Кажется, будто достаточно подуть, пошевелить пальцами, будто тят-да-ляп—да и корабль». Когда я подрос, я всё повторял свои детские речи; и сейчас еще я их повторяю и всё продолжаю стоять около статуи Мемнона?

Я. Что вы хотите сказать вашей статуей Мемнона?

Он. Мне кажется, это ясно. Вокруг статуи Мемнона было бесчисленное множество других, на них тоже падали лучи солнца; но отозвалась только она одна*. Поэт, это—Вольтер, а кто еще?—Вольтер; а третий кто?—Вольтер; а четвертый?—Вольтер. Музыкант, это—Ринальдо из Капуи, это—Гассе, это—Перголезе, это—Альберти, это—Тартини, это—Локателли, это—Терраделья, это—мой дядя; это—маленький Дюни, у которого нет ни осанки, ни фигуры, но у которого есть, чорт возьми, чувство, есть экспрессия, который по-настоящему поет. Все же остальное, по сравнению с этим небольшим количеством Мемнонов, просто пара ушей, прикрепленных к концу палки; поэтому мы и нищи, так нищи, что просто прелесть. О, господин философ, нищета—страшная вещь! Я вижу ее, как она, скрюченная. сидит с разинутым ртом, чтобы подхватить несколько капелек ледяной воды, вытекающей из бочки Данаид**. Не знаю, обостряет ли она ум

* Статуя Мемнона, как повествует легенда,—в момент разрушения издавала стоны.—*Ред.*

** Дочери легендарного греческого царя Даная за убийство своих мужей были осуждены в аду вечно лить воду в бочку без дна. *Ред.*

философа, но она чертовски охлаждает голову поэта; под такой бочкой не запосешь. Счастлив тот, кто может там приютиться, я там побывал, но не смог удержаться. Однажды я уже сделал эту глупость. Я путешествовал в Богемии, в Германии, в Швейцарии, в Голландии, во Фландрии, у чорта на куличках.

Я. Под пробитой бочкой?

Он. Под пробитой бочкой. Жил богатый еврей. Он был расточителем, любил музыку и мои штучки. Я музицировал, как бог на душу положит; валял дурака; ни в чем не нуждался. Мой еврей был законником и соблюдал закон строже строгого, с друзьями—иногда, с чужими—всегда. Он впутался в грязное дело, которое я вам расскажу,— это вещь занятная.

В Утрехте жила очаровательная куртизанка, он соблазнился христианочкой, отправил к ней сводника с солидным векселем. Капризное создание отвергло его предложение. Еврей впал в отчаяние. Сводник ему сказал: «К чему так огорчаться? Если вы хотите иметь красивую женщину, это проще простого, и вы даже будете владеть более красивой женщиной, чем та, за которой вы гоняетесь. Это моя жена, и я вам ее уступлю за ту же цену». Сказано—сделано. Сводник берет себе вексель, и мой еврей проводит ночь с женой сводника. Наступает срок уплаты по векселю. Еврей дает его опротестовать и отказывается оплатить. Начинается процесс. Еврей заявляет: «Никогда этот человек не посмеет сказать, какой ценой он получил с меня вексель, а я не уплачу». В присутствии суда он спрашивает сводника:

— Откуда у вас вексель?

— От вас.

— Под деньги, данные заимообразно?

— Нет.

— Под доставленные товары?

— Нет.

— За оказанные услуги?

— Нет; но не в этом дело. У меня вексель, вы его подписали, и вы его оплатите.

— Я его не подписывал.

— Значит, я его подделал?

— Вы или то лицо, чьим агентом вы были.

— Я трус, а вы негодяй; поверьте мне, и не доводите меня до крайности, иначе я все расскажу, себя я обещешу, но и вас погублю.

Еврей не принял во внимание угрозы, и сводник разоблачил все дело на ближайшем заседании суда. Они оба были обещены: еврей приговорен к уплате по векселю, а соответствующая сумма передана на помощь бедным. Тогда я с ним расстался и вернулся сюда.

Что было делать? Ведь предстояло погибнуть от нищеты или что-нибудь предпринять. Всевозможные проекты носились у меня в голове. То я думал завтра же поступить в провинциальную труппу, будучи одинаково хорош или плох и для театра и для оркестра. На следующий день я предполагал заказать одну из тех картин, которые

прикрепляют к шесту и ставят на перекрестке, где бы я кричал во всю глотку: «Вот город, где он родился. Вот он прощается со своим отцом—аптекарем. Вот он приезжает в столицу в поисках жилища своего дяди... Вот он на коленях перед своим дядей. Тот его прогоняет... Вот он с евреем», и так далее, и так далее. На следующее утро я вставал с твердым намерением присоединиться к уличным певцам. Это было бы вовсе не так плохо. Мы бы задавали концерты под окнами моего дорогого дядюшки, который бы околел от злости. Я принял другое решение...

(Здесь он остановился, изменив позу человека, держащего скрипку и перебирающего струны, на позу жалкого бедняка, изнемогшего от усталости, обессиленного, с подкашивающимися ногами, который вот-вот испустит последнее дыхание, если ему не бросят куска хлеба; он изображал свою острую нужду жестом пальца, направленного на полуоткрытый рот, а затем сказал:)

— Ну, конечно, мне бросали огрызок; мы же, трое или четверо голодных, ссорились из-за него... И вот в такой беде попробуйте-ка мыслить возвышенно и создавать прекрасные вещи.

Я. Это трудно.

Он. Так, прыгая со ступеньки на ступеньку, я, наконец, попал в дом, где я катался, как сыр в масле. Оттуда меня выгнали. Снова придется пикивать по струнам и снова пальцами указывать на разнунутый рот. В этом мире нет ничего прочного; сегодня колесо счастья меня вознесло, а завтра скинулю. Нами распоряжаются проклятые случайности и распоряжаются скверно...

(Затем, залом выпивши остатки со дна бутылки и обращаясь к своему соседу, он сказал:) Господин, из милости, щепотку табаку. У вас хорошая табакерка. Вы не музыкант?

— Нет.

— Тем лучше для вас,—это жалкие плуты; им нужно посочувствовать. Судьба захотела, чтобы я был таким плутом, а на Монмартре, на мельнице мельник или его помощник никогда ничего не услышит, кроме шума мельницы, между тем он мог бы сочинять прекраснейшие песни. Рамо! На мельницу, на мельницу, это твое место.

Я. Природа каждого предназначила к тому, к чему он прилагает свой труд.

Он. Она часто делает удивительные промахи. Что касается меня, я не могу подняться на ту высоту, при взгляде с которой все сливается: и человек, подрезающий ножницами дерево, и гусеница, точащая лист; с такой высоты видны только два различных насекомых—и всякое за своей работой. Взберитесь на планетный путь Меркурия и оттуда, если это вам нравится, попробуйте подражать Реомюру, распределяющему семейство мух на портных, землемеров, сенокосцев; а вы распределите породу людей на столяров, плотников, кровельщиков, танцоров, певцов,—это ваше дело; я в это не вмешиваюсь. Я нахожусь в этом мире и в нем остаюсь. Но если это в порядке вещей иметь аппетит, то я нахожу, что это беспорядок, когда не всегда

имеешь пищу,—а к аппетиту я неизменно обращаюсь, как к чувству, которое мне постоянно присуще. Какая дьявольская экономия! Одни жрут все, что угодно, между тем как другие, у которых такой же не-сносный желудок и такое же неизменно возвращающееся чувство голода, не знают, чем перекусить. Всего хуже то неестественное положение, в котором нас держит нужда. Человек в нужде не ходит так, как всякий другой,—он прыгает, ползает, крутится, тащится; его жизнь в том, чтобы придумывать себе различные позы и принимать их.

Я. Что вы понимаете под позами?

Он. Спросите это у Новерра. В действительности их гораздо больше, чем их может избобрести его искусство.

Я. И вы также, если воспользоваться вашим выражением или выражением Монтэня, *взобрались на планетный путь Меркурия* и рассматриваете различные пантомимы рода человеческого.

Он. Нет, нет, говорю вам. Я слишком громоздок, чтобы взбираться так высоко. Предоставляю другим витать под облаками, я же слишком привязан к земле. Я оглядываюсь вокруг себя и принимаю различные позы или забавляюсь, глядя на позы, принимаемые другими; я прекрасный подражатель, как вы в этом убедитесь.

(Он начал улыбаться, подражая человеку, застывшему в восхищении, человеку умоляющему и служающему. Правая нога выставлена у него вперед, левая отставлена назад, спина согнута, голова приподнята, взор словно прикован к чужим глазам, рот разинут, руки протянуты к какому-то предмету; он ждет приказания, он его получает, он летит, как стрела, он возвращается, он исполнил приказание, он докладывает; он—весь внимание; он поднимает что-то упавшее, он подставляет подушечку или табурет под ноги, он держит блюдечко, он придвигает стул; открывает дверь; закрывает окно, задергивает занавески, наблюдает за хозяином и хозяйкой; он застыл, опустив руки, сдвинув ноги; он слушает, он хочет читать на лицах и говорит:)

Вот моя пантомима, приблизительно такая же, как у льстецов, царедворцев, лакеев и нищих.

(Дурачество этого человека, рассказы аббата Галиани, выходы Раблэ повергали меня иногда в глубокие думы. Это три источника, где я окружен смешными масками, которые я надеваю на лица самых высокопоставленных особ; в прелате я усматриваю Панталеоне, в президенте—сатира, в монахе—свинью, в министре—страуса, в первом его секретаре—гуся.)

Я. По вашему исчислению,—сказал я своему знакомцу,—в этом мире имеются-таки бедняки, и я не знаю никого, кому бы не были свойственны некоторые *па* вашего танца.

Он. Вы правы; во всем королевстве *ходит* только один человек—таков глава государства; все остальные *принимают позы*.

Я. Глава государства? Тут можно кое-что добавить. Не полагаете ли вы, что временами он встречается с маленькой ножкой, хорошенькой прической, маленьким носиком, которые заставляют его заняться

пантомимой? Если кто-нибудь нуждается в другом, то он—нуждающийся и принимает ту или иную позу. Король принимает известную позу перед своей любовницей и продельвает свои *па* в пантомиме перед богом. Министр перед своим королем выделяет *па* царедворца, льстеца, лакея и нищего. Толпа честолюбцев вытанцовывает ваши *па* перед министром на сотню ладов, один отвратительнее другого. Высокоставленный аббат со своими брыжжами, в своей длинной мантии по крайней мере раз в неделю продельвает это *па* перед лицом, раздающим бенефиции. Честное слово, то, что вы называете пантомимой нищих, есть великая хороводная пляска всего мира. У каждого своя маленькая Гюс и свой Бертэн.

Он. Мне это утешительно слышать.

(По мере того как я говорил, он воспроизводил позы называемых мною лиц так, что можно было умереть со смеху; например, передразнивая маленького аббата, он держал подмышкой свою шляпу, а в левой руке—свой требник; правой рукой он поднимал хвост своей мантии, он приближался, несколько нагнув свою голову к плечу, с опущенными глазами; он так хорошо подражал лицемеру, что мне казалось, будто я вижу автора «Опровержений» перед епископом Орлеанским. Когда он передразнивал льстецов и честолюбцев, он чуть не ползал по земле, это был Бурэ перед генерал-контролером.)

Я. Это исполнено великолепно, но есть существо, свободное от пантомимы,—это философ, у которого ничего нет и который ни в чем не нуждается.

Он. Где вы найдете такое животное? Если у него ничего нет, оно страдает, и если оно ни о чем не хлопочет, оно ничего не получит и всегда будет страдать.

Я. Нет, Диоген смеялся над потребностями.

Он. Но ведь нужна же одежда.

Я. Нет, он ходил совершенно голым.

Он. В Афинах иногда бывало холодно.

Я. Не так холодно, как здесь.

Он. И там люди ели.

Я. Несомненно.

Он. А на чей счет?

Я. На счет природы. К кому обращается дикарь? К земле, к животным, к рыбам, к деревьям, к траве, к корням, к ручьям.

Он. Скверный стол.

Я. Он обилен.

Он. Но плохо сервирован.

Я. Однако им пользуются, чтобы подать на наш стол.

Он. Но вы согласитесь, что искусство наших поваров, пирожников, рестораторов, трактирщиков, кондитеров прибавляет что-то свое. Сидя на такой строгой диете, ваш Диоген должен был обладать весьма покорными органами.

Я. Вы ошибаетесь; одежда циника была некогда тем же, чем

является ныне наша монашеская одежда, и отличалась теми же добродетелями. Циники были афинскими кармелитами и капуцинами.

Он. Ловлю вас на слове; значит, Диоген тоже разделял пантомимические движения, если не перед Периклом, то во всяком случае перед Лаисой и Фриной?

Я. Вы ошибаетесь. Другим очень дорого стоила куртизанка, ему же она отдавалась ради удовольствия.

Он. А в тех случаях, когда куртизанка была занята, а цинику было невтерпеж...

Я. Он возвращался в свою бочку и обходился без нее.

Он. И вы мне советуете подражать ему?

Я. Ручаюсь головой, что это лучше, чем пресмыкаться, унижаться и продаваться за деньги.

Он. Но мне нужна хорошая постель, хороший стол, теплое платье зимой, легкое платье летом, нужен покой, нужны деньги и много других вещей, которые я предпочитаю получать, как благоденствие, чем зарабатывать их трудом.

Я. Это потому, что вы бездельник, лакомка, лентяй и человек с грязной душой.

Он. Кажется, я вам это говорил.

Я. Несомненно, удобства жизни стоят чего-нибудь, но вы ни во что считаете ту жертву, которую вы приносите, чтобы обладать ими. Вы вытанцовываете, вы танцовали, и вы будете танцовать скверную пантомиму.

Он. Это верно. Но она мне мало что стоила, и в будущем она мне ничего не будет стоить; поэтому-то я плохо поступил бы, если бы принял другую повадку, которая доставляла бы мне страдания и которую я не сумел бы сохранить. Но по тому, что вы мне говорите, я вижу, что моя бедная женушка была своего рода философ, у нее была смелость льва. Случалось, у нас не было ни куска хлеба и ни одной копейки, почти все наше барахло было продано. Я бросался на нашу кровать и ломал себе голову, чтобы найти кого-нибудь, кто бы мне одолжил экую, который я ему не возвращу. Она, веселая, как птичка, садилась за фортепиано, пела и аккомпанировала себе; у нее был соловьиный голос, я жалею, что вы его не слышали. Когда я участвовал в каком-нибудь концерте, я уводил ее с собой, по дороге я говорил ей: «Ну, сударыня, заставьте восхищаться собой, разверните свой талант и свои чары, увлекайте, поражайте...» Мы являлись, она пела, она увлекала, она поражала. Увы! Я потерял ее, крошку! Помимо таланта у нее был ротик, в который с трудом можно было засунуть мизинец, зубы—как жемчуг; какие глаза, какие ножки, какая кожа, щечки, груди, ноги, как у серны, бедра и ягодицы—прямо модель для скульптора. Рано или поздно она заполучила бы откупщика подастей. И какая у нее была походка, а какие бедра, боже мой, какие бедра!

(И вот он принимается подражать походке своей жены. Он ходил мелкими шажками, он качал своей головой, играл веером,

вертел бедрами. Это была самая забавная и смешная карикатура на наших маленьких кокеток. Затем, продолжая свой разговор, он добавил:)

Я гулял с ней повсюду, в Тюльери, в Пале-Рояле, по бульварам. Было невероятно, чтобы она осталась со мной. Когда она по утрам переходила улицу с распущенными волосами, в коротенькой кофточке, вы бы остановились, чтобы полюбоваться ею, вы бы четырьмя пальцами легко охватили ее талию. Все, кто следил за ней глазами, кто видел, как она семенит своими маленькими ножками, кто наблюдал, как ее легкая юбочка обрисовывала пышные формы ее тела, бежали за ней. Она позволяла им приблизиться, потом внезапно окидывала взором своих черных, блестящих глаз, которые заставляли остановиться,—лицевая сторона медали была столь же привлекательна, как и оборотная. Но увы! Я ее потерял, и все мои надежды на карьеру исчезли вместе с ней. Я только для этого на ней и женился, я открыл ей свои планы, а она была слишком умна, чтобы не понять их прочность, слишком благоразумна, чтобы их не одобрить.

(И вот он плачет и рыдает, говоря):

Нет, нет, я никогда не найду себе утешения. С тех пор я облекся в одежду монаха.

Я. От скорби?

Он. Если хотите. А по правде сказать, чтобы спасти свою голову... Но взгляните немножко, который час, ведь мне нужно идти в Оперу.

Я. А что сегодня идет?

Он. Довернь. В его музыке много хорошего; жаль, что не он первый с этим выступил. Среди этих мертвецов всегда имеются такие, кто приводит в отчаяние живых. Что поделаешь? Кто не страдает от своих предков? (Quisque suos pop patimur manes?). Но уже половина шестого, я слышу благовест к вечерне аббата Канэ, это сигнал и мне. Прощайте, господин философ, не правда ли, что я всегда верен себе?

Я. Да, увы, к несчастью.

Он. Пусть это несчастье длится еще хоть сорок лет: хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним.



Приложение

ПИСЬМО ВОЛЬТЕРА,
НА КОТОРОЕ ДИДРО ОТВЕТИЛ 11 ИЮНЯ 1749 г.

Милостивый государь,

Очень Вам благодарен за Вашу талантливую и содержательную книгу, которую Вы мне любезно прислали; в свою очередь посылаю Вам другую, в которой нет этих качеств, но в которой приключения слепорожденного рассказаны более подробно, если сравнивать это новое издание с предшествующим. Я вполне с Вами согласен в том, что Вы говорите о различии суждений, которые вынес бы в подобных случаях обыкновенный человек, опирающийся только на здравый смысл, и философ. Мне досадно, что, цитируя свои примеры, Вы забыли слепорожденного, который, прозрев, принимал людей за деревья.

Я с исключительным удовольствием прочел Вашу книгу, в которой так много сказано и которая возбуждает еще больше мыслей. Я Вас уважаю с давних пор, в равной мере я презираю глупых варваров, осуждающих то, чего они не понимают, и злых, присоединяющихся к глупцам, чтобы осудить то, что их просвещает.

Но я признаюсь, что совсем не придерживаюсь взгляда Саундерсона, который отрицает бога, потому что он родился слепым. Может быть, я ошибаюсь; но на его месте я признал бы существование такого весьма разумного существа, которое даровало мне столько дополнительных благ взамен зрения, и, мысленно воспринимая бесконечные отношения между предметами, я бы предположил существование бесконечного искусного работника. В высшей степени дерзко претендовать на возможность разгадать его природу и понять, зачем он создал все существующее; но мне кажется очень дерзким отрицать его существование. Я страстно мечтаю о беседах с Вами, вне зависимости от того, считаете ли Вы себя одним из его произведений или видите в себе необходимо организованную частицу вечной и необходимой материи. Кем бы Вы ни были, Вы весьма почтенная частица этого великого целого, которое мне неизвестно. Мне бы очень хотелось

до своего отъезда в Ливневиль заручиться от Вас обещанием, что Вы окажете мне честь принять участие в философском обеде у меня вместе с несколькими мудрыми людьми. Я не имею чести быть мудрым, но у меня большое пристрастие к этим людям, которые подобны Вам. Поверьте, милостивый государь, что я ценю все Ваши достоинства и, чтобы воздать им больше справедливости, я хотел бы Вас видеть и удостовериться, в какой степени я имею честь быть таким ценителем и т. д.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ — УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин Аврелий* (354—430)—римский богослов, один из отцов церкви.—181
- Аврелий Марк* (121—180)—римский император и философ-стоик.—210
- Альберти* (1404—1472)—итальянский композитор.—222, 265
- Аретино Пьетро* (1492—1566)—итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.—232
- Аристотель* (384—322 до н. э.)—греческий философ, «величайший мыслитель древности» (*Маркс*), гениальный ученый-энциклопедист, создатель логики. В философии колебался между материализмом и идеализмом.—100, 219
- Архимед* (287—212 до н. э.)—греческий математик и механик.—95
- Архит* (IV в. до н. э.)—греческий математик, последователь Пифагора.—164
- Бах Иоганн-Себастьян* (1685—1750)—немецкий композитор.—79
- Беркли Джордж* (1684—1753)—английский философ, субъективный идеалист, епископ.—54, 55, 151
- Бернулли Иоанн* (1667—1748)—швейцарский математик, автор работ по вариационному исчислению.—93
- Борде*—французский врач-физиолог.—154—197
- Брэдли* (1692—1762)—английский астроном, открывший явление аберрации света.—93
- Бургав Герман* (1668—1738)—голландский врач и физиолог, создатель клинического лечения.—128
- Бурэ*—главный откупщик Людовика XV, крупный финансист-делец.—236, 237, 248, 269
- Бюффон Жорж* (1707—1788)—французский естествоиспытатель, автор многотомной «Естественной истории», в которой систематизировал естественно-научные знания своего времени.—92, 97, 106, 126, 228, 239
- Виргилий* (70—19 до н. э.)—римский поэт, автор поэмы «Энеида».—33
- Вобан* (1632—1707)—французский военный инженер и маршал.—237
- Вокансон Жак* (1709—1782)—французский механик.—184

Вольтер Мари-Франсуа (Аруз) (1694—1778)—французский писатель, просветитель, философ-деист, сыгравший огромную роль в XVIII в. в борьбе против религиозного фанатизма.—66, 85, 126, 159, 184, 212, 213, 225, 228, 239, 240, 265, 272

Гален Клавдий (ок. 131—201)—римский физиолог и врач.—128

Галилей Галилео (1564—1642)—итальянский физик и астроном, последователь Коперника, изобретатель телескопа, с помощью которого сделал важные открытия в астрономии.—53

Галлер Альбрехт, фон (1708—1777)—немецкий физиолог и анатом, ученик Бургава.—128

Гассе (1699—1783)—немецкий композитор.—265

Гельвеций Клод-Адриан (1715—1771)—французский философ-материалист, автор произведений «Об уме» и «О человеке».—246, 247

Генрих IV (1553—1610)—французский король (1594—1610 гг.).—191

Гиппократ (460—377 до н. э.)—греческий врач, автор многочисленных сочинений, в которых систематизировал медицинские знания своего времени.—193

Гораций Флакк-Квинт (65—08 до н. э.)—римский поэт.—77, 93, 193

Грёз (1725—1805)—французский живописец, любимый художник Дидро.—213

Гретри (1741—1818)—французский композитор.—184

Гроций Гуго (1583—1645)—голландский юрист, основатель буржуазной науки международного права.—260

Давиель Жак (1696—1762)—французский хирург.—77, 78

Даламбер Жан-Лерон (1717—1783)—французский просветитель, математик, редактор «Энциклопедии», друг Дидро. В философии—деист.—73, 93, 126, 143—155, 164, 167, 169, 172, 177—179, 184—192, 224, 239

Декарт Ренэ (1596—1650)—французский философ-рационалист и математик, создатель аналитической геометрии. Был дуалистом, признавал существование двух субстанций—материальной и духовной. В физике—материалист.—37, 38, 45, 53, 62, 110, 150

Демосфен (384—322 до н. э.)—греческий оратор и политический деятель.—257

Джомелли (1714—1774)—итальянский композитор.—255

Дидим Александрийский (308—395)—христианский богослов, слепой, написавший «Книгу о свягом духе».—56

Диоген из Синопа (ок. 414—323 до н. э.)—греческий философ-циник.—42, 192, 210, 269, 270

Добентон Луи-Жан-Мари (1716—1800)—французский натуралист, врач. Обработывал материалы по анатомии для «Естественной истории» Бюффона.—92, 97, 126

Довернь (1713—1797)—французский композитор.—271

Дюамель (1700—1782)—французский естествоиспытатель; написал справочник «Искусство угольщика».—255

Дюкло Шарль (1704—1772)—французский писатель-моралист.—126, 213, 239

Евсевий Азиатский (268—338)—христианский богослов, слепой, написавший «Евангельское доказательство» истинности христианской религии.—56

Кампра (1660—1744)—французский композитор.—253, 256

Катон (Марк Порций Старший) (234—149 до н. э.)—римский государственный деятель.—194, 228, 233

Кларк Самуил (1675—1729)—английский философ, представитель «рационалистического богословия».—58, 60, 86

Клеро (1713—1765)—французский математик и астроном.—73, 93

Кондильяк Этьен Бонно де (1715—1780)—французский философ-сенсуалист, сторонник Локка.—55, 63, 64, 66, 70

Ла-Брюйер Жан де (1645—1696)—французский писатель.—240

Лагранж Луи-Жозеф (1736—1813)—французский математик, автор «Аналитической механики».—93

Лакондамин Шарль (1701—1744)—французский путешественник и математик.—175

Лапейрони Франсуа (1678—1747)—французский врач, хирург Людовика XV, основатель хирургической академии.—175, 176

Ларошфуко (1613—1680)—французский писатель-моралист.—257

Лейбниц Готфрид-Вильгельм (1646—1716)—немецкий философ и математик, предшественник немецкого классического идеализма.—58, 62, 86, 115, 129

Лемонье (1715—1799)—французский астроном.—93

Леспинас—подруга Даламбера (см.), устроившая у себя демократический салон.—154—197

Линней Карл (1707—1778)—шведский естествоиспытатель, сделавший первую попытку классификации видов.—120, 179

Локк Джон (1632—1704)—английский философ-сенсуалист. Разработал «основной принцип»—происхождение знаний и идей из мира чувств (*Маркс*).—62, 63, 72, 86

Локателли Пьетро (1693—1764)—итальянский скрипач и композитор.—221, 254, 265

Лукреций Кар (99—55 до н. э.)—римский поэт-философ, материалист, автор произведения «О природе вещей», в котором в поэтической форме излагает атомистический материализм.—92, 100

Люлли (1633—1687)—итальянский композитор, был придворным композитором Людовика XIV.—209, 253, 256

Мариво Пьер-Карос (1688—1763)—французский писатель, автор семейно-нравоучительных романов.—53, 209

Мармонтель Жан-Франсуа (1733—1799)—французский литератор, главный редактор художественно-литературного раздела «Энциклопедии» Дидро.—78

Метастазιο (1698—1782)—итальянский поэт и драматург, автор многочисленных либретто для опер.—257

Молине Вильям (1656—1698)—ирландский ученый-естествоиспытатель.—62—65, 74

Мольер (Жан-Батист Поклен) (1622—1673)—французский драматург.—240, 241

Монтескье Шарль-Луи (1689—1755)—французский социолог и политический мыслитель, идеолог умеренно-буржуазных верхов.—126, 228, 239

Монтань Мишель (1533—1592)—французский философ-скептик, автор «Опытов».—71, 74, 87, 96, 268

Мопертюи Пьер (1698—1759)—французский философ, математик и астроном, пытался материалистически истолковать монады философии Лейбница.—93, 97, 121—124, 126

Мопу (1714—1792)—канцлер Людовика XV.—214

Нидгэм (1713—1781)—английский физик и натуралист, защищал теорию самопроизвольного зарождения организмов.—159, 160

Новерр (1727—1810)—французский хореограф, автор трактата о балетном искусстве.—268

Ньютон Исаак (1642—1727)—английский физик, математик и астроном, основатель классической механики.—53, 58, 60, 62, 86, 93, 110, 115, 189

Овидий Назон Публий (43 до н. э.—17 н. э.)—римский поэт, автор поэмы «Метаморфозы».—174

Паскаль Блез (1623—1662)—французский математик, физик и философ, янсенист.—257

Перголезе Джованни Баттиста (1710—1736)—итальянский композитор.—253, 257, 263, 265

Перикл (490—429 до н. э.)—греческий государственный деятель периода расцвета афинской рабовладельческой демократии.—270

Пирон Алексис (1689—1773)—французский поэт и драматург.—240

Пифагор (ок. 571—497 до н. э.)—греческий философ, основатель пифагорейской школы.—46

Платон (427—347 до н. э.)—греческий философ-идеалист.—100, 219

Пуффендорф Самуил (1632—1694)—немецкий юрист.—260

Пьюизье де—французская писательница; к ней обращено «Письмо о слепых в назидание зрячим» Дидро.—33

Рабле Франсуа (1495—1553)—французский писатель-гуманист эпохи Возрождения.—210, 268

Рамо Жан-Филипп (1683—1764)—французский композитор, автор ряда теоретических трудов по музыке.—217, 253, 254, 257, 263

Расин Жан-Батист (1639—1699)—французский поэт-драматург.—79, 212, 213

Реомюр Ренэ-Антуан (1683—1757)—французский физик и натуралист.—33, 73, 267

Руссо Жан-Жак (1712—1778)—французский философ, просветитель и политический мыслитель, автор произведения «Об общественном договоре». По философским воззрениям—деист.—77, 126, 239

Саундерсон Николай (1682—1739)—английский физик и математик, профессор Кембриджского университета; на первом году жизни потерял зрение.—47—49, 51—62, 67, 70, 72, 73, 85, 86, 272

Сократ (469—399 до н. э.)—греческий философ-идеалист.—103, 210, 211

Сталь Георг-Эрнст (1660—1734)—германский врач и химик.—115

- Тансен де*—французская писательница, мать Даламбера.— 145, 237
- Гартини Джузеппе* (1692—1770)—итальянский скрипач, композитор.—265
- Тацит Публий-Корнелий* (56—120)—римский историк.—53, 93
- Теофраст* (372—287 до н. э.)—греческий философ и писатель.— 240
- Туренн* (1611—1675)—французский военачальник.— 237
- Фальконэ Этьен-Морис* (1716—1791)—французский скульптор, автор памятника Петру I в Ленинграде.— 145
- Ферма Пьер* (1601—1665)—французский математик, создатель теории вероятностей.—95
- Фонтен Бертэн де* (1705—1771)—французский математик, автор работ по дифференциальным уравнениям.—93
- Фонтенель Бернар* (1657—1757)—французский поэт, драматург и философ-картезианец.—161, 162, 227, 257
- Франклин Вениамин* (1706—1790)—американский физик и государственный деятель, борющийся за независимость Соединенных Штатов, против английского владычества.— 116
- Цезарь Гай-Юлий* (102—44 до н. э.)—римский полководец, впоследствии диктатор.— 210, 237
- Шаррон Пьер* (1541—1603)—французский моралист, ученик Монтэня.—71
- Эйлер Леонард* (1707—1783)—немецкий математик и механик, автор работ по интегральному и вариационному исчислениям.— 93
- Эпикур* (342—270 до н. э.)—философ-материалист, «величайший греческий просветитель» (*Маркс*), продолжатель Демокрита.—100, 160

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕНИ ДИДРО (1713—1784). Вступительная статья Я. Мильнера	3
ПИСЬМО О СЛЕПЫХ В НАЗИДАНИЕ ЗРЯЧИМ (1749)	33
ПРИБАВЛЕНИЕ К ПИСЬМУ О СЛЕПЫХ (1782—1783)	76
ПИСЬМО ВОЛЬТЕРУ 11 июня 1749 г.	85
МЫСЛИ К ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИРОДЫ (1754)	91
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ (1770)	135
РАЗГОВОР ДАЛАМБЕРА И ДИДРО (1769)	143
СОН ДАЛАМБЕРА (1769)	154
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА (1769)	192
РЕЧЬ ФИЛОСОФА, ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЮ (1773—1774)	201
ПЛЕМЯННИК РАМО (1762)	207
<i>Приложение. Письмо Вольтера к Дидро</i>	<i>272</i>
<i>Краткий словарь—указатель имен</i>	<i>274</i>

Редактор *Я. Мильнер*

Тираж 50 000 экз.

Подписано в печать 6 февраля 1941 г.
17¹/₂ п. л. 42 тыс. зн. в 1 п. л. 18 авт. л.
А 35336.

Заказ № 9. Цена в переплете 5 р.

3-я типография «Красный пролетарий»
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига».
Москва. Краснопролетарская. 16.

